

3-4 / 91

# Даугава

# ДАУГАВА

/165—166/

МИГРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ  
ОБЩЕСТВО «ДАУГАВА»

## В НОМЕРЕ :

Проза и поэзия

Марк АЛДАНОВ. Бред. Роман о шпионах. Продолжение . . . . .	3
Янис ПОРУК. Неосуществленное и двое одиноких. Стихи . . . . .	83
Янис АНЕРАУД. Возвращение . . . . .	92
Рута СКУИНЯ. Мои сады. Рассказ . . . . .	93
Гунтис ЗАРИНЬШ. Конец путешествия. Рассказ . . . . .	95
Марина НИЖЕВЯСОВА. Ивановы травы. Стихи . . . . .	98
Леонид ЗУРОВ. Обитель. Рассказ . . . . .	102

Публицистика

Дмитрий ЛЕВИЦКИЙ. О положении русских в независимой Латвии . . . . .	112
Савелий ДУДАКОВ. О «Протоколах сионских мудрецов» . . . . .	126
Борис РАВДИН. Репутация попа Гапона . . . . .	138
Петерис ЛАПАЙНИС. Оглянись без гнева . . . . .	148

(см. на обороте)

3-4  
1991

Из почты «Даугавы»

<b>П. ЧЕБУРКИН. Еще о философии блатного языка</b>	<b>152</b>
<b>Светлана ШЛЯХОВА. Словесный камуфляж! И не только!</b>	<b>154</b>
<b>Юрий АБЫЗОВ. Чьи же слова!</b>	<b>158</b>
<b>Л. АРКАДСКИЙ. На почте</b>	<b>161</b>

Обзоры, размышления, рецензии

<b>Андрей ЛЕВКИН. Очень своевременная книга</b>	<b>162</b>
<b>Татьяна АНДРЕЕВА. Самиздат и коммерция</b>	<b>167</b>

Культурология

<b>Вадим РУДНЕВ. Культура и смерть</b>	<b>169</b>
<b>М. М. НИКОЛАЕВА. «Анна Каренина» глазами врача-фармаколога</b>	<b>172</b>

Мемория

<b>Зинаида ГИППИУС. Из петербургских дневников.</b>	
Окончание	<b>176</b>
Почта «Даугавы»	<b>82, 97</b>

---

**Рукописи не возвращаются и не рецензируются.**

---

Главный редактор  
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТЫНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК /зав.отделом/, Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН.

Редакция:

Михаил АФРЕМОВИЧ, зав.отд.писем, Григорий ГОНДЕЛЬМАН, зав.отд.критики, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав.отд.прозы, Илан ПОЛОЦК, зав.отд.публицистики, Борис ПОПОВ, и.о. отв. секретаря.

## БРЕД

— В ту минуту, как меня к нему ввели, секретарша подавала ему чай . . .

— Ему было бы приятнее, если б чай подавал какой-нибудь сановник, но он не каждому сановнику доверил бы свой чай. Секретарша, конечно, старая, сто раз проверенная коммунистка, «преданная как собака». И уж конечно он прекрасно понимает, что если б дела сложились иначе, то она с таким же видом восторженного обожания входила бы в кабинет Троцкого. Кто знает, что и у нее на уме, в ее крошечном умишке? Что же он ей сказал?

— Сказал одно слово: «Спички». Кажется, чем-то остался недоволен. Но зачем мне рассказывать, когда вы всё знаете лучше?

— Он, конечно, сказал: «У моей матери была коза, ты очень на нее похожа». Говорят, многие сановники слышали от него эту остроумную шутку, и у них, верно, тоже, как у нее, лица немедленно расплывались в восторженной улыбке. Перед ним лежала груда бумаг. По слухам, он сразу всё схватывает и тотчас принимает решение. Иногда пишет на полях несколько слов, обычно грубоватых, почти всегда безграмотных. Прежде он еще немного стыдился, что плохо знает русский язык. Литературные способности Троцкого и Бухарина его раздражали. Давно больше не обращает внимания. По существу же то, что он пишет на бумагах, наверное по-своему умно и целесообразно, так и должен писать диктатор, хорошо знающий свое ремесло и своих подчиненных. Его резолюции не покрывались для вечности лаком, как когда-то замечания царей на бумагах, но читались подчиненными с неизмеримо большим трепетом: почти по

---

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 1 и 2.

каждой из них тот или другой подчиненный мог предвидеть собственную судьбу, более или менее отдаленную: он редко расправлялся с людьми немедленно. Были, должно быть, и вырезки из иностранных газет. Если его в них называли дьяволом, он, наверное, читал с удовольствием. Но приходил в бешенство, когда говорили, что он некультурен, невежествен или же что он не всемогущ, что власть принадлежит Политбюро. Всё-таки в общем это чтение доставляло ему наслаждение. Видел, каждый день видел, что иностранные державы не только не хотят войны, а трясутся при одной мысли о ней. Россия же объявлял прямо противоположное, это входит в панацею. Теперь главный вопрос: быть ли войне или нет? Разница между ним и всем остальным человечеством была в том, что решение этого вопроса зависело именно от него. Великое было наслаждение! А коммунистические идеи? Быть может, когда-то они и занимали некоторое место в его жизни, крошечное место. Гомеопатическая это была идеяность и тогда. Но и от нее ничего не осталось и не могло остаться в той кровавой бане, в которой он жил столько лет. Да и когда же он беспокоился о счастье человечества! Он ведь людей всегда терпеть не мог. Будущее общество его совершенно не интересовало. Ему в этом обществе было бы нестерпимо скучно, просто не знал бы, что с собой делать. Кроме власти, он ничего никогда в жизни не любил. В молодости могла быть власть над десятками отпетых людей, теперь над сотнями миллионов. Жизнь без нее потеряла бы для него не только всякую прелесть, но и всякий интерес. Для сохранения власти нужно казнить, он это и делал. Быть может, вначале еще волновался — за себя конечно: «сломаю себе шею!» А потом делал равнодушно, без сожаления и уж, конечно, без «садизма». Наслаждение испытывал разве лишь в исключительных случаях. Донесения о подготовке убийства Троцкого, потом о выполнении этого дельца были, вероятно, одной из величайших радостей его жизни. Люди, быть может, наивно предполагают, будто его по ночам преследуют кошмары, будто в его видениях проходят бесконечные ряды казненных, как это описывается в разных классических и неклассических трагедиях! В действительности он, наверное, о них никогда и не думает,— разве просто кто-либо вспомнится по какой-нибудь случайной ассоциации, иногда, быть может, и забавной. Его лакеям, должно быть, неловко или даже тяжело говорить с ним о замученных товарищах: всё-таки не у всех же такие нервы, как у него. Иные казненные еще так недавно тут пили вино и шутили с ним. Вчера тот, а кто завтра? *Vivat sequens*. Да еще вдруг пробежит по лицу тень? А как, верно, им хотелось узнать подробности убийства Троцкого! Узнавали, может быть, стороной. Нет, какие уж идеи! В своей компании они об «идеях» никогда и не говорят: некогда, да и что уж, старый философско-политический силлогизм есть, всегда можно вспомнить и отбарабанить: ну, там, мы стремимся к счастью человечества,— наша партия ведет к этому мир, следовательно всё, что полезно нашей партии, то и добро, а что вредно, то и зло. Не может быть преступным никакое полезное партии дело, хотя бы и самое кровавое. Не они и это выдумали. Да только теперь вспоминать и отбарабанивать нет ни времени, ни нужды, ни повода. И, разумеется, Иосиф Виссарионович без малейшего колебания

начал бы третью войну и отправил бы сотню миллионов людей в лучший мир, если б только была уверенность в победе. Но ее нет! Шансы есть, большие шансы, а ведь всё-таки чем может кончиться, а? Гитлер был совершенно уверен, что выиграет мировую войну, он даже почти ее выиграл. Многие сановники надеются ему понравиться бодрым тоном: чрезмерный оптимизм может их погубить лишь в более отдаленные времена, а чрезвычайный пессимизм немедленно. Кто в России далеко заглядывает в будущее? И знает, хорошо знает Иосиф Виссарионович, что в случае беды первыми его предадут «фанатики». Так было и с Гитлером. Спасение для человечества в том, что он часто думает о Гитлере: тот тоже шел от успеха к успеху, того тоже «обожали». Если б Сталина в самом деле любили в России, как говорят на Западе дураки и продажные люди, то это было бы доказательством чудовищного падения русского народа, падения и умственного, и морального. Этого нет. Да ему-то что? Не народной любовью держатся такие правители, как он. Он человек с сумасшедшинкой. Может быть, теперь даже и вправду совсем душевнобольной? Но нервы у него вроде канатов, случай редчайший. Гитлер жил в смертельной опасности только двенадцать лет, а этот чуть не в четверо дольше... Впрочем, я всё забываю, что он умер. Ведь умер?

— Умер.

— Он нежить. Это старое русское слово: человекообразное существо, совершенно лишенное души. Вы не удивляйтесь, что я всё облекаю в ироническую форму. Наташа тоже говорила мне, что я слишком много шучу: «Не все шутки сегодня шути, оставь и на завтра». Она это сказала «там, в Груневальде»... У меня в свое время был nervous breakdown. Очень заметно, что я не в своем уме?

— Очень заметно.

— Это вы назло говорите, за то, что я подбивал вас на отъезд издевательством над русской интеллигенцией. Да что же мне было делать? Наташа тоже этого терпеть не может. Она милая, чудесная, но она ничего в людях не понимает. Уж если меня еще не раскусил! Я по ее рассказам много о вас думал: как к вам подойти? Спрашивал себя: какие мысли, какие чувства могут быть у старого русского интеллигента, у очень много думавшего человека, прожившего тридцать пять лет под властью большевиков? Отвечал: ничего не может быть, кроме отвращения от людей, от себя, от всего. Он, Майков, думал я, ухватится за бегство. Приведу ему доводы, и рациональные, от выгоды, и нерациональные... Я о вас судил по себе. А вышло, что вы, так сказать, спектральное ко мне дополнение. Неужто в вас все перегорело? Но были же в вас страсти, влюблялись же вы, проигрывались в карты, бывали на волосок от гибели? Или только были страсти умственные, а тарантеллы никогда не было?.. Нет, не гневайтесь ни за себя, ни за русскую интеллигенцию, я всё беру назад. Допускаю, что в России и только в России теперь есть истинные праведники. Искренно это говорю, вполне искренно. Их мало, они считаны, но они есть. Да не в них дело. Лучше были бы Макроны. Помните, Макрон задушил Тимберия? Или же, его отравил врач Харикл? Как же, я рассказывал об этом Наташе. Да, конечно, могли и Иосифу Виссарионовичу помочь

умереть. Для них ведь вопрос стоял точно так же, как для Калигулы: ведь ясно, он выжил из ума, Тимберий, просто выжил из ума, уж если собирается укокошить таких прекрасных людей, как мы? Теперь либо мы, либо он. То есть либо он, либо я: до других каждому из Калигул так же мало дела, как до «идеи». О, это шекспировские должны были быть сцены! Ночь, наглухо затворенная комната, кто-то с кем-то шепотом совещается. Двое их? Трое? Больше? Что в таких случаях говорят? Как в таких случаях говорят? С высокими идеями?—«Поймите же, товарищ Хариклов: этого требуют высшие интересы коммунизма. Партия поставлена перед этой ужасной необходимостью. Вы должны исполнить свой тягостный долг». Или, напротив, по привычке, очень просто, «цинично», чтобы употребить глупое испошленное слово: —«Ты, Харикловский, сам понимаешь, ты не дурак, у тебя выбора нет. Генриха Ягodu и его врачей помнишь? У них тоже выбора не было. Сделали и ты сделаешь, а то сам понимаешь . . .» Конечно, Харикловский бледен как смерть. Но верно и у Макроновых руки трясутся, ох, сильно трясутся. Спорит ли он? Соглашается ли сразу? А следующая глава? Следующая глава-то? В белом халате стоит товарищ Хариклович у той постели.—«Вот, Иосиф Виссарионович, примите . . . Это очень вам будет полезно». И надо сказать бойко, уверенно, твердо. Избави Бог, чтобы дрогнул голос или дернулось лицо. Прошло! Проглотил . . . Господи! . . . И выйти нужно тоже как ни в чем не бывало. «До завтра, Иосиф Виссарионович . . .» И не рухнуть на пол без чувств. А так спокойно пройти по коридорам, по лестницам, чтобы ни один мускул не шелохнулся в лице. Ох, нелегкое ремесло Ягод и их агентов! Их жизнь почище моей! Если что-то людям прощается за ужас переживаний, то этим простится немало. Хоть бы увидеть когда-нибудь жуткие места, где все это происходило! Эти стены Кремля так много впитали, что и через сто лет будет страшно дышать. Мало вам будет ста лет, гражданин Майков, чтобы вести души людей. Знаю, знаю, догадываюсь, какая у вас вторая панацея, моральная: тут и русская идея, и «мы нация крайностей», и Нил Сорский, и Достоевский, и «всечеловечество»— и все это ни к чему. И на Западе тоже ни к чему, хотя там тоже есть и такое, и еще лучшее. Эллинский дух, например. Странно, все мыслители сомнительной порядочности очень любят толковать о мудрости Эпикура и о «духе древней Эллады» . . .

. . . Поезд только что отошел от вокзала. По перрону ходили полицейские. Вагон третьего класса был переполнен греческими беженцами, спасавшимися от каких-то военных действий. Кто-то ругнул англичан, другие хмуро на него покосились. Как только поезд тронулся, сидевшая у окна красивая, очень бледная женщина сорвалась с места и поспешно, мимо стоявших в коридоре людей, вышла на площадку. Там никого не было. Она перекрестилась — и отворила дверцы вагона. Высокий оборванец в рубашке без рукавов и воротника, в огромной соломенной шляпе выбежал из-за водокачки, ловко вскочил в ускорявший ход поезд и захлопнул дверцы. Бледная женщина хотела обнять его — и не обняла, только смотрела на него, еле дыша. Говорить она не могла. Незаметно наклонив голову, он быстро прошел в другой конец вагона, морщась от запаха чеснока. «Вот тебе и Эллада! Славны бубны за горами. Еле спасся,

да еще спасся ли. Зачем я выбрал эту сен-жерменовскую жизнь? . . . Кем же я мог бы быть? Народным трибуном? Говорить политические пошлости перед многотысячной толпой? Мог бы. Написать замечательную книгу? Не мог бы. А только это ценно, только это и остается: замечательные книги. Ну и черт с ними, не буду жить в веках. Женщины? Вот и эта гречанка ушла навсегда. Mille e tre . . . У Людовика их было тысяча восемьсот. У меня Оленьего Парка не было . . .

. . . Олений Парк не походил на многочисленные *maison de plaisance*, которые себе в восемнадцатом веке строили в Париже принцы, герцоги, откупщики, банкиры. Спрос породил предложение. Так главным образом и создался стиль Людовика XV. Образовалась школа талантливых архитекторов, художников, скульпторов, декораторов, они специализировались на постройке, отделке, украшении таких домов. Каждый богач считал себя обязанным придать своему дому оригинальность и *cashet personnel*. Тем не менее дома в общем очень походили один на другой. Везде были небольшие салоны, будуары, потаенные лесенки, таинственные уголки. Везде были расписные потолки, фрески, мифологические или просто непристойные картины. Столовых обычно не было; в одних виллах при нажатии пуговицы раздвигался потолок и на платформе из верхнего этажа в нижний спускался роскошно накрытый стол с хрусталем, венсенским фарфором, блюдами и бутылками; в других такой же стол поднимался сквозь раздвигавшийся пол из нижнего этажа в верхний. Присутствие прислуги считалось недопустимым, хозяин и гости-мужчины сами угощали дам. *Cashet personnel* сказывался преимущественно в выборе женщин, блюд, вин. Да еще в обстановке домиков шла борьба между красным деревом и розовым. Дальновидные люди уже поговаривали о «возвращении к классической древности», — человечество неизменно возвращается к ней время от времени, в науке, в искусстве, в архитектуре. Советы богачам давал знаменитый Буше, неизменный участник их развлечений. Собственно, разврата в ту пору было лишь немногим больше, чем в другие времена, но при Людовике XV он был смелее и откровеннее.

Государственные дела больше не интересовали короля. Он и прежде уделял им около часа в день и находил, что этого совершенно достаточно. Глубокого смысла в своей политике не видел, да она постоянно изменялась: то он был с Фридрихом, то против Фридриха, то с Марией-Терезией, то против Марии-Терезии, то с протестантскими странами, то с католическими, то за войну, то за мир. Думал, что не больше смысла было и в политике других великих держав. Войны возникали преимущественно потому, что какому-либо королю уж очень понадобилась военная слава. Повоевал в свое время и он сам. Одержал над англичанами победу под Фонтенуа — и с него было ее достаточно. Знал, что, вероятно, придется еще воевать, но решил больше в армию не выезжать, есть достаточно других вояк: ему война не очень понравилась. Людовик XV был скорее добр, вид убитых и раненых бывал ему неприятен. Кроме того, радостей жизни на войне было довольно мало, даже для королей. Как почти все, он брал с собой в походы любовниц; в обозе было много хорошего вина, но больших удобств не было, и уж

очень много надо было ездить верхом. Гораздо лучше было сидеть дома. На смертном одре его предок Людовик XIV ему, ребенку, завещал не следовать его примеру: поменьше воевать, поменьше строить дворцов. Он это запомнил и думал, что наученный долгим опытом старик был совершенно прав.

Парижа он не любил, не очень любил и Версаль. Всё переезжал из одного дворца в другой. Чрезвычайно надоел ему этикет, да и все решительно надоело. Никто так не скучал в жизни, как он. Король и с дамами вел теперь чаще погребальные разговоры; любовницам, если они были нездоровы, радостно рассказывал, где и как их похоронит. Все-таки своей жизнью дорожил и очень боялся покушений, хотя трусом не был. Не раз говорил приближенным, что его, наверное, убьют. Знал, что народ, прежде его боготворивший, теперь его ненавидит и называет Иродом. Не было греха, порока, преступления, которых ему не приписывали бы. Думал, что все это очень преувеличено. Почему Ирод? Делает то, что делают все другие, не только восточные султаны, но и французские вельможи в своих *maisons de plaisance*, только у него возможностей и денег еще гораздо больше,— зачем отказывать себе в удовольствиях? «Общественным мнением» не очень интересовался и писателям денег не давал,— знал, впрочем, что их поддерживает маркиза Помпадур. Писателей считал проходимцами, ничем почти не отличавшимися от придворных. Его внутренняя политика заключалась преимущественно в том, чтобы иметь побольше денег. Король брал из государственной казны сколько хотел и мог; однако этого не всегда хватало, приходилось спекулировать на хлебе, что он делал с большим успехом. Расходы у него были огромные, таких ни у кого в мире не было. Счетоводством он не интересовался и не очень знал, куда уходят деньги. Конечно, все воруют, это тоже всегда так было и иначе быть не может.

О нем говорили, что он познал больше тысячи восьмисот женщин. Он находил и это преувеличением,— кто считал? Был с женщинами очень щедр, но Олений Парк обставил без роскоши. Придал ему характер закрытого женского учебного заведения: может, так будет менее скучно? Другое до этого не додумались, да им вряд ли разрешили бы, разве уж только самым высокопоставленным. Женщин он уже почти не выбирал: надоело и это. Для него выбирала маркиза, рано состарившаяся, больная, давно потерявшая и следы красоты. Позднее он поручил выбор своему камердинеру Лебелю.

В отдаленной, малонаселенной части Версаля была куплена уединенная усадьба, называвшаяся *Parc-aux-Cerfs*. Когда-то Людовик XIII тут разводил оленей. Их давно не было, но разные строения остались. Для их отделки и был приглашен Буше, уже выживавший из ума от пьянства и разврата. Взрослых девушек в доме было мало. Преобладали девочки лет тринадцати-шестнадцати. Была и одна девятилетняя. Дом был куплен открыто — в нотариальных актах владелец так и был назван: *le très haut, très puissant et très excellent prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre*. Но в самом доме его называли «графом»; предполагалось, что девочкам совершенно неизвестно, кто он такой. Конечно, даже самые младшие из них отлично это знали и лукаво

говорили графу, что он очень похож на портрет, выбитый на монетах. Граф благодушно улыбался: понимал, что секрет никак соблести невозможно. Местность была, правда, безлюдная; был только один соседний дом, да и он был обращен к парку глухой стеной без окон. Тем не менее глухая молва о доме пошла по Версалю, по Парижу, по всему миру.

Разумеется, полиция знала о нем решительно все и даже поставила поблизости особый отряд для незаметного наблюдения и для охраны короля. В полицейских протоколах жилицы Оленьего Парка обычно назывались «воспитанницами»; о каждой составлялось точное «досье». Лебель, естественно, предпочитал полубовное соглашение с родителями,— тут и спрос, и предложение были одинаково велики; полиция — вероятно с удовольствием — читала письма отцов, предлагавших своих дочерей и расхваливавших их красоту. Каждая воспитанница первым делом показывалась лейб-врачу. Некоторых Лебель предварительно показывал *à la très haute et très puissante dame, duchesse marquise de Pompadour*,— она очень интересовалась *Parc-aux-Cerfs-om*. И только в самых исключительных случаях Лебель приводил их в свою скромную квартирку в Версальском дворце, и тогда туда заглядывал на минуту сам «граф», обычно утверждавший выбор камердинера. Он всегда бывал очень ласков, дарил очередной девочке при первом знакомстве конфеты и отправлял ее в Олений Парк. Иногда дружески деловито советовался с маркизой. Со своими дочерьми он не советовался, хотя был с ними больше чем откровенен, и о приличиях не очень заботился. Молва и их считала его любовницами. Они приличия соблюдали, но не слишком. Маркизу между собой называли «*taman putain*».

Король в ранней юности был красавцем. Однако преждевременно состарился и отяжелел. Лицо у него теперь было свинцовое и почти страшное. Опасаясь покушений, он приходил в Олений Парк вечером, старался прокрадываться садами, надвигал на лоб шляпу. Прохожие делали вид, будто его не узнают. Воспитанницы встречали «графа» радостно и обращались с ним фамильярно. Одна из них, бойкая девочка, спросила его, не собирается ли он, наконец, бросить свою старуху. За эту шутку о маркизе Помпадур король ласково надрал девочке ухо. Строгостей он в Оленьем Парке не допускал или допускал только в самых редких случаях. Поддерживала дисциплину «Мадам». Ей помогали две другие дамы, которых девочки называли *sous-madame*. Одна из них была иностранка, очень красивая, очень глупая, очень гордая и очень жадная женщина. Носила она странное, короткое, как будто итальянское имя, хотя итальянкой не была. Приняли ее в дом по негласной рекомендации полиции. У нее были везде любовники. Все свои деньги она тратила на наряды. В доме над ней смеялись, но ничего против нее не имели: она никому неприятностей умышленно не делала. Полиция могла приставить наблюдательницу и похуже.

Работы у всех трех дам было не очень много. Они следили за порядком и за манерами воспитания. Никаких преподавательниц не было, а преподаватель был один: сам граф. Он по вечерам уводил очередную воспитанницу в классную. Воспитанницы бесстыдно называли это «уроками закона Божия».

Олений Парк состоял из двух отделений: одно для дворянок, другое для недворянок; разница между обоими отделениями заключалась только в том, что обедали «воспитанницы» за разными столами, причем в дворянском отделении лакеи были в синих ливреях, в недворянском — в серых. Родители воспитанниц получали по десять тысяч ливров в год. Позднее для девушек подыскивались женихи, получавшие большое приданое. Тут равенства не было: ни одной воспитаннице не давалось меньше двухсот тысяч, но были и любимицы, получавшие вчетверо больше. После французской революции памфлетисты радостно-гневно подсчитали по полицейским документам, что Олений Парк обошелся Франции приблизительно в миллиард ливров. Это, конечно, было очень преувеличено; достаточно было бы и правды. Через полтора года Клемансо, читая мемуары о Людовике XV, с яростью и проклятиями говорил: «Просто нельзя понять, как мы, французы, терпели все это так долго!»

Как и маркиза, король болел и любил лечиться. Врачей у него было много, и это были хорошие, ученые врачи: лечили от всех болезней слабительными, промыванием желудка и пусканием крови. Но были и невежды, которых ученые врачи ненавидели, презирали и называли шарлатанами. Шарлатаны пользовались эликсирами жизни, заклинаниями, панaceaми, волшебными снадобьями. Более умные из них имели успех даже у людей, очень увлекавшихся энциклопедистами. Быть может, иногда обращались к ним и сами энциклопедисты. Из этих магов незадолго до создания Оленьего Парка стал входить в моду граф Сен-Жермен.

Это было наиболее известное его имя, но у него были в разное время и другие: маркиз де Монферра, маркиз де Бельмар, граф Салтыков, граф Тсароги и т. д. Настоящей его национальности никто толком не знал: он говорил одинаково хорошо на нескольких языках. Знаменитый министр короля Шуазель утверждал, что настоящая фамилия графа — Вольф и что он португальский еврей; так говорили и еврейские банкиры, уверявшие, что знали его отца: умный был купец. Другие только пожимали плечами: достаточно известно, что граф Сен-Жермен — незаконный сын одной из инфант. Впрочем, происхождением волшебника никто особенно не интересовался: граф так граф. Он сразу попал в высшее общество. Маркиза Помпадур была от него без ума. Благоклонно относился к нему и король.

На вид ему было лет пятьдесят, но при дворе говорили, что ему пять с чем-то тысяч лет: он был когда-то фараоном в Египте. Придирчивые люди возражали: одно из двух, если был фараоном, то едва ли может быть сыном инфанты. С придирчивыми людьми спорить не стоило. Дамы сообщали и другие факты из его жизни: он долго жил в Иерусалиме, был близок с женой Пилата. Сам он, впрочем, никогда о себе такого не говорил; но был замечательным рассказчиком и в разговорах описывал Сократа, Цезаря, Франциска I, Марию Стюарт, говорил об их наружности, об их частной жизни, об их манере речи, — даже ей подражал. С улыбкой исправлял ошибки Гомера: Пенелопа обманывала покойного Улисса с кем, только могла, и он, вернувшись в Итаку, должен был выгнать ее из дому; царице Елене

в пору Троянской войны было бы сто шестьдесят лет. Дамы с восторгом говорили: уж в одном нельзя сомневаться — граф их всех отлично знал.

Сам Сен-Жермен тоже в одном не сомневался — в крайней глупости людей. Он был разносторонний человек: знал кое-что в разных науках, особенно в химии; пробовал свои силы в литературе, в музыке, играл на разных инструментах, лучше всего на виолончели, и отлично исполнял тарантеллу, не то чужую, не то собственного сочинения. Медициной же он занимался по необходимости. На ней в ту пору было легче всего создать себе репутацию волшебника: богатым людям было тогда так приятно жить, что умирать уж совсем не хотелось. Как отрицать эликсир жизни, панацею, столь полезную для здоровья, или философский камень? Это значит отрицать могущество науки, идущей гигантскими шагами вперед.

Граф Сен-Жермен снял роскошную квартиру в Версале и устроил себе там алхимическую лабораторию. Его посещали самые разные люди. Он им показывал страшные опыты с вспышками огня, показывал и свою коллекцию бриллиантов, которые он сам изготовлял известными ему алхимическими приемами. Очень влиятельным дамам дарил на память драгоценные камни, любезно ссылаясь на то, что они ему ничего не стоят. Дамы показывали их ювелирам, те только разводили руками: самые настоящие, превосходные бриллианты, мы готовы хоть сейчас купить. Но себестоимость панацеи была велика; ее граф продавал очень дорого и предупреждал, что ее действие скажется не скоро: только года через два или даже через три. Сен-Жермен ни в одной стране долго не засиживался, говорил, что изъездил весь мир, побывал в Индии, и в Китае, и в Америке. Собирался съездить в Англию, в Голландию или Пруссию. Особенно же ему хотелось отправиться в Московию, — там прихварывала царица Елизавета и говорили, что после ее кончины на престол вступит ее племянник Пьер, человек странный. Граф внимательно ко всему прислушивался. Но уехать за границу он хотел не иначе как с какой-нибудь тайной миссией от короля: граф любил политику, притом именно тайную.

К политике тоже мог открыть доступ дар волшебника. Надо было только доказать наглядно свой дар королю. Вероятно, Людовик XV знал, кто такой граф. Король и верил в породу, и не очень верил: думал, что аристократия для его трона более надежная опора, чем народ; при нем доступ к военным чинам был открыт лишь для людей, имевших три столетия дворянства. Но на этом словесные предрассудки короля кончались. Госпожа Помпадур, ставшая первой особой в государстве, была дочерью мелкого приказчика, — ее фамилия Пуассон, вызывавшая вечные насмешки в Версале, была крестом ее жизни. Король при всем своем невежестве, был человек очень неглупый. Женщинам за красоту, мужчинам за ум, таланты и особенно за занимательную беседу прощал даже самое неподходящее происхождение.

Успех чаще всего давался умом, но мог прийти без него, к кому угодно и откуда угодно: из кулис театра, из приемной ветеринара, из шатра фокусников. Мог он прийти и из Оленьего Парка. Сен-Жермен стал в нем бывать. Мужчины туда допускались редко, но для врачей делалось исключение. Волшебник понравился Мадам. Он был всегда

очень хорошо одет, вежлив и любезен, привозил цветы. Нравился он и девочкам, с ними был ласков, но малолетними не увлекался: «Так дойдешь и до уровня развратного канальи»,— говорил он себе, имея в виду короля, которого, впрочем, в душе скорее любил: «У кого же нет недостатков?» Все же мучительно королю завидовал: уж очень ему хорошо живется.

О новых воспитанницах он получал сведения от полицейских и от Лебеля. С полицией он был везде в самых лучших отношениях. Королевского камердинера принимал у себя, когда других гостей не было, и не только давал щедро на чай, но и угощал запросто дорогими винами. Говорил, что общественные предрассудки отжили свое время,— в древнем Риме они были просто невыносимы! Сам же он ничего не имеет против людей из плебейской среды, ничего не имеет даже против актеров и не отказался бы публично, при всех, сесть за обед с Мольером, принадлежавшим именно к этой касте, «*sorte de gens la plus méprisable du monde*», хотя духовенство не велит с ней якшаться, а парижский суд не допускает ее к присяге: все равно солгут. Поэтов же он зазывал к себе, закармливал и задаривал. Один из них написал в его честь стихи: «*Aninsi que Prométhée, il déroba le feu — Par qui le Monde existe et par qui tout respire;— La nature á sa voix obéit et se meut.— S'il n'est ras Dieu lui-même, un Dieu ruissant l'inspire*». Граф ему подарил большой хрустальный флякон панацеи, отрез расшитого золотом бархата, купленный им когда-то в Веракруце на распродаже вещей ацтека Монтесумы, а также портрет музы Клио в рамке с жемчужинами, правда, очень маленькими, но подаренными ему в Индии великим моголом, прямым потомком знаменитого Бабера. Заходили к нему в гости и видные чиновники полиции. Эти панацеи не брали, но охотно принимали в дар деньги. От них и от Лебеля он, едва ли не первый в версальском обществе, со всеми подробностями узнал, что в Олений Парк насильно отправлена новая воспитанница, Элен де Палуа, и что она — случай неслыханный — решительно отказывается отдаться королю. Девочка прехорошенькая и уже немолодая: ей шестнадцатый год.

Насильно девочки увозились из дому очень редко. Все же иногда — что ж делать?— приходилось прибегать и к силе. С отцом мадмуазель де Палуа Лебель сговорился. Но девочка была влюблена в небогатого дворянина Родеса, он тоже был в нее влюблен. В случае несогласия отца на брак Родес предлагал увезти ее тайно в Компьень, где у него был клочок земли. И надо же было на их горе случиться, что Элен на улице, проезжая в своей карете, увидел король! Она сделала реверанс. Людовик XV снял шляпу и улыбнулся ей, внимательно ее оглядев. Затем что-то сказал стоявшему за его спиной человеку. Элен очень испугалась и побежала домой. Лебель ее проследил.

На следующее утро граф, как всегда, встал рано и тотчас принялся за работу в своей лаборатории. Там у него было два стола: один алхимический и страшный, его он показывал посетителям; другой очень простой, за ним он работал над изготовлением красок. Всю жизнь, до своих последних дней, мечтал об изготовлении какой-то краски для материй, которая должна была принести ему еще гораздо больше, чем панацея и философский камень.

За завтраком он выпил полбутылки шампанского. Перед важными делами ничего не пил; перед менее важными пил немного. Сегодняшнее дело, тщательно им обдуманное, было небольшое. «И очень доброе дело... Выйдет!» Он переоделся, достал из шкапа бутылку, отлил в пузырек двадцать капель синеватой жидкости, закупорил и положил в карман. Велел подать коня. У него были очень хорошие лошади, арабские, мекленбургские, андалузские. Необыкновенно роскошны были и седло, попона, сбруя. Прохожие его узнавали и смотрели на него с любопытством, страхом и почтением: «Волшебник! Граф Сен-Жермен! Тот самый!..» Доехав шагом до малонаселенной части города, он поскакал. Остановился у калитки Оленьего Парка, сошел с лошади, ввел ее в парк и там привязал к дереву. Его увидели из окон и, как всегда, ему обрадовались. Он прошел в кабинет Мадам, ласково здороваясь по дороге с девочками. Они любили этого врача, он больным никогда противных лекарств не давал и часто лечил конфетами. В этот день все в доме были взволнованы необыкновенным происшествием. Самые бойкие воспитанницы пытались его расспросить, но он только погрозил им шутливо пальцем.

—... Слышать не хочет!.. Всю ночь не спала, целый день плачет! Не ест, не пьет, подруг видеть не желает! Такая дурочка! Влюблена в какого-то голыша!— с горестным недоумением сказала Мадам.

«Старая...»— подумал граф и тяжело вздохнул.

— Да, это очень странный случай.

— Просто не знаю, что с ней делать! Не высечь ли? Как вы думаете?

— Ни в каком случае!— сказал граф.— Избави Бог!

— Я воспитывалась в Сен-Сире, основанном госпожой де Ментенон, там за провинности наказывали розгами барышень постарше и познатнее, чем эта девчонка, и отлично помогало.

— Может быть, но наш нынешний возлюбленный монарх это запрещает. И в чулан тоже ее не сажайте. Тут необходимо лечение и особенно внушение. Где она?

— Я дала ей лучшую комнату. Она дворянка.

— Разрешите мне пройти к ней. Я хочу с ней поговорить наедине.

Мадам разрешила: он был врач, хотя и неофициальный, и она знала его корректность. Проводила его по коридору. Он вошел без стука и затворил за собой дверь; опасался, что будут подслушивать: либо сама Мадам, либо «Цербер». Так назывался домоправитель, огромный человек с такой толстой бычьей шеей, что палачу было бы трудно отрубить ему голову одним ударом.

Элен де Палуа сидела в кресле с опущенной головой. При его входе с ужасом взглянула на него, вскочила и опять села. «Прелестна!— подумал он.— Какая будет женщина года через два!» На столике стояли блюда с крышками, бутылка и стакан. «Ни к чему не прикасалась!» Граф очень ласково поздоровался с девочкой, придвинул стул и сел против нее, внимательно на нее глядя.

— Не волнуйтесь,— сказал он мягким вкрадчивым голосом.— Я вам ничего дурного не сделаю. Я ваш друг и хочу вам помочь. Я излечиваю все болезни. Я граф Сен-Жермен.

Она смотрела на него с изумлением и робостью. Слышала о нем

и тоже знала, что он волшебник. Но его слова, ласковая интонация голоса и доброе, сочувственное выражение его лица ее немного успокоили.

— Я не больна,— прошептала она.

— Я тоже думаю,— сказал ей вполголоса граф и громко произнес:— Я вижу, что вы нездоровы. Позвольте пощупать ваш пульс.

Он помолчал с минуту, не прикасаясь к ее руке, затем еще громче сказал:

— Ого! Сто десять. Вы больны. Сейчас вас осмотрую.

Он заговорил с ней шепотом, но иногда громко задавал вопросы об ее сердце, легких, желудке. Она ничего не понимала. Вдруг он встал, быстро подошел к двери и отворил ее. За дверью никого не было. Он позвал слуг и велел принести воды. Взял у лакея в синей livрее графин и стакан, опять затворил дверь и сел у столика. Теперь был спокоен: не подслушивают. Налил вина в бокал и выпил с удовольствием. «Не думал, что им дают такое хорошее».

— Пожалуйте сюда, Элен,— сказал он. Она послушно подошла к столику и села.— Хотите вина? Не хотите, ну и не надо. Пока, может быть, лучше не пить... Успокойтесь, граф ничего вам не сделает.

Она вздрогнула, и лицо у нее искривилось.

— Я знаю, какой он граф!

— Я тоже знаю... А хороший человек ваш жених? Родес? Вижу по вашему лицу, что он очень хороший.

— Вы знаете?.. Кто вам сказал?

— Я все знаю, я волшебник. Если вы будете меня во всем слушаться, то вас отсюда завтра же выпустят. И вы выйдете за него замуж.

— Правда? Вы правду говорите? Ради Бога, скажите!..

— Если же вы не будете меня слушаться, то вы погибли!— наклонившись к ней, сказал Сен-Жермен негромко, но очень внушительно.— Пока они обращаются с вами хорошо.— Он приподнял крышку с блюда.— Видите, цыпленок. Но это будет длиться недолго. Они посадят вас в чулан и будут морить голодом.

— Пусть уморят!

— Будут вас бить.

— Пусть бьют!

Он засмеялся.

— Вот вы какая храбрая! Это хорошо... Ты очень мила, но ты глупенькая,— отечески сказал он.— Они сделают с тобой, что захотят. Не ты первая. Что ты можешь против них поделать? У них сила. На силу ты можешь ответить только хитростью. Я всему тебя научу... Ты бывала в театрах?

— В театрах?

— Да, в театрах. Я говорю ясно, ты меня не переспрашивай и отвечай толком.

— Нет, не бывала. Мой отец меня не пускал, говорил, что бывать в театрах безнравственно.

— Это верно, и я рад, что твой отец такой нравственный человек... Жаль, что ты по своему возрасту не могла видеть Адриенну Лекуврер. Это была знаменитая артистка. Как она изображала истерику! А как

умирала! Ни одна артистка не умирала так правдоподобно, так естественно, как она. Потом ее отравили.

— Отравили!

— Я тебе не велел переспрашивать. Да, ее отравили, и она умерла уже вправду. Должно быть, тоже очень естественно. А тебя отравлю я... Не смотри на меня с ужасом. Я тебя отравлю так, что ты через несколько часов будешь совершенно здорова. Даю тебе честное слово. Ты, верно, никогда не падала в истерике? Это нетрудно. Плакать ты, конечно, умеешь? Все девочки умеют плакать. Думай о твоём женихе, и у тебя выйдет отлично.

Он выпил еще бокал вина, затем вынул из кармана пузырек.

— Что это? Что вы хотите сделать?

— Слушай внимательно. Это лекарство, которое я вывез из Мексики. Есть такая страна в Америке. Я оттуда вывез множество лекарств. Мой «целительный мексиканский чай» известен всему миру. Он спас от смерти тысячи людей. Но это совершенно другое. От этого лекарства у тебя сделается жар. Прими часа через два все, что есть в этой склянке. Оставь только две-три капли. Запей не водой, а этим вином. Выпей его целых два стакана. Затем начни плакать и стонать. Возможно громче. Можешь даже упасть на пол и забиться в судорогах. Сбегутся люди. Скажи им, что ты отравилась ядом. Избави Бог, не говори, что это я тебе принес яд, скажи, что достала дома, покажи бутылочку. Они пошлют за врачом. Объяви, что ты веришь только мне. Они пошлют и за мной. Должно быть, их врач прискачет раньше. Он увидит капли и объявит, что это страшный яд, что необходимо врачу быть при тебе неотлучно. Вероятно, потребует промывания желудка. Постарайся отбиться, это не поэтично. Но если нельзя, то что же делать? Затем приеду я и вылечу тебя. Может, приедет и сам граф.

— Я не хочу его видеть!

— Ты не смеешь так говорить о графе. Он испугается: граф добр.— Он выпил залпом еще бокал.— Граф очень добр. Во Франции постоянно колесуют людей за воровство, но он при этом не присутствует, а если бы присутствовал, то, верно, смягчил бы их участь. Во Франции ежегодно тысячи крестьян мрут с голоду, хотя прохвост Вольтер уверяет маркизу Пуассон, что народ благоденствует. Вольтер сам хочет стать маркизом. Отчего бы нет, да и врал бы меньше. Если б граф видел, как голодают крестьяне, он отдал бы им часть хлеба, который он собрал для спекуляции. Конечно, небольшую часть... Видишь, как я откровенно с тобой говорю. Знаю, что ты на меня не донесешь. Но если б и донесла, то тебе никто не поверит, а со мной ссориться опасно!— опять очень внушительно сказал он.— Так вот, граф приедет, увидит, как ты стонешь и бьешься в судорогах, и тотчас велит тебя выпустить: он терпеть не может больных. Кроме того, от твоих страданий он разжалобится, подумает о муках ада. Граф не очень верит в Бога, но страшно боится: а вдруг ад все-таки есть? Увидишь, он даст тебе денег.

— Я его денег не хочу!

— Тебя никто не спрашивает!— в первый раз сердито сказал Сен-Жермен.— Ты можешь отдать часть на добрые дела. Я даже беру

это на себя, возьму десятую долю того, что тебе даст граф, и раздам ее беднякам. Остальное пойдет тебе в приданое от графа. Ведь твой жених беден. Без денег нельзя быть счастливым, или это в сто раз труднее, чем с деньгами. Вижу по твоему личику, что ты поняла. Повтори все, что я тебе сказал.

Она повторила. Он одобритительно кивал головой. Затем сполоснул водой свой бокал, вылил воду в ее стакан и вытер бокал салфеткой.

— Никому не говори, что я пил вино. Пила ты. Ну вот, значит все в порядке. До скорого свидания, моя милая. Бейся в истерике как можно лучше и кричи как можно жалобнее,— сказал он и встал. Хотел поцеловать ее, но не поцеловал именно потому, что очень хотелось.

— Очень плохо! Совершенное отчаянье!— сказал он Мадам в ее кабинете.— Я немного ее успокоил и убедил ее выпить вина. Теперь, пожалуйста, оставьте ее в покое, может быть, она заснет. Я завтра заеду опять. А если вдруг понадобится сегодня, пошлите за мной. Вечером я на балу во дворце. Будут фигурные танцы. Его величество откроет бал с одной из принцесс, а я танцую в восьмой паре,— небрежно пояснил он. Мадам остолбенела от почтения.— Но, разумеется, я брошу бал и в случае надобности приеду немедленно. Жаль бедную девочку. Она глупенькая: не понимает своего счастья.

Получив извещение о болезни Элен Палуа, король забыл об инкогнито и примчался в карете в Олений Парк. Вслед за ним приехал и граф Сен-Жермен в бальном костюме, с огромными бриллиантами на кафтане и на туфлях. Людовик был бледен и растерян. Мадам, плача, говорила, что ни в чем не виновата. Ее красивая помощница ахала и все старалась привлечь внимание короля.

В своей комнате Элен на диване билась в судорогах. Только что приехавший врач испуганно смотрел на Людовика, с ненавистью на графа. Бормотал, что это сильнейшее отравление мышьяком, что надежды на выздоровление мало, что надо немедленно промыть желудок.

Сен-Жермен осмотрел больную. «Адриенна не Адриенна, а ловкая девочка. Удивительно, как они все любят ломать комедию».

— Да, это так,— подтвердил он.— Опаснейшее отравление мышьяком.

— Спасите ее!— крикнул король.— Я не хочу, чтобы она умерла!

Сен-Жермен задумался.

— Я попробую,— сказал он после минуты размышления.— Пусть мне принесут хрустальный кубок,— обратился он к Мадам. Она растерянно спросила, непременно ли нужен хрустальный.

— Непременно, если я говорю,— подтвердил он строго. Мадам побежала за кубком.— Теперь я установлю магический круг.

Он наклонился и стал делать над Элен странные жесты обеими руками. Все смотрели на него с изумлением. Изредка он бормотал непонятные слова. Когда принесли кубок, он налил в него несколько капель зеленой жидкости из нового пузырька.— Никогда с ним не расстанусь,— пояснил он шепотом королю.

— Откройте рот,— повелительно сказал граф больной и влил ей

в рот жидкость, затем, отдав Мадам хрустальный кубок, поднял обе руки к потолку и что-то опять забормотал.

— Удалось? Выздоровеет?

— Удалось, ваше величество,— ответил он, тяжело дыша. Лицо у него было искажено.— Через четыре минуты она совсем придет в себя.

Король переводил взгляд с него на больную. Врач кипел от негодования, к которому примешивались страх и зависть.

— Так больше нет опасности?— спросил король и вытер лоб платком.

— Ни малейшей, ручаюсь головой. Но месяц или два у нее будет рвота и понос. Надо завтра же увезти ее на поправку куда-нибудь в лес. Лучше всего в Компьень.

— Завтра же утром увезти ее!

— Теперь уложите ее в кровать. Дайте ей поесть: бульон, цыпленка, компот, и немного хорошего вина. Я еще раз зайду к ней минут через десять.

— А промыть желудок? Промывание необходимо,— жалобно сказал врач.

— Не сейчас. Вы будете приезжать в Компьень, и там будет видно,— ответил граф, понимавший, что всем надо жить. Врач успокоился. Мужчины вышли из комнаты. Король направился в классную и там тяжело опустился в кресло. Сен-Жермен вошел за ним и с любопытством осмотрелся: в этой комнате до того никогда в ней не бывал. Мебели было немного: два кресла и кровать с низким изголовьем, окруженная с трех сторон высокими стоячими зеркалами.

Через четверть часа Сен-Жермен, очень веселый и оживленный, вернулся в комнату Элен. Она лежала в кровати, бледная и измученная. Он ласково потрепал ее по щеке.

— Граф уже уехал. Ты больше не увидишь. Тебя увезут в Компьень. Я устрою так, что твой жених будет там тебя навещать. А завтра я туда приеду с чиновником казначейства. Граф тебе подарил двести тысяч ливров!.. Молчи, дурочка. Впрочем, ты не дурочка, а умница. Я хотел получить с графа триста тысяч, но он дал только двести. Сказал, что и этого довольно за то удовольствие, которое ты ему доставила. Кажется, он добавил: «И пусть она с поносом идет ко всем чертям!» Надеюсь, ты не обидишься?

— Я так счастлива!.. Спасибо вам,— прошептала она.— У меня в самом деле будет это?

— Что это, моя милая?

— Понос,— еле выговорила Элен.

— Ничего ровно не будет. Когда чиновник уедет, ты отдашь мне двадцать тысяч для бедных. Из остального папе не давай ни гроша. Я даже не велю его к тебе пускать. Жениху тоже пока ничего не давай, всякие бывают женихи... Не сердись, я пошутил. Ну, до свидания, дитя мое, желаю тебе счастья. Года через два я приеду к вам в гости. Ты меня познакомишь с твоим мужем.

— Приезжайте раньше, умоляю вас!

Он засмеялся.

— Может, и через два года не приеду. Буду верно в Московии.

— В Москве? У турок? Зачем вам ехать в Москву! Там вас могут посадить на кол!

— Может, и не посадят.

— Да что вы там будете делать?

— Лечить людей. Панацеей . . .

— . . . Так, значит, у вас две панацеи, Николай Аркадьевич? Вы не только хотите удлинить жизнь людей, но научить их добру? Хорошо, хорошо, вы будете проповедовать на Западе и моральную панацею. Вам нужно познакомиться с ней мир. Но без вашего биологического открытия вас и слушать никто не будет. Разве на Западе, без гения Достоевского, стали бы слушать какого-нибудь Мышкина или Алешу Карамазова? Куда лезете? Кто такие?— один идиот, другой мальчишка. Совершенно другое дело, когда говорит великий ученый, открывший в своей науке новые пути! Послушайте, я вам устрою статьи в газетах, радиосообщения, телевизию, что хотите, и не для вас, а для вашей идеи! Вы будете говорить о всеобщем сближении, о последних аксиомах сотням миллионов людей. Уедем, Николай Аркадьевич! Я использовал для вас его панацею. Я подал им идею новой провокации, они дали нам аэроплан, он нас ждет! Конечно, на границе они собираются нас сбить. Вы понимаете, какая очаровательная, какая дивная провокация: капиталисты пытались вывезти своего агента, то есть вас, но тому помешала бдительность рабоче-крестьянской власти! Мне предложено спуститься на парашюте, обещаны разные блага. Условия с провокаторами они часто выполняют, я ими не соблазнился. Принял, конечно, с полной готовностью, но у них свой план, а у меня мой, бабушка надвое сказала. Погибнем так погибнем, вы сами говорите, что вам терять нечего. Это fifty-fifty, теперь все в мире fifty-fifty, даже существование земли . . . Послушайте, если вы умрете здесь, что будет с обеими панацеями? Бумаги бросят в корзину. Допустим, вы сделаете надпись, что они очень важны. Тогда папка попадет на Лубянку. В лучшем случае бумаги передадут на рассмотрение какому-нибудь их ученому, любимчику, надежному прохвосту. Он либо признает ваше открытие не имеющим никакой ценности, либо выдаст его за свое. Вернее, он делает то и другое: сначала объявит, что бумаги вздор, а через некоторое время сообщит о своем головокружительном открытии. Быть может, советское правительство и будет знать правду, но оно поддержит версию любимчика: гораздо лучше, чтобы автором великого открытия был коммунист, чем сидевший в тюрьме белобандит. Он объявит, что он сделал свое открытие под руководством Иосифа Виссарионовича. И на вечные времена автором будет он . . . Видите, у вас даже лицо задергалось. Возможно и другое: ваших бумаг никому не покажут и на них просто не обратят внимания: какое уж там открытие мог сделать жалкий лаборант, неудачник, которого на службе держали из милости! На Лубянке ничего никогда не уничтожают, все может пригодиться, бумаги так и будут лежать. Допустим, большевики падут через десять или двадцать лет. Перед гибелью они, наверное, все сожгут, к великой радости бесчисленных сексотов. А если даже не сожгут, то для разбора понадобятся столетия. Знаете ли вы, что во Франции до сих пор

разобрана только часть архивов, оставшихся от Великой революции? Кроме того, разбирать архивы будут люди, ничего в биологии не понимающие. Можно ли предположить, чтобы они наткнулись именно на ваше досье из лежащих там миллионов? Можно ли предположить, чтобы они заинтересовались делом никому неизвестного лаборанта, умершего в тюрьме от рака простаты? Чтобы они прочли и оценили полустлевшую ученую записку? Нет, не обманывайте себя: ваше имя останется совершенно неизвестным. Награды, почести, слава достанутся вору. У вас станет знаменит и его, разумеется, пощадят в день расправы, если будет такой день. Он немедленно перекарасится, как все, и будет «наша русская гордость» . . . Не отдавайте бумаг Макронам! Отдайте их мне, и вы будете благодетелем человечества! Клянусь честью, что мы поступим иначе! Конечно, вы вправе не верить чести секретного агента, но подумайте, зачем нам обманывать? Если б даже нашелся у нас такой подлец-ученый, то ведь мы-то будем знать, откуда пришло открытие. Мы отдадим бумаги на рассмотрение компетентной комиссии, она будет убеждена, что автор на свободе и находится где-то в западных странах, мы и имени вашего не назовем, пока не узнаем, что вас больше нет в живых. О, тогда мы назовем ваше имя! Мы разгласим его на весь мир! Это будет соответствовать и нашим интересам, это будет наш реванш за Фукса, за Понтекорво, за стольких других. Открытие гениального русского ученого досталось нам! Они его не использовали. Для этого, верно, вы и понадобились американцам. После войны вы вернетесь . . . Да, будет война! Москва найдет повод. Всегда можно найти повод. У вас нет выбора, гражданин Майков. Вы человек обреченный, это судьба трех или четырех гениальных людей, которые, быть может, теперь существуют в вашей несчастной, забытой Богом стране! . . . А если не хотите лететь, то кончайте с собой немедленно! За вами придут сегодня же ночью. Проваливайте в лучший мир! А то бежим, аэроплан ждет на улице.

— Аэроплан ждет на улице.

— Да, да, без аэродрома. Послушайте, вы увидите Капри! Солнце светится в зеленой воде моря. Вы помните эту воду? Вы увидите Венецию, мы проведем ночь на Пицца-Сан-Марко! . . . Вы увидите Наташу! Наташу де Палуа! . . . Бежим . . .

. . . Это под нами Красная площадь! Слышите траурный марш? Это его хоронят! Это бьют часы на башне Кремля. Гудят гудки фабрик, заводов, пароходов, паровозов. Играют траурный марш. Склоняются победные знамена над прахом величайшего полководца всех времен. Маршалы на алых бархатных подушках несут ордена и медали. И как все врут, как чудовищно все врут! Маршалы и паровозы! Кто это говорит речь? Это дофин, Бериа, Тиберий-Бериа. Он в пиджачке! Дофин, дофин, в этой стране нельзя править в штатском платье! Дофин, дофин, рядом с тобой другие дофины, убей их поскорее, а то они убьют тебя . . . Прощай, Москва! За нами погоня. Не бойтесь, гражданин Майков. В Европе нет летчика лучше меня, они нас не собьют! . . . Играют тарантеллу! Да, вся моя жизнь тарантелла . . .

... Аэроплан опустился на Капри. «И как хорошо прошел по каменным лестницам, ничего не случилось... Сколько же я летел? Почему началась война? Из-за меня? Так быстро? Нет, слишком незначительный повод... Надо сейчас же купить газеты... Где же папка? Сейчас снести с полковником... Поздно, если началась война... Но заплатить он должен!..»

Шелль, широко раскрыв глаза, дрожал под одеялом на кровати. Бред уже кончался. «Ведь я с ним говорил! Я видел похороны... Неужто все было бредом! Не может быть... Но ведь это играют тарантеллу!»

Только минуты через две он пришел в себя. «Это у соседа играют... Неужто там танцевали до утра? Да, это так, все было ерундой! Никого я не вывез... И не поеду, ни за что не поеду в эту страшную страну.»

Он встал и подошел к окну. Солнце уже всходило. «Море, сады... Все пройдет, это останется!»

### XIII-XIV

.....

### XV

У Эдды было намечено два варианта. По первому она искусно похищала у Джима секретные документы, отдавала их для фотографирования (ей было указано, куда надо отдать), он оставался чист, и все было в совершенном порядке. Трудность была в том, как похитить. Эдда долго ломала голову и ничего не могла придумать. «Ведь он прямо со службы увозит их в печь? Мой картежник, верно, придумал бы план. Запросить советского полковника? Но он такой хам, так сухо со мной разговаривал! И это значило бы погубить свой престиж: «Познакомиться ты с ним познакомилась, а больше ничего сама выдумать не можешь!» Она уже послала полковнику указанными ей путями свое первое победное донесение. Тщательно его зашифровала, ей для этого был дан толстый словарь: надо было каждое слово обозначать страницей и порядком слова на странице. Зашифровка заняла у нее часа два; она работала с ужасом и с наслаждением, заперев на ключ дверь своего номера.

Второй вариант был гораздо более драматический: следовало свратить Джима. В подробностях обдумала: «Вино, очень много вина. Затем оргия!»— на тему оргии уже задумала поэму, где говорилось о страстных лобзаниях и безумных объятиях — перечеркнула: страстные объятия и безумные лобзания. Была замечательная аллитерация и совершенно новая рифма: «поблекла» и «Софокла». «Потом сказать Джиму все: я шпионка! Мне поручили тебя выслеживать и через тебя узнать тайны Роканкура! Шпионкой же я стала никак не ради денег, а по убеждению: у коммунистов правда, они спасают мир от ужасов новой войны, надо им служить! Но со мной случилось несчастье: я вдруг безумно в тебя влюбилась! Теперь реши все сам! Если хочешь, убей меня! Если хочешь, сообщи твоему начальству, и меня казнят! Но если

ты меня любишь, порви с твоим прошлым, стань моим единомышленником, будем работать вместе! . . .»

Этот вариант умилял ее до слез. Впрочем, и у него были серьезные недостатки. Джим говорил, что безумно в нее влюблен, да это было и совершенно очевидно. Все же она не была уверена в том, как он поступит. «Быть может, в самом деле тут же меня убьет! Хотя это маловероятно. И как же он меня убьет? Звонок — над кроватью. Если он схватит меня за горло, я зазвоню, дверь оставлю отворенной . . . Нет, он поднимется на постели — и уйдет. Тогда я тотчас улечу в Германию. Виза есть, деньги есть. Если даже он такой подлец, что пойдет доносить ночью, — нет, ночью нельзя, некому, подождет до утра, — то во всяком случае я улечу вовремя. Денег полковник тогда больше давать не будет, но и я ему остатка не верну. Буду в Берлине ждать картежника. Если же Джим согласится — не может не согласиться, он так в меня влюблен! — то все будет чудно. Мы доставим документы, получим деньги и уедем в Италию». Тут, правда, было новое осложнение: она очень рада была поехать в Италию с Джимом, но не хотела надолго расставаться с Шеллем: «Оставишь его без надзора — ищи ветра в поле» . . .

Как бы дело ни сложилось, несомненно была налицо игра жизнью, — то самое, что ей больше всего нравилось в литературе и кинематографе. Решила еще немного подумать. Назначила дату для оргии, на случай второго варианта: 13 марта, это была пятница, — совпадение тяжелого числа с тяжелым днем, — она бросала вызов судьбе. «Так ему и скажу: «J'ai lancé un défi à la destinée», по-английски это выходит хуже . . .» Долго с наслаждением все себе представляла: он рыдал, затем падал перед ней на колени и клялся ей порвать со своим народом, со своими родителями, с братьями, — «теперь у меня только ты!» Затем они опять пили шампанское и она читала ему стихи. Затем они отправлялись в Венецию и вечером, при луне, обнявшись, плыли на гондоле . . . «Gentille gondolière, — dit le pêcheurpris, — je cede á ta prière, — mais guelen sera le prix? . . .»

Осуществился именно второй вариант, лишь с самым незначительным отклонением от выработанной программы. Шампанского Эдда не купила: слишком радостное вино, к такому случаю не подходит, да и где же заморозить ночью? Заменяла его бутылкой коньяку. Так выходило и дешевле — полковник дал ей не очень много денег. Между тем расходы были большие. Она купила для оргии ночную рубашку из черного крепдешина с черными же кружевами, длинную, в талию, похожую на платье, *très travaillée*, от Лебиго; давно о таких мечтала, это и подходило лучше, чем пижама; заплатила десять тысяч франков. Эдда думала, что шпионкам платят деньги, не считая. Оказалось не так.

Все сошло как нельзя лучше. Он возил ее в Роканкур и показал ей печь. Там отдал толстый пакет, который тут же при них был сожжен. Она видела, что он распоряжается печью, как хочет. К концу же пятой оргии Эдда — правда, не очень кстати — восторженно заговорила о русской музыке и балете. Джим был с ней искренне согласен: любил русскую музыку и балет. Затем она сказала, что на современную

Россию клеветают. Он не спорил и с этим: действительно, клеветы немало. Она ругнула американское правительство. Он поддержал. Минут через десять Эдда объявила ему, что служит советской власти, несущей мир и счастье всем народам. Джим не схватил ее за горло. Еще минут через пять он стоял перед ней на коленях и восклицал, что ее народ будет его народом, что для него нет больше ни отца, ни матери, ни братьев (их, впрочем, у него и в самом деле не было). Джим вспомнил фильм «Тарас Бульба», который видел в Париже. Знал, что играет он не очень хорошо, и все больше удивлялся: «Неужто такая дура может быть шпионкой! Правда, дядя говорил, что в его ведомстве дураков еще больше, чем психопатов».

— . . . Я принесу тебе одну важную информацию, — сказал он, задыхаясь. — Но ее в тот же день надо будет бросить в печь. Пусть твои ее быстро сфотографируют.

— Не «твои», а наши! Ты теперь наш! Мы будем работать вместе!

— Для тебя я предаю родину! Теперь у меня больше никого нет, кроме тебя! Мы вместе бежим!

Он получил письмо от дяди. Полковник поздравлял его с успехом и сообщал, что ему будет дан для дуры важный пакет и что отдать его надо непременно 18 марта. «Вижу, что у тебя угрызения совести. Помни, однако, что ты это делаешь не для себя, а для отечества, — писал полковник, с трудом выдавливая пышные слова. — Кроме того, дуры никакая опасность не грозит. Пусть она уезжает из Франции куда ей угодно. Судя по тому, что ты о ней сообщаем, она нам больше ни для чего не нужна. Постарайся спровадить ее поскорее. Если это необходимо, можешь уехать с ней ненадолго и ты. Отпуск и деньги тебе будут даны. Ты окажешь делу большую услугу. Скажу правду, я предпочел бы, чтобы ты расстался с ней по возможности немедленно. Но если иначе нельзя (слова были подчеркнуты два раза), то поезжай в Италию и расстанься с ней там. Дай ей от себя сколько признаешь нужным, — все-таки не очень много: казенные деньги надо беречь еще больше, чем собственные. На досуге ты подумаешь, хочешь ли ты и дальше работать в нашем деле. Кстати, скоро буду в Италии и я. Мы могли бы встретиться в Венеции».

Пакет был действительно очень важный. Запершись у себя в кабинете и почти никого не принимая, полковник работал целый день и часть ночи, испытывая чувство, очень близкое к тому, которое называется вдохновением. В его деле преобладала мрачная, злая проза, часто отравлявшая ему жизнь. Но порою он находил в своей работе и настоящую поэзию: так необыкновенно иногда бывали замысел, осложнения, комбинации, психологическая игра. Дезинформация относилась к атомным бомбам, к их числу, мощности, распределению по местам. Составлено все было необыкновенно искусно, особенно письмо из Пентагона Сакюру. Это было *opus magnum* всей жизни полковника.

## XVI

Полковнику был дан адрес лучшей гостиницы Венеции. Деньги Шелль просил внести в швейцарский банк, в котором имел с давних лет счет.

Теперь на счету оставалось девяносто пять франков — почему-то вышла некруглая цифра.

В Неаполе вечером, накануне отъезда, когда Наташа ушла в ванную, он вынул бумажник и пересчитал все, что у него было. Оказалось: сто два доллара и несколько тысяч лир. Он записал цифры в книжку: несмотря на свою расточительность, все расходы за день записывал; старался делать это в отсутствие жены. Но как раз Наташа вышла из ванной в пенюаре.

— Забыла вынуть мыло,— сказала она застенчиво и, увидев, что он что-то записывает, догадалась.— Расходы? Я тоже в Берлине все записывала. Скажи, мы не слишком ли много тратим? Теперь у тебя ведь гораздо больше расходов, чем было до меня. Я тебе много стою, правда? У меня своих пока нет.

Он никогда с ней о денежных делах не говорил; но всякий раз после их женитьбы, когда упоминалось о деньгах, лицо у нее становилось испуганным. В эти минуты ему особенно хотелось стать богатым человеком. Он улыбнулся, посадил ее к себе на колени и нежно поцеловал.

— У тебя волосы без блеска, я это так люблю... Конечно, ты меня разоряешь. Я истратил на тебя тридцать шесть миллионов золотых франков, как Людовик XV на маркизу Помпадур. Не беспокойся, расходы не имеют значения.

— Ну вот, ты всегда шутишь, а это мне неприятно. Теперь все женщины работают. Я тоже должна что-то зарабатывать.

— А мне было бы неприятно, если б ты что-то зарабатывала. Это дело мужа. Я человек старых взглядов.

— Допотопных! Но я тебя обожаю!.. А ты меня любишь? Правда? Как кто? Как Лаврецкий Лизу? Как Санин Джемму? Я отлично знаю, что мне до них, как до звезды небесной!..

— Как Шелль Наташу.

— Как Шелль Наташу! Да, это лучше всего!.. Знаешь, ты немного похож на слона.

— Мне говорили, будто я похож на китайского палача.

— Господи! Что за вздор! Скажут же этакое люди! На палайского китача... Видишь, как я глупо острою... А ты сказал, будто я остроумна... Сказал? Я очень глупа,— говорила она, осыпая его поцелуями.

Он часто читал в ванне, Наташа тоже стала брать с собой книгу,— какую-нибудь подешевле, непереплетенную, потертую,— вдруг, задремав, уронит в воду. Но она не читала, все думала. «Конечно, я обожаю его! Может быть, еще больше, чем прежде... Нет, не больше, только теперь по-иному. Наверное, так бывает всегда? И не прячет он ничего от меня, он просто не говорит, это не то же самое. Но мне так хотелось бы войти в его жизнь, целиком войти, все знать, все разделять».

Наташа не могла привыкнуть к тому, что ничего для мужа не делает. Все осталось, как было. Они жили в гостиницах, обедали в ресторанах, никаких забот по хозяйству у нее не было, так как не было хозяйства. Не могла она помогать мужу и в его делах; ничего о них не знала; быть может, у него не было и дел. «Хоть бы письма мне диктовал. У него

хороший почерк, но странный: твердый и вместе с тем изменчивый, точно разные люди пишут . . . И как все-таки жене не знать точно, чем занимается муж? Такого случая, верно, никогда не было! Правда, он сказал, «эпизодические посреднические дела», но сказал уклончиво, даже сухо. Что такое «эпизодические посреднические дела»? Спросить его? Да, я спрошу, только немного позднее».

Шелль даже свои вещи из чемоданов вынимал сам. Она ему сказала, что недурно штопает белье, он ответил, что все чуть порванное выбрасывает; и действительно при ней оставил лакею в гостинице несколько пар носков и шелковую рубашку, в которой было бы очень легко починить еле надорванный воротник. «Разумеется, это вздор! . . . За что он полюбил меня, просто не понимаю! Он говорит, будто я остроумна». (Она часто старалась придумывать для него шутки, и у нее в глазах тогда бегали лукавые огоньки.) «Совсем я не остроумна. Что я делала бы без него? Разве я не знаю, что никто в меня не влюблялся? Я никогда не имела у мужчин успеха». Слово это ей не нравилось. Прежде, еще так недавно, предположение, что она мало нравится мужчинам, было одним из самых тяжелых в ее жизни. Теперь она думала об этом почти весело. «Да, я буду работать. И никаких платьев себе заказывать не буду, пока не отложу из своего заработка. И не нужны мне все эти Деры или как их там».

Она считала богатство грехом и была убеждена, что надо жить бедно. Но были вещи, которые она теперь оценила: прежде всего, собственную ванну с горячей водой круглые сутки — этого у нее никогда в жизни не было. «Хорошо бы, если б это осталось. Хорошо еще, что можно иногда путешествовать, вот Венецию увидим. Хорошо, что можно будет закупить книг. А больше мне ничего не нужно. Как жаль, что ему нужно так много . . . Лишь бы только он меня не разлюбил!»

Наташа и прежде всегда молилась, даже в советской России, даже на немецком заводе. Теперь молилась больше, усерднее, каждый день благодарила Бога за посланное ей небывалое, неслыханное счастье. От Шелля это скрывала, хотя думала, что ему это было бы приятно.

Легко было сказать: «Расходы не имеют значения». Легко было говорить себе, что после той ночи бреда не должны иметь значение и деньги вообще. «Но ведь это именно был бред, бессмысленный бред, никакого Майкова я не видел, ничего он мне не говорил, все было вздором», — думал он. Однако в мыслях упорно возвращался к тому же. «И ничего нового нет в этой идее возвращения от зла к добру, я сам об этом думал и до того . . . То есть именно поэтому мне и померещился Майков со своими идеями, что это были мои идеи, и не самые интересные даже из моих идей. Нет, верно, негодяя, нет и преступника, который хоть изредка, хоть раз в жизни, не мечтал бы о так называемой честной жизни . . .» Слова «так называемой» он и теперь, как прежде, еще ставил в иронические кавычки, но знал, что это уже удастся ему с трудом. «Да, да, банальная история: влияние Наташи, «духовное возрождение человека», слышали! — с досадой говорил себе Шелль. — Впрочем, так ли еще моя история банальна? Будут у меня les hauts и les

bas, и без bas я выпутаться сейчас не могу, просто не могу. Вся философия Майкова, какова бы ей ни была цена, ничем помочь не может, когда у меня — теперь с Наташей — не остается денег, чтобы заплатить по счету в гостинице . . .»

Действительно, несмотря на свои новые чувства, он все тревожнее себя спрашивал: «Что, если полковник денег не послал? Мог решить, что заплатит лишь на месте в Берлине. По-своему он был бы и прав: он не обязан меня знать, хотя, конечно, он слышал, что я в денежных расчетах аккуратен. Если не пришел аванса, то вопрос кончен: не буду с ним работать . . . Это тоже легко сказать. А что тогда делать?» По давнему правилу (впрочем, допускавшему исключения), он у знакомых денег не брал. В Венеции же у него и знакомых не было. «Да и в других местах люди не очень раскошелились бы».

Впрочем, если б он и не надеялся на аванс от полковника, Шелль все-таки остановился бы в лучшей гостинице. По его мнению, для небогатых людей были две манеры существования. Одна, которую он терпеть не мог и называл мелкобуржуазной, заключалась в том, чтобы жить скромно, да еще — предел пошлости — откладывать на черный день. Другая, давно им принятая, основывалась на убеждении, что у настоящего человека деньги всегда, рано или поздно, появятся, а для этого не только не следует их беречь, но надо ими сыпать, всячески показывать, что их есть сколько угодно. Правда, многое тут зависело именно от «рано или поздно»: если появление денег очень запаздывало, вторая манера могла привести к скандалу или даже, при невезении, к тюрьме. Однако в его сложной, путаной, полной приключений жизни этого не случалось: деньги в последнюю минуту всегда появлялись.

Теперь предел «рано или поздно» был точный: две недели. Эффектная внешность Шелля, дорогие костюмы, превосходные чемоданы с наклейками знаменитых гостиниц и пароходов («first class»: наклейки с «cabin class» и «tourist class» — всякое бывало, — были соскоблены) производили впечатление на швейцаров и управляющих. После первого недельного счета можно было небрежно сказать: «Я уезжаю в будущую пятницу, заплачу все сразу». Но после второго счета дело становилось трудным.

Он и теперь неуверенно говорил себе, что его в той гостинице знают: действительно, он несколько раз в ней останавливался, в такие периоды, когда денег было достаточно. Предусмотрительно и тогда платил не очень аккуратно и, рассчитываясь, оставлял огромные на чай: так создавал себе кредит. Однако положиться на это было трудно: управляющие и швейцары менялись, да и старые, несмотря на их профессиональную — как у сыщиков — замечательную память, не всегда помнили его обычаи; были между ними и скептики, на которых чемоданы с наклейками не действовали: через две недели они грустно-почтительно требовали уплаты по счету.

Главное же было не в этом. Он твердо решил в Москву не ехать. Таким образом, аванс полковнику необходимо было бы вернуть очень скоро. Невозвращение аванса, при отказе от поручения, было бы гораздо хуже, чем неоплаченный счет в гостинице: оно означало бы бесславный конец карьеры разведчика. Означало бы также переход той не очень ясной,

но существующей черты, которая отделяет авантюриста от мошенника. Тогда хоть выдавай чеки без покрытия! Как все настоящие авантюристы, Шелль чеков без покрытия никогда не выдавал.

Он по-прежнему совершенно не знал, чем заняться, как обеспечить себе шесть-семь тысяч долларов в год, которые были ему уж совершенно необходимы с Наташей, даже при образе жизни, грозно приближавшемся к мелкобуржуазному. Как-то купил парижскую американскую газету и внимательно прочел объявления: «Help wanted», «Situations wanted». «Есть что-то унизительное в этом робком самохвальстве, во всех этих «dynamic, reliable», «great experience», «fluent French», «good appearance», «first class referencess»... И хуже всего то, что Наташа считает меня богатым человеком!» Не было бы ничего странного, ни неделикатного, если б она после свадьбы спросила о его средствах. Он сам удивлялся тому, что она не спрашивает, и заранее что-то придумывал в ответ.

Формальности по браку были проделаны им очень быстро. Шелль сказал о них Наташе наутро после тарантеллы. Ее смятение было так велико, что она его слов почти не понимала. Плохо понимала и то, что происходило в следующие дни.

Они поженились в Неаполе: Капри стал почти страшен Шеллю после той ночи бреда. Он сказал Наташе, что они поедут в Венецию,—«свадебное путешествие». Невольно улыбался: так эти слова не подходили, особенно после такой свадьбы,— свидетелем был швейцар гостиницы. Наташа выразила восторг, но в душе была не очень рада. Ей было бы приятнее поскорее устроиться прочно, все равно где, лишь бы устроиться.

— Чудно!.. Где же мы будем жить? В Берлине?— решила наконец спросить она.

— Посмотрим, подумаем. Я сам еще не знаю, это зависит и от моих дел,—ответил он неохотно и, опасаясь, что она спросит о делах, поспешно прибавил:— А ты где хотела бы жить?

— С тобой все равно где. Но я хотела бы, чтобы у нас уже была какая-нибудь постоянная квартира. Увидишь, как я буду хорошо вести хозяйство. Все будет чисто как стеклышко!

Он ничего не ответил, и это немного ее огорчило. Узнав, что в Венеции они останутся в одной из самых знаменитых гостиниц мира, Наташа встревожилась: «Как же туда сунуться с моими тремя платьями!» На Капри Шелль купил ей кольцо и сказал, что платья здесь заказывать не стоит, да и нет времени.

— Какие там платья! Зачем? У меня в Берлине остались еще вещи,— робко ответила она.

— Вот побываем в Париже, и у тебя будут платья от Диора.

— От какого Дьера? Это какой-нибудь дорогой портной? Не нужно мне таких платьев. Я в них была бы и смешна.

— Ты будешь одинаково прелестна и в платьях от Диора, и в лохмотьях,— сказал он совершенно искренне. И подумал: «Положительно, Ромео!»

Его слова ее кольнули: «Правда, он говорит фигурально, но я, после завода, в лохмотьях никогда не была. За это платье заплатила на

распродаже двадцать две марки! Лишь бы он меня не стыдился, мне все равно».

Они приехали в Венецию поздно вечером. Волшебный город ее поразил, она ахала всю дорогу по Большому каналу. «Просто и представить себе такого не могла!»— говорила она и сама не вполне понимала, говорит ли о Венеции или о своем счастье.

Управляющий в гостинице оказался прежний. Утром Шелль справился по телефону в швейцарском банке, узнал, что две тысячи долларов на его счет поступили, и почти этому не обрадовался: «Все равно надо немедленно что-то придумать».

Весь день они осматривали город. Ее восторг радовал его. За обедом он ей рассказывал о Венеции, говорил, что знает «все двести дворцов». Дворцов тридцать или сорок мог назвать.

— Этому городу природа не дала решительно ничего. Все создали человеческий гений и труд. Если бы я способен был гордиться человеком, то гордился бы именно тут... В моей жизни был период, когда я приезжал сюда каждую Пасху. Тогда еще мало было пароходиков и моторных лодок на каналах, тишина была совершенная, только те тысячеletние крики гондольеров: «Э-эйа!», которые ты сегодня слышала. Ничего не было лучше для успокоения нервов, чем эта тишина.

— Наша деревня для этого была еще лучше. Я обожаю природу, особенно русскую. А ты?

— Я тоже, хотя я городской житель... Флобер не любил природу и откровенно это говорил.

— Не может быть! Писатель!

— Говорил, что искусство гораздо лучше. А ты хотела бы поселиться в деревне?

— Страшно хотела бы, но где? Ведь в Россию мы не вернемся,— грустно сказала Наташа.

— Кто знает? Ты, может быть, до этого доживешь. А я не надеюсь... Не протестуй, не надо: все-таки я гораздо старше тебя. Вдруг мы купим себе виллу в Италии, а?

Он заговорил об окрестностях Венеции и опять говорил хорошо, хотя несколько более вяло, чем обычно. После обеда посоветовал ей подняться в номер и отдохнуть:

— При твоём слабом здоровье надо лежать побольше.

— Да вовсе у меня не слабое здоровье! Но в самом деле, посиди один в холле или погуляй, а то все со мной, соскучишься, «смерть мухам»,— сказала она как бы шутливо и поднялась. В самом деле чувствовала большую усталость.

Он вышел в холл, заказал кофе и закурил. Думал все о том же, о скучном, и сам этого стыдился: «Деньги. Только одна забота: проклятые деньги! Быть может, вернуться в Берлин уже через неделю? Скажу полковнику, что поехать в Москву не могу, и попрошу дать мне другое поручение? Он пошлет меня к черту. Да и в самом деле так не поступают. Во всяком случае тогда надо было бы иметь в кармане эти две тысячи, чтобы вернуть ему, если он не согласится. Где же я их возьму? Часть уйдет уже здесь. Допустим, при расставании можно было

бы вернуть ему только полторы тысячи и сказать, что последние пятьсот верну очень скоро». Но он представил себе выражение лица полковника и почувствовал, что и этого не скажет: нельзя. «И чем же было бы тогда жить? Останутся карты... Ну нет, от честной игры я уж во всяком случае никогда не отступлю!»— ответил он себе на неуточненные чувства.— Хорошее было бы начало возрождения!» Почти с ужасом вспомнил: «В молодые годы иногда, правда редко, допускал, что был бы способен и воровать деньги у богачей, если б можно было это делать тайно и безнаказанно. Был по-настоящему преступной натурой. Но возрождение может быть только постепенным, другого, верно, и не бывает иначе как в легендах о разных Кудеяхх... Остается продать картины, мебель. При спешке дадут гроши. А дальше что?»

В холл, в сопровождении управляющего, спустился по лестнице невысокий экзотического вида брюнет в смокинге. Он что-то сердито говорил управляющему по-испански. Тот быстро кивал головой, видимо плохо понимал и отвечал по-французски. «Уж очень почтителен... Кто такой? Лицо приятное и печальное. Есть что-то первобытное, точно он сейчас схватится за нож. Одет хорошо. Горбоносый, усики чуть светлее волос,— почти автоматически заносил на какую-то ленту в мозг Шелль.— Пуэрториканец, что ли?»

— Я не знаю французского языка. У вас должны понимать по-испански,— так же сердито сказал господин и прошел в бар.

— Кто это?— спросил Шелль лакея.

— Миллиардер!— таинственным шепотом ответил лакей. — Миллиардер с Филиппинских островов! Только что приехал, занял самый лучший номер.

— Как его фамилия?

— Не знаю. Он ни на каком языке не говорит. Прикажете коньяку или бенедиктина?

— Коньяку.

Через несколько минут, допив кофе, Шелль встал и подошел к управляющему.

— Я вам дам завтра чек на швейцарский банк. У меня нет счета в банках Венеции. Вы это устроите. Тысячи три швейцарских франков, мне этого пока хватит... А кто этот господин?— вскользь спросил он.— Знакомое лицо. Кажется, я его где-то встречал.

— Быть может, вы видели его фотографию в газетах. Он сказочно богатый человек,— сказал с улыбкой управляющий и назвал длинную тройную фамилию.— Хочет купить здесь дворец и устроить какой-то грандиозный праздник. Миллиардер!

— Миллиардеров в долларах нигде больше нет, а миллиард лир это меньше двух миллионов долларов,— пренебрежительно сказал Шелль. «Кажется, земля! Близко земля!»— подумал он и прошел в бар. Филиппинец сидел, развалившись в кресле, и курил. Вид у него был угрюмый. Шелль занял соседний столик.

— Какой прекрасный вечер!— по-испански сказал он. Человек с тройной фамилией оживился.

— Вы испанец?

— Аргентинец,— ответил Шелль и представился. Брюнет назвал свою фамилию.

— С вами можно хоть говорить по-испански. В этом отеле никто не понимает!

— Я видел, что управляющий вас плохо понимал. Если могу быть вам полезен, я к вашим услугам.

— У нас на Филиппинах все стараются говорить теперь по-английски. А я вот рад, что не говорю. Не хочу подлаживаться под янки.

— Это правильно. Так вам не нравится гостиница?

Филиппинец вздохнул.

— Отчего не нравится? Вероятно, она очень хороша. Говорят, это историческое здание. Должно быть, замечательный стиль? Я ничего в стилях не понимаю, как громадное большинство людей. Но они делают вид, будто понимают, а я вида не делаю, хотя это очень легко. У меня в Севилье есть собственный исторический дворец, все им восхищаются, кроме меня. Не люблю этой европейской погони за стариной. Надо жить новым и по-новому. В Маниле я выстроил себе дом, в нем семнадцать спален, и каждая спальня с ванной, и не стоячей, а вделанной в пол. А здесь у меня номер из четырех комнат, но ванная только одна... Вы уже, очевидно, решили, что я парвеню? И действительно, я парвеню, только откровенный. Я богат и сознаю свои обязанности перед обществом. А вот европейские богачи подделываются под герцогов и никакой пользы обществу не приносят... Впрочем, Венеция прекрасный город. Она ни на что другое не похожа. Я это люблю. Я собираюсь купить палатцу на Большом канале.

— Это прекрасное помещение капитала,— сказал Шелль.— Недвижимое имущество везде повышается в цене. Знаю по собственному опыту. Я после войны купил себе в Париже небольшой особняк за восемь миллионов франков, а теперь он стоит двадцать пять или тридцать.

— Мне не нужно помещение капитала. Просто я хочу иметь дворец и в Венеции. Буду иногда сюда приезжать. Кроме того, я хочу устроить тут грандиозный идейный праздник и пригласить самых известных людей мира. Богатый человек должен сознавать свои обязанности перед обществом!

— Разумеется. Очень интересная идея.

— Я решил назвать мой праздник Праздником Красоты. Это хорошо будет звучать на иностранных языках?

— Отлично.

— По-моему, Венеция подходящее место. Для этого нужен дворец. Но какой купить?

Шелль назвал наудачу несколько дворцов.

— Я, конечно, не знаю, какие из них продаются. Я здесь ничего не покупаю. Праздник на сколько гостей?

— На три тысячи.

— Тогда палатцу Дездемоны был бы недостаточно велик.

— Какой Дездемоны?

— Это одна местная знаменитость. Палатцу Вендрамин уж подошел бы лучше. В нем умер Рихард Вагнер. Помните, известный немецкий композитор.

— Помню. А вы знаете все здешние дворцы?

— Я знаю в Венеции каждый камень, знаю историю города, его старину, все. Приезжал сюда сто раз. Теперь приехал отдохнуть с женой, я только что женился.

— Вот как? Я не женат. Вы намерены долго здесь пробыть?

— Еще не знаю. Я свои дела ликвидировал. Просто стараюсь жить возможно приятнее. Если жене здесь понравится, то пробудем месяц или даже больше.

— Это очень приятно слышать. Быть может, даже . . . Так вы знаете и историю Венеции?

Шелль заговорил о Венеции восемнадцатого века, о праздниках, устраивавшихся дожами. Филиппинец слушал его с интересом.

Когда Наташа в десять часов вошла в бар, они играли в карты.

— Встретил старого знакомого,— весело сказал ей Шелль.— К сожалению, он говорит только по-испански, я буду переводчиком.

Он представил жене богача. Тот сказал что-то необыкновенно лестное и цветистое. Шелль счел возможным перевести сокращенно. Все же, как показалось Шеллю, вид у филиппинца стал и несколько настороженный, как будто он опасался, что новая знакомая тотчас бросится в его объятия.

— Мне очень совестно: я обыграл вашего супруга на три тысячи лир. Пусть он мне простит, он играет плохо. А мне вдобавок всегда во всем везет. Даже в игре.

— Настоящему человеку должно везти и в любви, и в картах. Иначе он не настоящий . . . Моя жена привыкла к тому, что я всегда проигрываю.

— Я тебя везде ищущу,— сказала Наташа. Она была не очень рада встрече с новым человеком. «Слава Богу, что я по-испански не знаю, не надо разговаривать . . .» Она посидела внизу недолго и простилась, сославшись на усталость. Шелль ласково поцеловал ей руку, но не выразил желания подняться с ней.

— Я скоро приду, милая.

Пришел он лишь часа через полтора. Она ждала его, скрывая огорчение и досаду. «Так и есть, ему уже со мной скучно! Не показать, что я сержусь . . . Это пустяки, никакого значения не имеет».

Шелль был очень весел.

— Приятный человек и забавный. Мы с ним встречались в Париже.

— Как его зовут? Кто он?

— Ты все равно не запомнишь, у него тройная фамилия и пять или шесть имен, сам их не знаю: Хозе? Родриг? Рамир?

— Как же мне его называть? Дон Хозе? Или синьор Родриг?

— Вспомнил: он дон Рамон. Впрочем, можешь называть его и дон Хозе. Я ему скажу, что это из оперы Бетховена «Кармен», написанной по роману Достоевского. Он сам себя называет парвеню, а я таких парвеню никогда не встречал. Им полагается хвастать, одеваться безвкусно, у них пальцы должны быть «унизаны дорогими перстнями», а он одет прекрасно, лишь немногим хуже меня . . .

— Вот и ты похвастал.

— В кои веки можно. И манеры у него совсем не как у купчины Мордогреева в старых романах, скорее уж как у князя Иллариона Буйтур-Хвалынского. «Охоч был богач Лазарь похвалятися», а он похваляется мало. Есть наивно-тщеславные люди, которых приводит в упоение любой успех, любая статья в газете, любая опубликованная их фотография. Это главная их радость в жизни, они тотчас думают, как этот успех возможно лучше использовать для продолжения. Он не таков, он все принимает как естественно ему полагающееся. Во всяком случае он не «хам», как говорит одна моя знакомая дама. И забавно: он сам говорил, что ничего ни в каком искусстве не понимает, между тем в нем сильно эстетическое начало. Это иногда пошлая, но сильная, соблазнительная штука,— сказал Шелль, подумав и о себе, и даже об Эдде.— Его душа «ищет красоты», и притом не иначе как «грандиозной». Странно. Все эстеты, которых я знал, были физически плюгавые люди. А он, напротив, недурен собой. Разумеется, он мегаломан, но не личный, а, так сказать, «классовый». Он мне сказал, что только частное богатство может спасти мир. Не частная собственность, а именно всемогущее частное богатство! Оно должно, кажется, посрамить большевиков красотой. С необыкновенно значительным видом несет вздор, смерть мухам. Но самое странное у него — глаза: задумчивые, грустные, если хочешь, даже прекрасные. А еще говорят, что глаза зеркало души.

— Глаза как глаза.

— И представь себе, какая у него тут идейная затея.

Он рассказал о празднике, о том, что обещал помогать советами. Наташа слушала с неприятным чувством.

— Тогда, значит, мы здесь задержимся?

— Куда же нам спешить? Посидим немного в Венеции.

— Я хотела тебе сказать,— сказала Наташа, преодолевая неловкость. Глаза у нее стали испуганными.— Я в Берлине за пансион теперь не плачу, только за комнату, и заплатила за месяц вперед. Хозяйка, конечно, знает, что я отдам. Но если мы еще тут остаемся, то надо все-таки ей послать деньги, а то она продаст мои вещи. Да и неловко перед ней. Я уже ей должна!

— Это ужасно! Ты известная мошенница! . . Не волнуйся, я завтра же переведу ей.

## XVII

Очень скоро был куплен палаццо на Большом канале. В нем было все, что полагалось: Atrio, Cortile, мозаичные полы, потолки, расписанные знаменитыми мастерами, камины из греческого мрамора, потускневшая позолота, бронза, старинные диваны, кресла, стулья, баулы. Многого надо было чинить, еще больше докупать. В магазинах Венеции стильная историческая мебель существовала в незначительном количестве. Рамон был доволен палаццо, хотя предпочел бы купить Ca d'Oro. «Ca d'Oro я вам купить не могу, попробуйте сами»,— сказал Шелль.

Интересы продавцов никак не расходились с его интересами. Тем не менее он, не забывая себя, отстаивал своего доверителя и торговался. Сам иногда с усмешкой думал о своем необычном кодексе чести. Рамон ценами почти не интересовался и если иногда требовал и добивался скидки, то, как объяснял Шеллю, лишь для того, чтобы его не считали дураком. С него Шелль никакой комиссии не получал. Он и согласился ведать покупками лишь по настойчивой просьбе филиппинца.

— Вы мне оказали услугу, вы тратите много времени и труда на покупки, а всякий труд должен оплачиваться, таково мое правило,— сказал дон Рамон с той силой в голосе, с какой он высказывал подобные мысли.— Я прошу вас назначить себе вознаграждение.

— Это было бы очень странно,— с достоинством ответил Шелль.— Я вам помогаю потому, что заинтересован вашей идеей Праздника Красоты и считаю ее в высшей степени полезной. А деньги мне, слава Богу, не нужны.

Рамон согласился отступить от своего правила. Как все богачи, он был инстинктивно подозрителен в делах и смутно догадывался, что Шелль получает комиссию от продавцов. Впрочем, он ничего против этого не имел: это было в порядке вещей. Оценил, что Шелль от него вознаграждения не принял,— чувствовал некоторое уважение к людям, отказывавшимся от его денег. «Кажется, догадывается,— с неприятным чувством думал Шелль.— Ну и пусть. Я не обязан для него работать даром». Оба были довольны друг другом. Скоро между ними установились приятельские отношения. Чуть не со второго дня филиппинец попросил называть его просто по имени. Наташа развеселилась.

— Значит, он тебя будет называть Эудженио или как-то вроде этого? Знаешь, я тоже буду тебя так называть: это лучше, чем «Евгений»! Но, ей-Богу, я не в состоянии называть по имени незнакомого человека.

— Да ведь вы все равно не можете разговаривать. Он за меня так держится именно потому, что я говорю по-испански.

— Это я понимаю, но вот ты почему за него держишься?— спросила она и смутилась, заметив неудовольствие, проскользнувшее по его лицу.— Я, впрочем, решительно ничего против него не имею и рада, что у тебя нашелся знакомый. Можно называть его дон Пантелеймон? В той книге Тургенева, которую ты мне подарил, героиня называется Эмеренция Калимоновна.

— Да, Тургенев находил, что это очень остроумно... А мне, право, филиппинец нравится. У него есть привлекательные черты.

— Какие?

— Он добр, очень щедр, любит доставлять людям удовольствие и даже не требует за это благодарности.

— Тогда я ему все прощаю. Главное в человеке доброта.

— Он вдобавок не глуп. Или, по крайней мере, не всегда глуп. Мне иногда интересно с ним разговаривать. Но он слишком болтлив.

— Пожалуйста, бывай с ним побольше и не думай обо мне. Я хочу как следует изучить Венецию, а ты ее знаешь и тебе незачем постоянно меня сопровождать.

— Слишком много разговаривать с ним тоже ни к чему. Все-таки он совершенно невежественный человек.

Это в разговоре с Шеллем признал с полной готовностью и сам Рамон. Они сидели на террасе гостиницы, Шелль пил коньяк, филлипинец только курил папиросу за папиросой. Табак оказывал на него такое же действие, как вино на других людей.

— . . . Я никакого образования не получил. Мой отец нажил свое богатство тогда, когда я уже был юношей. Он был гениальным дельцом.

— Вот как,— сказал Шелль, впрочем знавший, что гениальными дельцами неизменно признаются все очень разбогатевшие люди.— Вы несколько преувеличиваете.

— Вы отлично знаете, что я не преувеличиваю. Я невежда. Имейте в виду, я все замечаю. Заметил и насчет Дездемоны . . . Помните, я при нашей первой встрече спросил вас, какая Дездемона. А вы после этого объяснили мне, кто такой Вагнер. Заметил, заметил. Я невежда, но не дурак. Многое замечаю и не подаю вида. («Моя комиссия»,— с еще более неприятным чувством подумал Шелль). Действительно, я забыл, кто такая Дездемона. И даже не забыл, а просто не знал. Стыдно? Смешно? А другие только имя и помнят, больше ничего. О Вагнере я знаю и даже слышал «Тристана». Адски скучал, как девять десятых публики. И никогда не отличу Вагнера от какого-нибудь Брамса. Еще слава Богу, если отличу от «Веселой вдовы». Другие от «Веселой вдовы» отличат, но не от Брамса. И «Веселая вдова», наверное, доставляет им больше удовольствия, чем «Тристан». Все врут, а я открытый человек. И вообще я лучше очень многих. Я сознаю свои обязанности перед обществом. Я кормлю много людей, у меня на содержании находятся люди, мне совершенно не нужные, и я давно к этому привык. Мой главный недостаток тот, что я самодур. Это правда. А Дездемона — это вздор. Я в самом деле мало читаю. Мне книги не доставляют удовольствия, не выработал себе с детства привычки. Дипломы же мне не нужны. Я в любую минуту мог бы стать доктором . . . Как это называется? *Honoris causa*. За крупное пожертвование мне даст степень любой университет . . .

— Отнюдь не любой,— ответил Шелль. Богач все же его раздражал.

— Предлагали, предлагали. А зачем мне быть доктором *honoris causa*? И зачем я буду давать деньги университетам, когда я ничего не понимаю в науках и даже не очень их уважаю? Они приносят много зла, особенно в последние годы. Или, скажем, искусство. Картины у меня в Севилье есть, но я и в них не знаю толка. Мне здесь показывали одну картину . . . Как его? Джорджионе? Гид говорил, если я его понял, будто это самая дорогая картина на свете. Верно, врал. Какое-то особенное небо! И ничего особенного в его небе нет, настоящее небо гораздо красивее. Впрочем, картины я иногда покупаю. Сам не знаю для чего . . .

— Могли бы купить и здесь. У здешних патрициев сохранились настоящие шедевры, их можно купить очень дешево,— вставил Шелль.

Рамон слегка усмехнулся:

— Сейчас не собираюсь.

— Тогда и не надо . . . Вас, вероятно, очень многие ненавидели за то, что вам так везет в жизни.

— Не думаю,— сказал удивленно и обиженно Рамон. Эта мысль, очевидно, никогда ему не приходила в голову. Он наивно огорчился.— Не думаю, чтобы меня ненавидели.

— Я высказал не слишком оригинальную мысль. Я и сам ненавидел богачей, пока сам не стал богат.— Они немного помолчали.— Все-таки я хотел бы возможно лучше понять задачу вашего праздника. По-моему...

— Вы только что сказали, что уже оценили мою идею!— сказал Рамон с неудовольствием.— Не люблю повторять одно и то же. Теперь идет борьба между двумя мирами. Моя идея в том, что только частное богатство может показать человечеству значение западной цивилизации. Силой вы коммунистов не поразите, наукой тоже нет, они сами додумались до атомной бомбы. Им надо нанести удар красотой!— произнес он с тремя восклицательными знаками в интонации.— Я хочу, чтобы мой Праздник Красоты превзошел все когда-либо виденное миром!.. Я просил вас подумать о сюжете и программе. Надеюсь, вы это уже сделали?

— Да, я согласился подумать. Даже кое-что прочел,— ответил Шелль. Его тактика заключалась в том, чтобы держаться вполне независимо и порою свою независимость подчеркивать.— Но поразить мир красотой не так легко. Во всяком случае, при неограниченных кредитах сенсация может выйти большая.

— Шум действительно необходим. Говорю это не из тщеславия. Мне лично шум не нужен. («Действительно, у него тщеславие отстает от самодурства»,— признал мысленно Шелль.) Главное, это моя идея!

— Я предлагаю вам следующее: мы воспроизведем, с совершенной точностью и с ослепительным блеском, церемонию избрания дожа. Это будет также апофеозом идеи выборов. Вы тут, помимо красоты, противопоставите коммунистам и демократическую идею.

— Может быть, это хорошая мысль... Да, да... Прекрасная мысль... Значит, придется снять Дворец дождей?

— Нет, его нам не сдадут.

— Сдадут! Это мое дело, вы только будете переводить мои слова.

— Деньги большая сила, но вы все-таки напрасно думаете, что все можно купить,— сказал Шелль внушительно.— Дворца дождей вы не получите, да в нем нет и никакой необходимости. Обычно дело происходило так. В городе гремели пушки, звонили колокола, народ неистовствовал. Так будет и у нас. Под звуки музыки новый дож выходил из своего частного дворца. Ваш, как вы знаете, когда-то принадлежал семье одного из дождей. Затем он шел по площади святого Марка. Над ним несли исторический зонтик, *umbrella Domini Ducis*. Сопровождали его патриции, сенаторы и все сословия, вплоть до портных и сапожников. Таким образом осуществляются три идеи: красота, выборное начало, равенство сословий. Я только символически выражаю то, что вы мне намечали. Идеи не мои, а ваши.

— Вы мне льстите, я не все это говорил, но ваш план нравится мне чрезвычайно. Сердечно вас благодарю.

— Не за что. Мы могли бы даже назвать ваш праздник Праздником Красоты и Свободы.

— Нет, не хочу. Пусть называется, как я решил: Праздник Красоты.

— Можно и так. Теперь идейная сторона дела мне вполне ясна. Однако ведь есть еще и сторона личная, правда? Мне кажется, я правильно понимаю вас как человека. Вам все надоело, вы ищете, ну, что ли, новых ощущений, грандиозности в красоте, правда?

— Этого я не отрицаю. Да, новые ощущения. Вы умный человек.

— Вы будете играть дожа.

— Я? Дожа?

— У вас и наружность подходящая. Мы только приклеим вам бороду. Дожи носили великолепную раззолоченную мантию. В таком виде ваши фотографии появятся во всех газетах. На вашем празднике будут самые красивые женщины мира, вдруг вы найдете и личное счастье, Рамон,— смеясь, сказал Шелль.

— В чем же будет моя роль?

— Дож сядил на трон над Scala Dei Giganti, помните эту монументальную лестницу в Palazzo Ducale? И оттуда бросал народу пригоршнями золотые монеты. Можно бросать и серебряные, но мы объявим в газетах, что вы бросали золотые. Я знаю, что вы никак не рекламист, однако кто это сказал: «Самому Господу Богу нужен колокольный звон»?

Рамон смеялся, хотя и несколько смущенно. Шелль нравился ему все больше; с ним было весело.

— Я с вами не согласен, но продолжайте.

— Вы будете сидеть на троне в вашем дворце. За вами будут стоять телохранители. Они носили бархатные кафтаны и камзолы разных цветов, короткие панталоны и длинные, тоже бархатные, чулки. Шпаги были прямые, тонкие, длинные. Для вас мы закажем меч с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями. Это будет большой расход. Впрочем, ведь меч вам останется. После того, как с него снимут фотографии для газет и журналов, вы его повесите на стене вашего кабинета.

— Но каково будет действие? Нельзя же мне просто сидеть на троне.

— Конечно, нельзя. Мы будем опять верны истории. К новому дожу приехала его жена, догаресса. Ее везли на огромной гондоле с палаткой. Роскошь этой палатки должна быть неопишима. Опять, предупреждаю, большой расход.

— Вы, верно, хотите, чтобы догарессу играла ваша жена?— спросил Рамон.— Она, конечно, красавица, но . . .

— Этого я и в мыслях не имел!— сказал Шелль, внезапно рассердившись.— Ищите себе догарессу сами.

— Я ничего не хотел сказать обидного.

— Я и не позволил бы вам сказать что-либо обидное. Вообще я готов устраниваться в любую минуту. Мне-то что!

— Пожалуйста, не сердитесь, дорогой друг . . . А что происходило с догарессой?

— Она под звуки оркестра, в сопровождении блестящей свиты, плывет к вашему дворцу. Везут ее буцентавры.

— Какие буцентавры?

— Это были такие мифологические чудовища. Дож всегда ездил на буцентаврах. То есть не всегда, но на больших церемониях. Например, когда он венчался с Адриатическим морем.

— Где же мы возьмем буцентавров?

— Там же, где их брали дожи: в мастерских.

— Так вы хотите изобразить и мое венчанье с Адриатическим морем?

— Зачем вам, к черту, венчаться с Адриатическим морем? Какой интерес венчаться с Адриатическим морем? И ведь нам надо показать ваш дворец. Итак, догаресса выходит из гондолы, поднимается к вам и садится на трон рядом с вами. Народ неистовствует. Затем в большой зале мы поставим спектакль, как было в эпоху Возрождения. Тогда это называлось *Representazione di ciarlatani*. И в публике будут все знаменитости мира, титулованные особы, писатели, кинематографические звезды . . .

— Мы им объясним идейное значение Праздника Красоты! Они не могут этого не понять!

— Конечно. Кроме того, это для них реклама. Этого они также не могут не понять. А как только мы опубликуем первый список приглашенных, нас будут осаждать просьбами о приглашениях. Закончится праздник грандиозным историческим ужином. Меню будет такое, какое бывало у дожей. Сначала закуски . . .

— Икру выпьем прямо из Москвы. Сто кило икры.

— В ту пору икры в Венеции не знали. Но тут можно немного отступить от исторической истины. За закусками последуют три супа, в том числе *zuppa dorata*. Рыб надо не менее десяти.

— Десять рыб?

— Не меньше. *Chieppa, orada, anguilla, loto, corbetto, girolo, lucino, astesi, cevoli, bamboni, lampedi*.

— Как вы все помните! Я и не знаю, какие это рыбы.

— Я тоже не знаю, но повара должны знать. После рыбы у дожей подавались жареные павлины. Вот тут некоторая трудность. Павлинов действительно достать нелегко, это вам не писатели.

Шелль становился все веселее. Его больше не раздражал вид удачников, баловней жизни, переполнявших роскошную гостиницу. Теперь он сам был равноправный удачник. Деньги плыли к нему, как никогда до того не плыли; никогда и не доставались так легко, без всякой опасности, почти без труда. По его приблизительному подсчету, праздник мог ему принести около двадцати пяти тысяч долларов. Теперь было еще меньше оснований сомневаться в своей звезде. У продавцов он быстро стал популярен: они видели, что с ним можно иметь дело,— живет и дает жить другим. Он говорил себе, что его дело обычное, законное. Правда, морщась, думал, что возвращается на путь добра посредством сомнительных, хотя и не караемых законом, афер. «Ну, что ж, это в последний раз в жизни. Да и почти все частные богатства в мире созданы такими же способами. А я стремлюсь не к богатству, только к материальной независимости, больше мне ничего не нужно. Имею же и я право на человеческую жизнь».

Взятых у полковника двух тысяч долларов он еще не вернул, хотя это теперь было легко. Придумывал наиболее подходящее объяснение. «Он, конечно, решит: «струсил», или «стал слабеть, кончен». Упрека в трусости я могу не бояться. Генерал Корнилов никогда без необходи-

мости не шел в огонь: знал, что никому и в голову не придет, будто он боится!»— думал Шелль. Несмотря на его решение навсегда уйти из разведки, ему было бы неприятно, если б его бывшие товарищи по ремеслу сочли его развалиной.

Как-то, на прогулке с Наташей в гондоле, он подумал: «Да отчего же не сказать полковнику правду? Напишу, что неожиданно влюбился, еще неожиданнее женился, оставить жену не могу, вынужден отказаться от поручения, очень прошу извинить, прилагаю чек на две тысячи. Полковник пожмет плечами, крепко выругается, и все будет кончено». Его веселило то, что эта мысль — сказать правду — пришла ему в голову последней. «Агония прежнего Шелля».

Оставшись один, он принялся составлять письмо полковнику. Без подписи, без имени отправителя на конверте, оно никого скомпрометирует не могло; да и было маловероятно, чтобы его перехватили. Однако правило оставалось правилом: все письма должны зашифровываться. Для менее важных сообщений шифр был простой: словарь, русско-английский, не тот, что дали Эдде. Шелль написал краткий текст по-русски и стал зашифровывать. Слово «неожиданно»,— «unexpectedly», «surprisingly», «suddenly» стояло на 320-й странице, двадцать восьмым сверху. Он написал: 320, 28. На странице 56-й было слово «влюбляться, влюбиться»—«to fall in love with», «to be enamoured of» . . . Шелль хотел было написать соответственные цифры, но почувствовал, что не может: выйдет слишком глупо. Представил себе, как полковник за столом наденет очки, разыщет, прочтет. «Нет, нельзя! Сказать иначе, зачем сообщать ему, что я «влюбился»? На словах в Берлине будет неизмеримо легче, скажу с усмешечкой, посмеиваясь над самим собой: «Представьте, на старости лет случилось же такое: женился!». В худшем случае полковник скажет ледяным голосом: «Так не поступают, господин Шелль. Я из-за вас потерял даром много времени, и мне нет никакого дела до ваших любовных романов!» В лучшем случае он пожмет плечами, тоже усмехнется, поздравит с законным браком, «имею честь кланяться».

Вместо письма он послал телеграмму. «Через несколько дней приезжаю». Это было не очень удобно. «Он еще укрепитесь в уверенности, что я согласен. Не беда».

Предстояло и удовольствие: все наконец соответственно объяснить Наташе. «Она, бедная, просто не знает, что подумать: зачем этот Рамон? Зачем я трачу столько времени на idiotский праздник?»

На следующий день он сказал Наташе:

— Что же, решила ты, где нам поселиться? Пора бы решить.

Говорил так, точно много раз задавал ей этот вопрос, а она все не отвечала. Наташа и смутилась, и обрадовалась: наконец-то разговор, настоящий разговор!

— Я? . . . Мне все равно. Это от тебя зависит. У тебя ведь дела в Берлине?

— Я бросаю свои дела. Они были очень скучны, смерть мухам. А Берлина я не люблю. Выбирай.

— Как же я могу? . . . Разве ты можешь жить где угодно?— спросила она испуганно. «Вдруг подумает, что меня интересуют его деньги!»

— Для скромной жизни у нас денег достаточно. И мне почти все равно, где жить. Я, как старый Людовик XIV, *je ne suis plus amusable*,— сказал он, забыв, что уже ей это говорил.

— Людовику XIV был восьмой десяток, а ты вдвое моложе,— ответила она, тоже не в первый раз.— Сорок второй год это разве только конец молодости.

— Спасибо и на этом,— сказал Шелль чуть холоднее прежнего.— Я всем столицам в мире предпочитаю Париж. Но там теперь нельзя найти квартиры. На старости лет — виноват, в конце молодости — мне очень хотелось бы иметь свой домик с садом. В Париже, при талантливом правительстве Четвертой республики, цены таковы, что собственный угол там может достать только Рамон и ему подобные. Скажу еще раз: что, если б мы поселились в Италии? Нам обоим так здесь хорошо.

— Я была бы счастлива!

— Ты меня ни о чем не спрашивала, я знаю, что ты деликатна до глупости. А я не хотел говорить с тобой раньше, так как мои дела до сих пор были не выяснены. Могу теперь сообщить тебе, что я продал их Рамону. Поэтому я и хочу отблагодарить его, помогая ему в его идиотском празднике.

— Так вот что! А я, каюсь, не понимала... Как я рада!

— У нас с тобой теперь состояние приблизительно в двадцать пять тысяч долларов.

— Господи! Ведь это богатство!

— Это очень небольшое состояние, даже не предместье богатства, но на некоторое время хватит. Я спрашивал управляющего. Здесь, не в самой Венеции, конечно, но поблизости, мы могли бы купить небольшую виллу с садом за пять-шесть тысяч долларов. Что ты об этом сказала бы?

— Я просто лучшего и представить себе не могу!

— А не будешь скучать? Ты могла бы тут и дальше заниматься историей.

— Разумеется! Непременно! Правда, для этого нужна библиотека.

— Книги ты купишь. А если их в продаже нет, будем иногда ездить в Париж. В Национальной библиотеке все есть, это, кажется, первая библиотека в мире. Квартир в Париже нет, но гостиницы, слава Богу, есть. Ты будешь там делать выписки. Конечно, плюнь и на отзовистов, и на тот университет. Ведь ты и не собиралась серьезно стать профессором и жить в Югославии.

— Отчего же нет? Ты только что сказал, что тебе все равно, ты ведь как Людовик XIV.

— Людовик XIV тоже не согласился бы жить в Сремских Карловцах.

— Я так счастлива! Так люблю тебя!

— Ты мне это сейчас докажешь.— Она вспыхнула.— О, конфузливое дитя.

## XVIII

Комиссионер предложил несколько подходящих вилл на Лидо и в окрестностях Венеции. Шелль отправился их осматривать с Наташей.

Первая вилла оказалась неподходящей, но вторая чрезвычайно понравилась им обоим. Недалеко от «Эксельсиора» стоял в садике одноэтажный уютный дом, из пяти комнат, очень удобный, чистый и приятный. Продавала старая итальянка, желавшая переехать в другое место после смерти мужа, который выстроил виллу перед первой войной.

— Ваш муж и умер здесь?— тревожно спросил Шелль.

— О нет, он умер в больнице в Риме,— сказала хозяйка и продолжала объяснять удобства виллы. Ванна отличная, кухня очень большая, в саду есть фонтан.

— ... Все-таки современный комфорт имеет преимущества. Если б вилла была исторической, то вместе с историей нам достались бы крысы,— говорил Шелль Наташе, впрочем, не совсем искренно: он предпочел бы виллу, построенную «по рисунку Сансовино».— Увидишь, как нам тут будет хорошо.

— Я в восторге! Но стоит больше, чем ты хотел заплатить? Не слишком ли это для тебя дорого?

— Не для тебя, а для нас. Ты теперь наше состояние знаешь. А я без заработка не останусь.

Покупал он умело. Наташа удивлялась, хотя и плохо понимала его разговор с хозяйкой. Он отметил недостатки дома, признал цену очень высокой, против своего обычая поторговался, мило, учтиво и даже шутливо. Добился небольшой скидки. Потом говорил Наташе, что можно было бы выторговать еще тысяч пятьдесят лир, но он этого и не хотел: что ж обижать старуху? (этим тоже бессознательно замаливал грехи). Когда обо всем сговорились, Шелль, без нотариального договора, предложил хозяйке задаток в двести тысяч лир и тут же дал ей чек.

— А можно у вас теперь посидеть немного в саду?

— Помилуйте, дом ваш! Оставайтесь сколько вам будет угодно! Я пришлю вам и прелестной синьоре кофе или вина,— говорила хозяйка, видимо им очарованная.

— Спасибо. Тогда вина. Выпьем с большим удовольствием.

— Ты даже и расписки у нее не взял!— говорила Наташа, показывая свою деловитость. Он усмехнулся.

— «Il lui jeta sa bourse et la brave femme fondit en larmes».

— Как? .. Откуда это?

— Из всех самых лучших романов,— ответил Шелль. Его немного раздражало, что Наташа плохо понимает по-французски.— Добавлю, что чек сам по себе расписка. И вообще не надо все исполнять дословно и слишком формально. Знаешь, есть такой вид забастовки: рабочие нарочно всё исполняют по правилам с совершенной точностью. Общественный порядок, очевидно, таков, что если всё исполнять по правилам, то забавным образом получается хаос.

— Ты скептик.

— Нет, я лжемизантроп. И лжепессимист.

— Я знаю, всё «лже» и «лже»,— сказала она и быстро его поцеловала, оглянувшись на дверь.

В садике был стол и плетеные кресла. Погода была чудесная. Хозяйка принесла им графин с вином и тарелочку паченья. Он пододвинул хозяйке кресло и разлил вино по стаканам. «Кажется, она смотрит на

его руки»,— подумала Наташа. Руки мужа не нравились и ей, она старалась на них не смотреть.

— Винчи,— сказал Шелль. На хозяйку произвело впечатление и то, что он тотчас распознал малоизвестную марку вина. Она говорила, что они могли бы переселиться уже в пятницу, все будет готово.

— Не в пятницу, это тяжелый день,— сказал он, тоже к полному ее удовлетворению.— Мы переедем, верно, несколько позднее.

— Тогда я запру дом и привезу вам ключи, дайте мне адрес . . . Так вы не хотите купить часть мебели? Я дешево продала бы.

От мебели он отказался, сказав (с гордостью, которая его самого удивила), что они молодожены и хотят обзавестись всем новым.

— Какая милая!— сказала Наташа, когда они остались одни.— Что она говорила? Как жаль, что я не знаю итальянского языка. Теперь буду учиться, куплю себе самоучитель. Ты и ее очаровал!

— Спасибо за «и». Она предлагала купить ее мебель, но я отказался. У меня есть мебель двух комнат в Берлине, и недурная. Мы за ней туда скоро съездим. А остальное купим. Старинную или новую?

— Какую хочешь. Я люблю старину, очень люблю, особенно русскую. Но, хоть убей меня, я не сяду в узкое стильное кресло с прямой спинкой и не положу своего белья в «источенный червями баул эпохи Возрождения».— Наташа теперь иногда бессознательно подражала его стилю.

— Купим новую. В большой комнате мы устроим рабочий кабинет . . .

— Рабочий кабинет? Это отлично. Значит, ты будешь работать?

— Нигде так не хорошо ничего не делать, как в «рабочем кабинете». Это будет наша living room. В ней есть даже «baie vitrée, en pan couré», как во всех светских пьесах французского театра. Рядом будет твой будуар.

— Какой еще будуар! Зачем мне будуар?

— Нельзя без будуара, как мы теперь средняя буржуазия,— весело сказал он.— Картин больше покупать не буду. «Цветы» Ренуара, «Рыбы» Сезанна изумительны, но мной овладела бы смертельная тоска, если б они у меня висели целый день и целую ночь, на одном и том же месте. Вдобавок я обжегся на картинах, как обжигается большинство любителей: думал, разбогатею, а на самом деле купил втридорога. Утешился тем, что жена Сезанна затыкала трубы акварелями своего мужа . . . А те две комнаты рядом, что выходят в сад, будут спальни. Не сердись, я привык спать один.

— Как хочешь,— сказала Наташа, вспыхнув.

— Столовых теперь в новых квартирах часто не делают, но пусть будет и столовая.

— Главное это твой кабинет. Я не видела твоей берлинской мебели, но тебе нужен большой письменный стол, полки с книгами, и непременно в хороших переплетах, затем большие покойные кресла. Я и свои книги перевезу сюда из Берлина, у меня их мало, но тоже поставим на полки.

— Мы перевезем все твое, все до последнего платья. На память.

— Правда? Как я рада! А та маленькая угловая будет «комнатой для друзей». У тебя есть друзья?

— Нет, и пропади они пропадом,— сказал Шелль. Сказал привычные

слова почти автоматически и подумал, что на всем свете ему близко только одно это беспомощное существо, благодаря которому, как это ни обидно-банально, он действительно начинает «новую жизнь».

— Ну вот! А тебе не будет скучно, Эудженио?

Вместо ответа он обнял ее. Наташа опять конфузливо оглянулась на окна виллы.

— Я всю жизнь прожил в больших городах и, как кочевники-берберы, всю жизнь считал это позором. Человек создан для деревни. Жаль только, что при этой вилле нет каких-нибудь ста десятин пахотной земли. Мы завели бы, скажем, трехпольное хозяйство. Ты знаешь, что это такое?

— Плохо.

— А я и того меньше,— смеясь, сказал он.— А то еще у Толстого есть «чемерица». Не знаю, какая-токая чемерица, никогда не видел. Но в романах помещиков-классиков все это так заманчиво описано, и слова такие приятные, уютные: «пахнувшие ряды скошенного луга на косых лучах солнца». Просто слюнки текут. Зато мы с тобой здесь в саду посадим фруктовые деревья. Ты умеешь сажать деревья? Нет? Позор! И я не умею.

Она тоже весело смеялась.

— Научимся. Я хотела бы, чтоб была сирень. Она ведь растет в Италии? Мне она милее всяких пальм и кактусов.

— Посадим и сирень.

— Как будет хорошо, особенно весной! Я так рада, так рада! Свой угол и какой! Но все-таки, скажи откровенно, ты совершенно уверен, что не будешь скучать? Меня только это и тревожит,— сказала Наташа. Это было сокращением: «не будешь со мной скучать».— Еще раз скажу, я на твоём месте стала бы писать роман или повесть. Как ты думаешь?

— Для этого у меня не хватает безделицы: таланта. И притом шутка ли это сказать: быть писателем! Разумеется, я говорю о настоящих писателях, баловаться может кто угодно, законом не запрещено. Но писать, учить людей — чему? И это я буду учить! Бюффон надевал кружевные манжеты, когда садился писать: для торжественности. Он священнодействовал, думал, что пишет для вечности. А теперь его никто не читает. Писательская вечность — это еще хорошо, если двадцать лет... Нет, я скучать не буду. Единственное, чего я боюсь: не будет ли климат Венеции вреден для твоего здоровья? Но ты уже с месяц не кашляешь. И притом, мы все-таки будем жить на Лидо, а не на каналах. Кстати, в Венеции есть превосходная библиотека, с сотнями тысяч книг. Мы будем ездить в город каждый день, ведь рукой подать. Мне всегда казалось, что это идеал: жить в этом сказочном городе, сидеть на террасе у Флориана, любоваться этой единственной в мире площадью. Я буду там тебя ждать после библиотеки. Если ты напишешь книгу о Ниле Сорском, мы издадим ее на наши деньги.

— Правда? Это можно? Без университета? Я буду работать целые дни!

— Сейчас же начни выписывать книги. И покупай все что нужно, готовь наш дом... Она назвала тебя «прелестной синьорой». Ты поняла?

— Нет. Я буду писать книгу, а что же все-таки будешь делать ты?

— Еще не знаю.

— И мы можем так жить, ничего не зарабатывая?

— Посмотрим. Здесь, кстати, жизнь недорогая. У нас будет только горничная-кухарка. Ты любишь итальянскую кухню? Да, ты говорила, что любишь. Я предпочитаю французскую и русскую, но и итальянская хороша. Пить будем это самое Винчи. Это то местечко, из которого вышел Леонардо. Очень крепкое и недурное вино. Отлично будем жить. А как будем спать в этой тишине! . . . Я по природе очень деятельный человек, но все-таки скажу: лучшее удовольствие в жизни это спать, хорошо спать. Без снотворных.

— Нет, не это лучшее удовольствие в жизни,— сказала Наташа.

Когда они вернулись в гостиницу, швейцар подал ему телеграмму. Она была от полковника. В ней было сказано:

«Николай умер скоро буду Венеции подождите моего приезда».

## XIX

Шелль сидел утром в углу на террасе кофейни Флориана. По давней привычке, он всегда в кофейнях садился у стены или же лицом к зеркалу,— надо было видеть и то, что могло происходить позади него. Наташа отправилась в S. Maria Mater Domini,— осматривать все церкви по кварталам, не пропуская ни одной. Он пил кофе и лениво думал, что все складывается очень недурно.

Телеграмма полковника поразила его. Поездка в Россию отпала никак не по его вине. «Так удачно вышло, что я не послал ему письма с отказом! Я имел бы теперь моральное право не отдавать аванса . . . С тех пор, как я стал состоятельным человеком, гораздо чаще употребляю слова «мораль», «моральный» . . . Это тоже мысль прежнего Шелля, будь он проклят . . . Разумеется, я отдам аванс. А на женитьбу можно и не сылаться. «Извольте получить деньги. Желаете в долларах или в швейцарских франках?»—«Но ведь это никак не ваша вина».—«И не ваша. А я не привык получать деньги даром». Он будет поражен, в нашем кругу люди так ведут себя редко. То есть, в моем бывшем кругу, до которого мне больше никакого дела нет . . . Поразительна все-таки эта смерть Майкова, так странно совпавшая с моим бредом. Уж не покончил ли он с собой? Что же я в самом деле буду делать дальше?»

Оркестр на площади святого Марка играл что-то бравурное. Туристы возились с фотографическими аппаратами. Шелль вдруг остолбенел: шагах в пятнадцати от него кормила голубей Эдда.

Он смотрел на нее так, точно увидел на площади гиппопотама. Хотел было незаметно ускользнуть, но как раз она встретилась с ним взглядом. Эдда как будто не удивилась и, бросив кулек с хлебными крошками, направилась к нему с улыбкой, не предвещавшей, по-видимому, ничего особенно худого. Как всегда, она была одета ни хорошо и ни плохо, но несколько неправдоподобно.

— Здравствуй, дорогой мой. Давно ли ты из Испании?— саркастически спросила она, садясь за его столик. «Наташа!»— подумал он. Не сказал Наташе, что будет у Флориана: они должны были встретиться в гостинице; все же она могла зайти и на площадь.

— Здравствуй, кохана. Как поживаешь?— сказал он, целуя ей руку.— У тебя прекрасный вид. Еще похорошела. Я думал, что ты в Париже?

— Была в Париже. Ты, верно, знаешь, что я все блестяще сделала.

— Я ничего не знаю, но я в этом не сомневался. А зачем ты выкрасила одну прядь волос?

— Это последняя парижская мода.

— Не последняя. Немало дур уже это проделали в прошлом году.

— Что ты понимаешь! . . . Теперь я приехала сюда и с радостью узнала, что ты в Венеции: видела с берега, как ты ехал на гондоло с одной девчонкой *fichue comme l'as de pique*, и с одним довольно плюгавым господином.

— Да, у меня тут есть знакомые.

— Она твоя любовница? Я оболью ее царской водкой,— сказала Эдда, впрочем довольно миролюбиво.

— *Cela fera très Cesar Borgia*. Только она не моя любовница.

— Я тебя знаю. Но сначала поговорим о делах.

— Поговорим о делах, дочь моя рожоная.

Она рассказала, как познакомилась с лейтенантом, очень быстро — «в два счета» — его соблазнила, сделала своим соучастником и получила от него чрезвычайно ценные документы. Говорила вполголоса, хотя рядом с ними никого не было; говорила со скромно-торжествующим видом. Шелль вставлял одобрителльные и даже восторженные восклицания. «Врет или не врет, вот в чем вопрос». Он знал, что Эдда иногда лжет почти болезненно. Впрочем, такие припадки случались с ней не часто.

— . . . По вечерам мы пили шампанское, я читала ему стихи, он в меня влюбился без памяти. *Coup de foudre!* Он очень милый мальчик. Ты знаешь, что я интернационалистка, но я обожаю американцев, они такие непосредственные! Ты врал, будто я работаю под ведьму. С ним я работала под дуру!

— Воображаю, как ты измучена! Но то, что ты сделала, просто поразительно. Пять с плюсом!— сказал он, когда она остановилась в ожидании новых восторгов.— А где теперь этот лейтенант?

— Он завтра сюда приезжает. Джим ради меня навсегда порвал с американцами! Но не могли же мы уехать вместе, это было бы не конспиративно. И представь, он даже и до меня был левый! Джим против раздела России.

— Джим против раздела России. Неужели? Вероятно, ты тоже в него влюбилась?— с надеждой спросил Шелль.

— Нет, он недостаточен для меня умен. Я люблю только умных людей, хотя бы они были такие хамы, как ты. И мне не нравится его имя Джим! Что может быть прозаичнее? Надо называться Бальдур фон Ширах! Вот это чудное имя!

— Чудное. Он хорошо тебе заплатил? Не Бальдур фон Ширах, а американец.

— Ни гроша. Это было по любви, я с него ничего и не взяла бы.

— Быть может, у тебя комплекс Феды? Ничего, ангел мой, советский полковник даст тебе много денег. Куй железо, пока горячо! Поезжай в Берлин немедленно, сегодня же.

— Зачем же ковать железо так быстро? Нет, я посижу тут с Джимом

и с тобой,— насмешливо сказала она.— А твой советский полковник не только хам, но и скупердяй.

— Ты ему уже доставила бумаги?

— Разумеется. В тот самый день, какой мне указали,— ответила Эдда. Это было не совсем точно: Джим велел сдать пакет 18-го, но в этот день у нее было несколько примерок у портных и она сдала пакет накануне.— И знаешь, сколько они мне заплатили?— Она назвала сумму, действительно не очень большую.— Правда, объяснили, что должны установить важность бумаг, дают пока только на расходы. А у меня расходы были огромные. Я не могу быть одета так, как твоя девчонка! Она уже твоя любовница или только будет? Ты и в любви человек двойной жизни.

— Кохана, ты дура. Понимаешь: ду-ра. Дэ как дубина, у как умора, эр как рехнулась, а как ахинея. Говори в виде исключения толком. Помни, Валамова ослица и та однажды заговорила человеческим языком. Тебе нужны деньги?

— Мне всегда нужны деньги! Подумаешь, дали гроши и спрашивают!— сказала она с возмущением, но неопределенно: гроши ей дала советская разведка, а Шелль, как всегда, был щедр, она это признавала.

— Я мог бы тебе добавить, ангел мой. Конечно, немного.

— Вот как? Ты разбогател?

— Получил тысячу долларов. Половину могу тебе дать.

— Приятно слышать. Но что я сделаю на пятьсот долларов? Разве это деньги пятьсот долларов?

— Я потом пришлю еще.

— Потом? Пришлешь? Значит, ты пока в Берлин не возвращаешься?

— Возвращаюсь очень скоро. Еще не знаю, когда именно.

— Ты хам,— сказала она уже совсем добродушно. Когда сердилась, произносила это слово с тремя «х» «х-х-хам!» Теперь «х» было одно.— И, пожалуйста, не думай, что я так влюблена в тебя. Ты мне стал индифферентен.

— Это неграмотно, но по существу хорошо,— сказал он, очень довольный.

— Не тебе учить языку поэтессу. Я говорю не по шаблону, а создаю свои выражения, я творю язык. Все-таки за пятьсот долларов спасибо. Они очень кстати. Тебе не трудно дать их мне?

— Трудно, но я дам. Так на молодом американце, значит, ты не поживилась?

— Какое хамское выражение!

— «Верх необразования и подлость в высшей степени».

— Я у него не брала денег по тысяче причин. Во-первых, у него их нет.

— Тогда, красавица, остальные девятьсот девяносто девять причин излагать незначем.

— Правда, у него дядя миллионер, но, вероятно, он ему дает очень мало.

— Какой скверный дядя! По-видимому, лейтенант тебя бросит, кохана?

— Меня никто никогда не бросал! Но я скоро его брошу. Он мне надоел.

— Верно, он недостаточно инфернален? Что ж, кохана, довольна ли ты своей новой профессией?

— Нет. Совсем недовольна! . . Ты вечно надо мной надсмехаешься, говоришь со мной, как с душой, разве я этого не вижу? «Недостаточно инфернален», ах как глупо! Я не ангел, но ведь и ты ничем не лучше меня. Попробовал ли ты хоть раз заглянуть в мою душу? Хочешь ли ты, чтобы я тебе рассказала мое детство? . .

— Нет, не хочу . . . То есть хочу, но когда-нибудь в другой раз.

— Догадываешься ли ты, как мне все это надоело, все гадости, вся грязь! Я только и желаю жить, как порядочные люди. Разве я не знаю, кто я? . . Мне очень не везло в жизни,— сказала Эдда и вдруг, к изумлению Шелля, прослезилась.

— Я хотел сказать, что ты, по-моему, старалась сделать свою жизнь возможно более поэтической. Тут ничего дурного нет . . . Чего же ты хочешь?— спросил он другим тоном.

— Я сама не знаю, чего хочу! Сейчас одного, через час другого! Знаю только, что я несчастна. Ты как-то говорил в Берлине о тихой пристани, мне тоже нужна тихая пристань. А о твоей разведке я больше и слышать не могу!

— Ее можно и бросить.

— Но чем я буду жить? Всегда эти проклятые деньги! А ты еще защищаешь капитализм!

— Надо подумать. Где ты остановилась?

Она назвала гостиницу — к счастью, не ту, где жил он, но тоже очень хорошую.

— Ого! Верно дорого. А я живу у этого, как ты почему-то говоришь, плюгового господина. Он там с дамой, с той, которую ты видела. Представь, я нашел у него работу, и он оплачивает все мои расходы.

Шелль рассказал ей о Празднике Красоты. Эдда слушала недоверчиво, но внимательно. Название праздника чрезвычайно ей понравилось.

— Все это очень интересно, если ты не врешь. Так эта девчонка его любовница? И он хорошо платит?

— Сносно,— ответил Шелль. Его озарила мысль. «Надо подsunуть ее Рамону! Но так, чтобы она здесь долго не оставалась. Чтобы не познакомилась с Наташей и чтобы видеть ее возможно реже».— Ты ведь, кажется, говоришь по-испански?

— Говорю. Почему ты спрашиваешь?

— Он филиппинец и знает только испанский язык. Постой, у меня, кажется, гениальный план. Тебе надо сейчас же съездить в Берлин.

— Вовсе не сейчас же. Документы уже у них.

— Кроме документов, надо представить личный доклад. И притом немедленно, это я говорю с полным знанием дела.

— Он может немного и подождать. А если он заплатит меньше тысячи долларов, то я брошу у него службу!

Лицо Шелля приняло гробовое выражение.

— Ты думаешь, это так просто? Скажешь ему: «Больше не хочу у вас служить, до свидания», да? Моя милая, твоя неопытность просто умилительна! Знаю, что ты любишь играть жизнью и не боишься смерти. Но всему есть пределы. От них так не уходят! Они могут отпустить тебя,

если повести дело с умом. Однако уйти самовольно!.. Мне тебя жалко. Он, конечно, подумает, что ты перешла к американцам! Я не буду удивлен, если тебя найдут на дне Большого канала.

— Ты что, шутишь?

— Я говорю самым серьезным образом! Я тебя предупреждаю, что работать с полковником опасно. Он страшный человек... Так лейтенант приезжает завтра? Ты говоришь, он порвал с американцами?

— Решил порвать. Пока он получил месячный отпуск. Он два года не брал отпуска.

Шелль не мог понять, зачем приезжает лейтенант. «Или он в самом деле в нее влюбился? А если нет, то, значит, американцы решили ее использовать и для другого? Тогда это для нее действительно опасно».

— Ты должна уйти от полковника, но непременно по-хорошему.

— Как же это сделать? Что мне делать вообще? Если ты говоришь правду... Может быть, ты просто хочешь меня сплавить?

— Зачем мне тебя сплавлять? Напротив, я очень по тебе тосковал. Хотел бы, чтобы ты здесь осталась. Мало того, я достал бы для тебя здесь работу у моего филиппинца.

— Поэтому ты меня спрашивал об испанском языке? Ты хочешь меня определить к нему в секретарши? В секретарши я не пойду, это мне неинтересно.

— Нет, я хочу найти тебе роль в его празднике. Очень хорошую роль. Ты будешь еще *ready-to-kill*-нее, чем всегда. Платье мы тебе закажем, и после спектакля оно тебе останется. Очень дорогое платье!

— Это уже много интереснее.

— Платье надо заказать в Берлине. В Париж тебе возвращаться нельзя, а здесь в Венеции не достанешь. Тебе он хорошо заплатит, не то что мне.

— Это страшно важно!

— Но для этого совершенно необходимо, чтобы ты ликвидировала все свои дела с полковником, уж если ты на это решилась. На празднике будут тысячи людей, а среди них, разумеется, будут советские агенты. Я не хочу, чтобы тебя закололи вообще, а во дворце моего патрона в частности. Ты должна сейчас же уехать в Берлин. Я объясню тебе, как с ним надо говорить. Постарайся, чтобы он на тебя плюнул.

— Спасибо.

— Ты могла бы, например, ему сказать, что американец тебя разлюбил.

— Я никогда ему не скажу такой чепухи! Да он этому и не поверил бы.

— Это будет довольно сложно,— сказал Шелль, не слушая.— Нет, ты пока объяснишь ему, что твой лейтенант получил отпуск на месяц. Если он удивится, что дали такой длинный, объясни, что он два года отпуска не брал. Если он пожелает, чтобы лейтенант вернулся раньше, скажи, что это могло бы вызвать подозрения у его начальства: люди добровольно своих отпусков не сокращают. Тогда полковник даст отпуск и тебе. Лейтенанту же вели, чтобы он пока, избави Бог, не порывал отношений с начальством. Затем либо твоя страстная любовь к лейтенанту кончится,— а то его любовь к тебе,— вставил Шелль,— либо его куда-нибудь переведут. В обоих случаях полковник на тебя плюнет. Что и требова-

лось доказать. Главное, это что делать теперь? Я по долгому опыту заглядываю в будущее не дальше чем на несколько недель. Теперь ты, значит, должна расстаться с ним в добрых отношениях. После этого приезжай сюда. К самому празднику, чтобы не возбуждать толков. Твой американец может сидеть здесь или уехать куда ему угодно. А мой патрон даст тебе денег.

— Много ли еще даст? Если он так богат, то почему его девчонка одета как народная учительница в Эстонии?

— Этого я знать не могу,— ответил Шелль с досадой. («В самом деле, пора одеть Наташу как следует!»— подумал он.)— Вот что, предоставь твое дело мне. Я найду тебе хорошую роль, это требует дипломатической подготовки с патроном. Но в принципе ты можешь считать, что роль у тебя есть. И оклад будет не меньше двух тысяч долларов!

— С авансом?— спросила Эдда, на которую эта цифра произвела сильное впечатление.

— Я тебе устрою и аванс. При непременно условии, что ты получишь отпускную у полковника.

— Будем говорить точно. Значит, аванс я получу до отпускной? Иначе мне в Берлин поехать и не на что. Какой аванс?

— Не менее тысячи долларов.

— Кроме твоих пятисот?

— Хорошо. Настойчиво советую тебе уехать в Берлин тотчас. Разговор с полковником потребует времени, у него и аудиенцию получить не так просто.

— Что-то ты очень спешишь! Тотчас я уехать не могу, ведь Джим приезжает только завтра. Мы должны немного и отдохнуть в Венеции после всего того, что было.

— Но тогда ты не успеешь сшить себе платье в Берлине.

— Как же я могу шить платье, если я еще не знаю, какая у меня роль? И на какие деньги я его буду шить?

— Я пришлю тебе рисунок. Деньги на платье мы переведем в Берлин, как только ты будешь знать точно, сколько все будет стоить. Ты будешь знатной венецианской дамой, на платье мы денег не пожалеем, и оно, повторяю, тебе останется.

— Что я буду потом делать с платьем знатной венецианской дамы?

— Переделаешь, кохана, или продашь.

— Никто не купит. Разве сделать с кружевами? Я видела в одном магазине на Курфюрстендамм чудные кружева. Но это очень дорого.

— Непременно сделай с кружевами.

— Это все надо обдумать. Давай пообедаем завтра втроем с Джимом, я вас познакомлю и мы все обсудим.

— Ты с ума сошла! Я и то дрожу, что нас здесь увидят,— сказал Шелль.— На наше счастье, сейчас как будто подозрительных людей здесь нет. Но мы никак не можем встречаться дальше, да еще с Джимом. Это было бы очень опасно и для вас, и для меня.

— Я что-то не понимаю. Почему опасно? Джим теперь наш, мы все трое служим одному делу. Как же мы можем тебя скомпрометировать или ты нас?

— Ты, очевидно, забываешь, что и у американцев тоже есть разведка,

и даже очень недурная. У них агенты везде, вполне возможно, что они уже и здесь за нами следят.— Эдда побледнела.— Даже наверное следят: шутка ли сказать, американский офицер, ведающий печью в Роканкуре! Тебе надо немедленно уехать и по возможности замести следы. И я никак не хочу, чтобы установили слежку и за мной. Нет, мы больше тут встречаться не можем, об этом речи нет. А вот показать тебя патрону я хотел бы. Без Джима.

— Так давай пообедаем с ним втроем еще сегодня вечером.

— С тобой надо говорить гороху наевшись. Повторяю, я не могу с тобой афишироваться. Но вот что, завтра в одиннадцать утра я с патроном приду сюда к Флориану,— придумал Шелль. Наташа должна была уехать на Лидо.— Ты медленно пройдешь мимо нас. Я тебя покажу ему и скажу, что ты известная артистка. Разумеется, я тебе не поклонюсь, и ты вида не покажешь, что ты меня знаешь: мы незнакомы, я просто много раз видел тебя на сцене. Пройди до конца площади, затем, если хочешь, вернись той же дорогой. Оденься «с вызовом», это произведет на него впечатление, я на тебя полагаюсь. Я знаю, какой у тебя вкус. Ты должна быть похожа на хищницу. Потом я наговорю о тебе патрону всяких вещей.

— Пожалуй, я согласна. Ты все-таки друг,— сказала Эдда. Он смотрел на нее и думал, что и у нее, даже у нее, есть хорошие черты. «Как у всех, как у меня, как даже у отъявленных прохвостов. А она так глупа, что имеет право на все смягчающие обстоятельства. И действительно, она ничем меня не хуже. Надо, надо и ей устроить тихую пристань. Всем нужна тихая пристань».

— Но помни твердо, что мы с тобой незнакомы. Не вздумай улыбнуться мне. Ты можешь даже окинуть нас высокомерным взглядом, это твой коронный номер.

— Я окину вас высокомерным взглядом,— сказала Эдда с готовностью.

## XX

Через день в Венецию приехал полковник № 1.

Эта поездка тоже была деловой, но он имел право и на отдых. Несколько человек, знавших о его последнем деле, были в восторге и не сомневались, что в Москве признают документы подлинными; разумеется, через год-два поймут, но сколько ненужных мер за это время примут, сколько вредных распоряжений сделают, сколько миллионов даром потратят! Старый генерал хлопнул его по плечу и назвал «Шекспиром дезинформации». Полковник скромно умалаял свою заслугу; все же, хотя самодовольство было совершенно ему несвойственно, чувствовал себя отчасти так, как, быть может, Шекспир после окончания «Макбета». Во всяком случае знал твердо, что лучше этого он ничего на службе не сделал и не сделает. Теперь можно было уйти в отставку с честью.

По дороге он опять думал о Шелле и на этот раз вполне благожелательно: тот оказал огромную услугу. «Конечно, недостатки есть: позер, много пьет и, видно, немного ослабел. Собирать очень его не любят,

что в порядке вещей». Из тайных агентов полковника многие доносили друг на друга или же незаметно старались подорвать его доверие к другим агентам. Причин собственно для этого не было: работы и денег у него было достаточно для всех. Полковник ничему не удивлялся, большого значения таким обвинениям не придавал, тем более, что они взаимно уничтожались, но на всякий случай все заносил в память. Шелль ни о ком в отдельности из собратьев ничего не говорил (хотя относился иронически к разведчикам вообще). «Дьявольски самолюбив. Не идет к его ремеслу. Можно заключить с ним соглашение надолго, такой человек всегда пригодится. В Россию его не отправлю, да он, кажется, и не поехал бы,— думал полковник, вообще относившийся отрицательно к спуску шпионов на парашютах, как к затее, ничего хорошего не обещавшей.— Аванса я с него назад не потребую. Во-первых, он все равно не отдаст, а во-вторых, его вины нет; и, главное, за услугу с этой душой он имеет право на вознаграждение». Две тысячи долларов были не слишком большой суммой. В ведомстве полковника деньги тратились широко, иногда выбрасывались с очень малой надеждой на какой-либо полезный результат.

Полковник знал, что в Венеции будет также Эдда. Встретиться с ней он не желал: считал для себя невозможным встречаться с любовницами Джима. Он разговаривал с ним иногда строго, иногда дружески-ласково, почти как с равным, но у фамильярности была граница, которую переходить не полагалось. Увидеть же Эдду полковник хотел бы: верил в свое впечатление от людей, хотя знал, что не раз случалось и ошибаться. «Она чрезвычайно глупа,— сообщил ему Шелль при их последнем разговоре.— Я не сказал бы этого другому работодателю, а вам говорю. Вам отлично известно, что разведчиц-идиоток немало. («Совершенных идиоток у нас не бывает»,— нерешительно возразил полковник.)— Бывают, бывают,— сказал уверенно Шелль.— Она вдобавок не совершенная идиотка».

С Джимом же надо было снова поговорить очень серьезно. Он прекрасно справился с задачей, но от него пришло довольно странное письмо, недовольное, почти резкое,— так он никогда даже не писал. По-видимому, Джим больше не желал оставаться на службе. «Разочаровался, что ли? Уже! Тогда удерживать его я не буду. Может быть, я неправильно поступил, что дал ему такое поручение. Что же я буду с ним делать? Вернуть его в Public Information? Нет, в самом деле это пустое занятие. Сам он для себя ничего не найдет: слишком горд, слишком легкомыслен, кто-нибудь из начальства что не так ему скажет, и он тотчас уйдет. Лучше всего было бы, если б он вернулся домой и там просто служил в армии. Но, увы, он, видимо, все больше примыкает к intelligentsia. От него можно ждать всего. Что еще он мне преподнесет в Венеции? И зачем он туда поехал с этой милой дамой? Может быть, она хочет остаться у меня на службе? Злоупотреблять дурами все-таки нельзя».

Награды по службе Джим пока получить не мог, хотя его услуга была оценена. Полковник решил сделать ему подарок. Купить новый линкольн было слишком дорого. Джим, знавший толк в автомобилях, мог, пожалуй, купить подержанный, в хорошем состоянии, за тысячу долла-

ров. Это были немалые деньги для полковника, но он все подарки племяннику рассматривал как авансы под наследство, не облагавшиеся налогом.

Он несколько раз бывал в Венеции — всегда с таким же восторгом, как в Париже. Джим как-то ему сказал, что теперь у знатоков искусства начался *renouveau* этого города, еще недавно считавшегося банальным. Так и сказал: *renouveau*, — полковник сначала было даже не понял, — самое слово отдавало *intelligentia*. Здесь он также всегда останавливался в одной и той же гостинице — хорошей и не слишком дорогой. Племянник должен был зайти к нему вечером, но он почти не сомневался, что увидит его еще и днём: в Венеции нельзя не встретиться.

Выйдя на площадь святого Марка, полковник сразу почувствовал, что с *renouveau* или без *renouveau*, это город единственный, самый прекрасный на земле. «Все как было: волшебный собор, волшебный дворец, волшебная площадь! Какое счастье, что во время войны не погибли эти два чуда: Париж и Венеция!» И Флориан был все тот же, тоже почти вечный, радость десятка поколений. Оркестр на площади, как сорок лет тому назад, играл «Травиату». Быть может, только публика была чуть менее элегантна, чем до первой войны. Но женщины были так же хороши или казались такими, точно безобразным женщинам было совестно портить собой всю эту красоту. Полковник останавливался перед витринами, хотя ничего покупать не собирался. На стене висела коммунистическая афиша: «*Compagni! Il Partito Comunista vi invita . . .*» — прочел он со вздохом. Дошел до Пиаццетты, полюбовался и отсюда дворцом, собором, библиотекой. Навстречу ему шли полицейские в треуголках. Он посмотрел на них благожелательно. Все же нашим сор'-ам по сложению не чета».

Полковник вернулся, сел на террасе Флориана, заказал что-то со звучным названием, купил у пробежавшего мальчишки газету и не развернул ее: не читать же на площади святого Марка! Не думал собственно ни о чем, — или разве о том, что охотно прожил бы и еще шестьдесят лет, благо те легкие болезни, какие у него были, не назывались страшными именами и, главное, были безлей. Приятели в Америке ему говорили, что в его годы человек должен хоть раз в год ходить на *check up*, как ходят к дантисту. Он совершенно с ними соглашался; давно знал, что с людьми, дающими такие советы, лучше всего тотчас соглашаться; это их обезоруживает. Про себя же думал, что если здоровый человек его лет пойдет к врачу на *check up*, то после десяти исследований и анализов у него найдут десять болезней; вылечить все равно нельзя, а настроение духа будет отравлено. Он и к дантисту ходил очень редко. Зубы у него были сплошные, здоровые, разве с тремя или четырьмя пломбами, белые, несмотря на то, что он выкуривал по сорок папирос в день, тоже немедленно соглашаясь с друзьями, говорившими о вреде *chain smoking*.

У Флориана было чудесно, но он испытывал двойственное чувство. С одной стороны, так бы и сидеть здесь без конца. С другой же стороны, была особенная бодрость и радость жизни от венецианского чуда, — на-

до что-то делать, жизнь не кончена и на седьмом десятке. Средней линией было то, что он, посидев с полчаса, решил позвонить по телефону Шеллю, встал и пересек площадь. Оркестр теперь играл «Полет Валькирий». «Так и есть, вот он!»

В нескольких шагах от себя полковник увидел своего племянника. У обоих в глазах мелькнула радостная улыбка, но оба и вида не подали, что знают друг друга. Джим сидел на террасе кофейни с Эддой. Полковник бросил на нее взгляд отставного знатока. «Очень красива. Мой-то шалопай не увлекся бы по-настоящему. А владеет собой хорошо. *Von chien chasse de race*»,— подумал он. Как сам себе говорил, «бесстыдно» сел в двух шагах от них, так что мог слышать их разговор. «Да, сажусь и буду здесь сидеть, и ты ничего не можешь сделать»,— говорила его усмешка. «Сидите сколько вам угодно, вы нам не мешаете. И, как бы там ни было, я сижу с красавицей, а вы, дяденька, один, на то вы старик»,— должен был бы ответить взгляд Джима. Однако он этого не ответил. Вид у племянника был мрачный. «Дурак, дурак, чего тебе еще? Удовольствие получил, ничего с этой дурой не случилось, вот и в Венецию приехал на казенный счет. Или денег больше не осталось?»— спросил взгляд дяди. Валькирии улетали с вскрикиваниями и с визгом. «Хайа-та-ха!»— радостно подпевал в мыслях полковник. «Хайа-та-ха! Только ничего хорошего нет»,— теперь ясно ответило лицо Джима. Они раз слышали тетралогию вместе, племянник с упоением, дядя не без удовольствия. Эдда презрительно говорила, что эта музыка *vieux jeu* и что Вагнером могут наслаждаться только дураки, и то старые. «Вот как? Пошли ее к черту сегодня же. Хайа-та-ха!»— посоветовал полковник. «Хайа-та-ха, но денег очень мало»,— так он себе объяснил взгляд племянника. «Дурак, дурак, уже нет! Ничего, я дам . . . Ну, так и быть, уйду. Только сегодня же вечером изволь быть у меня . . .» Не дожидаясь лакея, полковник неохотно встал. «Не возвращаться же к Флориану. На Пиццаетте тоже есть кофейня. Оттуда и позвоню Шеллю. Может быть, он дома». Полковник еще раз незаметно-внимательно оглядел Эдду с головы до ног и пошел дальше своей бодрой, военной походкой.

## XXI

Шелль был дома и пригласил полковника встретиться с ним у Квадри в половине седьмого. Хотел было пригласить его на обед, но раздумал: теперь обедал с Наташей в маленьком недурном ресторане — не на площади святого Марка и не на Большом канале. Наташа говорила, что этот ресторан очень живописен; на самом деле не могла привыкнуть к тому, что они на обед в гостинице тратят по семь-восемь тысяч лир.

— Вы, конечно, знаете, где Квадри?

— Я старый венецианец,— ответил, смеясь, полковник. «Другой назначил бы мне свидание где-нибудь на верхушке Кампаниллы, они все обожают конспирацию»,— подумал он, выходя из телефонной будки.— Значит, за ним слежки нет. Я за собой тоже не замечал. Кажется, обрадовался встрече со мной. У него, быть может, и предложенный труда теперь гораздо меньше, чем бывало, и он чувствует себя, как на

благотворительных базарах стареющая дама, к которой больше не подходят покупатели».

В это утро Эдда была показана Рамону. Она очень хорошо, в самом неправдоподобном наряде, прошла мимо Флориана и бросила на них высокомерный взгляд. «Лучше и желать нельзя!»— подумал Шелль. Он толкнул богача.

— Не узнаёте?— спросил он, когда Эдда отошла.— Это знаменитая артистка, вы, верно, ее видели на экране.

— Никогда не видел. Кто такая?— спросил Рамон, очень заинтересованный пышной женщиной. Шелль назвал настоящую фамилию Эдды, или ту, которую она объявляла настоящей. Риска не было: Рамон никогда и ничего не знал.

— Вы ее пригласили ко мне на праздник?

— Нет, еще не приглашал, но могу пригласить. Вы подаете хорошую мысль,— сказал Шелль. «Кажется, клюнуло»,— с удовольствием подумал он.

— Сегодня же ее разыщите,— сказал Рамон и поправился, зная, что Шелль не любит повелительных наклонений:

— Пожалуйста, попросите секретаршу найти ее. Она не в нашей гостинице, я ее у нас не видел, уж я обратил бы на нее внимание.

Днем Шелль доложил ему, что Эдду разыскать не удалось, но ее берлинский адрес установлен и ей посылается приглашение

— Как же не удалось!— возмущенно спросил Рамон.— Я желаю ее видеть!

— Мало чего вы желаете!— ответил Шелль с обиженным видом человека, подающего апелляционную жалобу на несправедливое решение суда.— Она, верно, была здесь лишь несколько часов проездом. Но если вы так хотите с ней познакомиться, то ей можно предложить роль в спектакле. Я вас понимаю, она очень красива, именно в вашем рубенсовском вкусе... Послушайте!— сказал он, хлопнув себя по лбу (вышло недурно).— Что если именно ей предложить роль догарессы! В ее внешности есть что-то венецианское.

— Я именно это и имел в виду.

— Это будет стоить довольно дорого. Думаю, что меньше чем за три тысячи долларов она не придет.

— Предложите ей пять тысяч, но чтобы она была здесь!

На этот раз Шелль не считал нужным обидеться. Независимость он уже проявил, а слишком часто раздражать Рамона было бы рискованно. И главное, цифра была приятной неожиданностью. Он и не думал брать себе комиссию с этих денег. Однако при такой оплате было легко навсегда освободиться от Эдды.

— Будет сделано,— примирительно сказал он.

— ...Так Майков не кончил самоубийством?— спросил Шелль. Полковник развел руками.

— Не знаю. Мне только известно, что он умер. Почему вы думаете?

- Просто предположение.
- Оно очень возможно.
- А может быть, рак простаты?
- Почему рак простаты?

— Или он просто задохнулся в советской атмосфере.— Шелль хотел было сказать о рыбах, задыхающихся в Мертвом море, но вспомнил, что уже это говорил.

- Как вы можете тут делать какие бы то ни было предположения?
- Ололиукви помогло.

Полковник смотрел на него удивленно.

- Не понимаю. Это, кажется, то ваше снадобье? Снотворное?

— О нет, не снотворное. Между бредом и сном очень мало общего. Да и бред от этого снадобья особенный. Он вначале почти разумен и логичен, все часто освещается по-новому, все ясно, проникаешь даже и в чужую душу. Потом начинаются заскоки, тоже промежуточные, прогрессирующие, с прорывами в бессмыслицу. Кончается обычно полной ерундой, особенно когда хочешь прийти в себя... Неужели у вас никогда не было такого чувства: сейчас увижу то, чего другие не видят!

— Не было,— сухо ответил полковник.— Я никаких снадобий не принимаю... Я хотел поговорить с вами о вашей дальнейшей работе. Прежде всего искренне благодарю вас за ту даму.

- Она оказалась полезной?

- Более или менее.

— Ее карьера устроилась,— сообщил весело Шелль и рассказал о Празднике Красоты.

— Если б вы здесь пробыли некоторое время, я послал бы вам приглашение. У вас, наверное, есть с собой фрак или смокинг? Теперь и к английской королеве можно, кажется, приходиться во фланелевом пиджачке, но к нам нельзя. Я буду в маскарадном костюме. Я изображаю одного из телохранителей дожа.

— Одного из телохранителей дожа,— повторил полковник, слушавший внимательно, как всегда, но с все возрастающим удивлением.— Извините меня, вы уверены, что вы здоровы?

— Совершенно уверен. Маскарад очень приятное развлечение. Там вы увидели бы и Эдду.

- Мне она больше не нужна. А вот для вас я скоро буду иметь дело.

— Спасибо, но едва ли я могу быть вам полезен,— сказал Шелль и вынул чековую книжку, предвкушая эффект.— Так как наше дело состоялось, то позвольте вернуть вам ваши две тысячи долларов. Я их получил в швейцарских франках и в швейцарских же франках вам возвращаю: восемь тысяч пятьсот сорок франков, так?— небрежно спросил он.

— Позвольте... Это не к спеху. В том, что дело отпало за смертью Майкова, никакой вашей вины нет.

- И вашей тоже нет.

— Но я не отказываюсь от работы с вами в дальнейшем. Разве вы отказываетесь? Или вы мною недовольны?

— Нисколько. Просто я не привык получать деньги даром. Если вы помните, я вам говорил, что, быть может, брошу разведочную работу. Тогда я вам всего не сказал. Видите ли, я женился,— сказал Шелль, хотя решил было этого не говорить.

— Женились?

— Да. Женился.

Полковник вдруг расхохотался. Это случалось с ним не часто.

— Поздравляю вас! . . . Искренне поздравляю . . . Желаю счастья.

— Спасибо. А почему вы развеселились, если смею спросить?

— Пожалуйста, извините меня . . . Видите ли, я все не мог понять, что вы за человек . . . Вы ведь и на виолончели играете! . . . Теперь это понятнее. Быть может, вы пошли в разведку, чтобы устроить себе необыкновенную жизнь, а вдруг ваша жизнь станет обыкновенной? Если вы «раскалялись», то в вас раскаялось, так сказать, виолончельное начало.

— Очень может быть,— холодно ответил Шелль.

— Позвольте выпить за ваше счастье этого зеленовато-желтого вина, почему-то называемого белым.

Они выпили еще по бокалу. Шелль взглянул на часы.

— Вы спешите?

— У меня есть немного времени . . . Вы, очевидно, прежде считали меня авантюристом по природе?

— Не в худом смысле. Но ведь у вас в самом деле было немало авантур. Если позволите сказать откровенно, я думал, что вас в жизни интересуют только авантюры, женщины и деньги.

— Да ведь это очень много. Все же можно пройти через большое число авантур, не будучи авантюристом. По природе люди авантюристами бывают редко, их создают обстоятельства. В СССР, например, авантюристами могут быть только сановники . . . В былые времена я избрал бы карьеру военного.

— Вы ведь и были летчиком в пору гражданской войны в Испании. Кажется, в лагере республиканцев?

— Так точно. Они платили иностранным летчикам огромные жалованья.

— Отчего же вы лучше не служили в русской армии? Впрочем, я забыл, что вы не русский, а аргентинец.

— Я не русский ни по паспорту, ни по крови. И у меня были очень серьезные причины не служить советскому правительству. Кроме того, когда я был молод, советская армия была еще очень слаба, а я слабых не люблю . . . В былые времена еще была карьера для людей, любящих авантюры, хорошая, быстрая, никаких достоинств и дарований от человека не требовавшая: революция. Но ее в наше время монополизировали коммунисты, а я их ненавижу. Теперь мне делать нечего.

— У вас есть, однако, интересное дело.

— Вы его считаете интересным? Правда, вы в нем, так сказать, поэт. Странно: в разведке трудно не стать циником и мизантропом, а вы циник и мизантроп лишь в меру, в очень небольшую меру.

— Я даже совсем не циник и не мизантроп.

— И еще удивительно: вы не болтун. Как ни странно, у нас огромное множество болтунов.

— Это, к сожалению, верно,— сказал полковник. «Ты первый»,— подумал он.— Так, так . . . Я надеюсь, что на службу к нашим противникам вы ни в коем случае не пойдете?

— В этом вы можете быть совершенно уверены. Кажется, какой-то из английских королей шантажировал папу Александра тем, что грозил принять мусульманскую веру. Я в большевистскую веру не перейду. Если во мне есть хоть что-либо подлинное, то это ненависть к ней . . . Еще не знаю, что буду делать. Теперь самая опасная из профессий это быть летчиком, пробуящим новые аэропланы.

«Ох, вечно рисуется! И храбростью, и цитатами»,— с досадой подумал полковник.

— Сильные страсти исчезают у людей с годами или, так сказать, приходят в коллоидное состояние,— сказал он, и в его тоне скользнула насмешка.

— Да, вы правы. Я не так стар, как вы, но тоже не молод, и мне надоело рисковать жизнью. А от всего связанного с политикой я буду всячески сторониться. Мне нынешнее положение в мире напоминает тот бессмысленный хаос, который бывает в конце комических фильмов, когда все куда-то бегут, кого-то толкают, что-то опрокидывают. Публика хохочет, хотя смешного ровно ничего нет. Так теперь и в мире.

— Не вижу этого. А смешного действительно мало . . . Так вы выходите в отставку? Собственно, женитьба для отставки не причина.

— Я женился на барышне, у которой нет ни души родных, и я ее надолго оставлять не могу. Вы, конечно, предположили, что она богата. У нее нет ни гроша.

— Но если вы небогаты, то тем более зачем же вам покидать службу и возвращать мне аванс? Я думал все-таки, что вы любите наше ремесло.

— Терпеть не могу.

— Да, вы мне это сказали. Но люди часто так говорят. Спросите знаменитых писателей, журналистов, политических деятелей. Они вам скажут, что проклинают день и час, когда избрали свое занятие.

— Не все. Людовик XIV говорил: «*Mon délicieux métier de Roy . . .*» Вы служите своей стране, а я служил тем, кто больше давал.

— Вы слишком часто говорите такие вещи, для того чтобы они были правдой. Полной правдой . . . А я и в разведке знавал бессребреников.

— Вам, значит, повезло, я таких ни в каком деле не знал. Во всяком случае я сам отнюдь не бессребреник. Я люблю то, что дают деньги: «красивую жизнь», как часто иронизируют. Вернее, не столь люблю красивую, сколь ненавижу некрасивую, жизнь бедняков. Большевики, быть может, и погибли оттого, что они дают своим людям мало красивой жизни. По-моему, вам следовало бы тратить миллиарды на подкуп государственных людей во враждебных государствах, это было бы далеко не самым непроизводительным из ваших расходов.

— Так и воевать было бы легко: подкупили вражеского главнокомандующего, вот победа и обеспечена, правда? Только я таких случаев в военной истории что-то не помню,— ответил полковник. «Он и в разведку, верно, пошел отчасти для красивой жизни. И наружность у него такая. Кажется, во французской армии при каком-то из Людовиков был установлен приз за воинственную наружность. Я ему присудил

бы, и он был бы очень доволен. Будь он среднего роста, вся его жизнь, быть может, сложилась бы иначе. О таких, как он, говорят: «похож на хищную птицу». На птицу несколько не похож, а что-то хищное в его наружности есть, особенно в профиле». — Вы не очень понятный мне человек.

— Ничего непонятного. Я человек без рода и племени, вечный повсеместный «*sale étranger*». И вдобавок предельный эгоист, «со всех сторон окруженный самим собой», как говорил Тургенев. Точнее я был таким. А выбор ведь у нас почти у всех ограниченный. Когда человек молод, его жизнь чаще всего отравляет бедность. Когда он стар, ему нет большой радости и от денег. А у меня вкусы менялись. Ребенком я мечтал о том, чтобы стать приказчиком в кондитерской, потом хотел стать шофером, еще позднее военным. Теперь же мечтаю о тихой спокойной жизни.

— Да уж будто вы вправду к нашему делу не вернетесь? Французы говорят: «кто пил, тот и будет пить».

— Нет, я рецидивистом не стану. Я боксер-тяжеловес, достигший предельного возраста.

— Да им-то, верно, до самой смерти по ночам снится ринг.

— Однако они на ринг не возвращаются.

— Чем же вы думаете заняться?

— Праздностью. Это самое лучшее занятие.

— Недурное, — сказал неуверенно полковник, вспомнив о своем доме в Коннектикуте. — Куда же вы теперь собираетесь с женой?

— Поселимся где-нибудь в Италии, — ответил Шелль. Ему не хотелось сообщать о покупке виллы.

— Тут на море есть чудесные уголки и недорогие.

— Может быть, и тут. Хотя я не люблю моря. Несмотря на мою любовь к авантюрам, я ни одного романа Конрада дочитать не мог. Буду читать книги, мемуары, биографии, это мое любимое чтение. Немного любознательности у меня все же еще осталось. Когда я был мальчиком, чуть не плакал, что не видел и никогда не увижу Наполеона! — сказал он, засмеявшись. — Так получите деньги.

— Спасибо, — сказал полковник, бегло взглянув на чек. «Надеюсь, что с покрытием». — Я очень сожалею. Добавлю, что в подобных обстоятельствах не все вернули бы аванс. Очень ценю.

Они помолчали, с любопытством глядя друг на друга. Взгляд полковника снова остановился на руках Шелля. «Все-таки это руки убийцы», — подумал полковник. «Верно больше никогда в жизни его не встречу», — с неожиданным сожалением подумал Шелль. — А наш разговор с ним — вроде тех, какими часто заканчиваются детективные романы: гениальный сыщик после поимки преступника «за бутылкой вина» рассказывает своему другу, как он все раскрыл. А то читатель романа и не понял бы. Если же рассказать раньше, то пропал бы эффект».

— Не знаю, удастся ли это, но я хотел бы остаток жизни прожить просто как фантье. Верно, приятная жизнь. Французские буржуа мудрые люди.

— Ничего не будете делать до конца жизни?

— Отчего же нет? Много ли осталось? Месяц моей жизни надо

считать за год. Успею подготовиться. По-моему, не надо умирать скоростно: нужно подумать о смерти как следует.

— Дело вкуса. И это хорошо говорить в сорок лет,— сказал с неудовольствием полковник и допил вино. Шелль опять посмотрел на часы.

— Теперь позвольте вас покинуть, меня ждет жена.

— Тогда не смею задерживать. Еще раз поздравляю... А если передумаете, мы всегда будем к вашим услугам,— сказал полковник, крепко пожимая ему руку, на этот раз без всякой брезгливости. «Один из интересных номеров в моей коллекции, виолончелист,— подумал он.— Помнится, Джим говорил, будто кто-то о ком-то сказал: «Он был оригинален, хотя и очень хотел стать им».

## XXII

—... Постой, я угощу тебя шампанским,— сказал полковник. «Уж если и шампанское Джима не утешит, то видно в самом деле плохо дело,— подумал он.— Dostoiievsky mood, просто беда». Джим продолжал свой монолог:

—... В сущности, и пользы от вашей работы очень мало. В пору войны величайшая армада в истории прошла через Атлантический океан и произвела десант, а Гитлер об этом ничего не знал. В 1939 году Франция и Англия не имели ни малейшего понятия о военной мощи Германии. В 1941 году Германия не имела ни малейшего понятия о военной мощи России, а Сталин не знал, что немцы собираются на него напасть. Между тем все они тратили сотни миллионов на разведку! Так и теперь. Что вам могут сообщать ваши агенты с той стороны Железного занавеса? Их сведения либо верны и не имеют никакого значения, либо имели бы значение, но неверны... .

— Не говори о том, чего ты не знаешь,— сердито перебил его полковник.— Теперь самое главное это знать, твердо знать, что делается там. И потому, хотя это звучит нескромно и парадоксально, та деятельность, которой я занимаюсь, сейчас самая полезная в мире.

— Вы доставляли, конечно, в Вашингтон множество сведений о советских атомных бомбах. Однако президент Трумэн не так давно сказал, что ему неизвестно, существуют ли в России атомные бомбы или нет. Вот вам теперь удалось одно дело, доставили куда надо важную дезинформацию и радуетесь. А десять других дел не удаются, только даром выбрасываете наши деньги налогоплательщиков. Да и то, что удаётся, тотчас уравнивается их делами, почти все взаимно нейтрализуется. Мало того, они тут всегда будут иметь огромное преимущество перед вами, так как они ни перед чем не останавливаются, а у вас есть моральные границы, которых вы не переходите. Все, что делает их разведка, наверное сплошное преступление, и это их нисколько не беспокоит. А из того, что делает наша разведка, преступна, скажем, только четверть, и есть вещи, каких вы вообще делать не можете и не хотите. Значит, все преимущества а priori на их стороне... Вы сердитесь, дядя, это плохой признак. Да и так ли нужна та «правда», которую будто бы вам доставляют ваши агенты? Тайна была бы некоторой, разумеется

очень слабой, гарантией против войны. Страх перед неведомым был бы сдерживающим началом.

— Преступники тоже ведут борьбу с полицией и тоже, в отличие от нее, ни перед чем не останавливаются, тем не менее работа полиции бывает успешна. Большевики при помощи своих шпионов получили о наших атомных вооружениях очень ценные для них сведения. Мы были бы совершенными дураками, если б не делали того же, что делают они. Это было бы просто преступлением против родины. Предложи Кремлю, чтоб он прекратил шпионаж.

— Я знаю, это сильный, даже неотразимый довод,— сказал грустно Джим.— Предлагать большевикам что бы то ни было путное бесполезно, хотя бы потому, что они обещают и все равно не выполняют. Однако едва ли и вы тут можете искренне желать соглашения: если б они пошли на соглашение, то вам было бы решительно нечего делать и вся ваша жизнь оказалась бы ошибкой.

— Об этом, пожалуйста, не беспокойся. И наше правительство менее всего считалось бы с этим.

— Пользы от вашей работы очень мало, а вред большой. Если когда-нибудь начнется третья война, то она произойдет скорее всего из-за какого-нибудь инцидента, созданного разведкой, или из-за неверных сведений, которые она кому-нибудь даст. Судьбы мира зависят от пяти или шести полковников на земле! Быть может, один из них сообщит своему правительству, что противник очень слаб, и его правительство начнет наступательную войну. Быть может, он сообщит, что противник скоро станет слишком могущественным, и правительство начнет превентивную войну. Для меня теперь разведочное дело символ мирового зла, в нем кристаллизуется вся эта проклятая холодная война!— сказал Джим и успокоился: отвел душу.

— Очень тебе благодарен. Я этим делом занимаюсь всю жизнь. Оно кстати позволило мне дать тебе образование.

— Я этого не забываю, дядя,— ответил Джим, смутившись. Он оглянул скромный номер полковника, и ему стало совестно, что дядя, так часто дарящий ему деньги, живет в более дешевой гостинице, чем он. «Но так должно быть: старые люди знали настоящую жизнь до первой войны, а вот наше несчастное поколение видело мало хорошего»,— тотчас разжалобившись над самим собой, подумал он.— Дорогой дядя, вы, кажется, упомянули о шампанском?

— То-то! Сейчас закажу . . . Но какую чепуху ты несешь, уши вянут!

— Вы иначе говорить не можете. И какой у разведчиков горделивый вид и тон, точно они занимаются необыкновенно важным и полезным делом!

— Ты просто сочиняешь! У меня никакого горделивого вида нет и никогда не было!

— Я говорю не лично о вас, дядя. Вы отлично знаете, как я вас люблю и что о вас думаю. Вы прекраснейший человек, я вам всем обязан. Но не сердитесь на меня, вы в первый раз в жизни дали мне нехороший совет. Я сделал гадость.

— Говори просто, что ты влюбился в эту дуру!

— А еще вы думаете, что видите людей насковозь! Я не только в нее

не влюбился, но она мне противна. Я по-настоящему понял это, когда ехал сюда из Парижа, понял и ее, и себя. Дорога обостряет все чувства, человек в вагоне или на пароходе не совсем такой, как всегда, он все понимает яснее. И я сам себе стал противен.

— Да что ты такого сделал? Какое несчастье от этого произошло? Она благополучно улепетнула из Франции, ей больше никакая опасность не грозит. Судя по тому, что ты мне о ней говорил, она развратная, продажная баба. Они хотели причинить нам большой вред. Мы это, слава Богу, расстроили и повернули дело против них же: причинили им вред и, надеюсь, немалый. Ты выполнил свою роль отлично. В чем же дело? Чего ты от меня хочешь?

— У вас, вероятно, есть и личный враг? Поручили ли бы вы мне сойтись с какой-либо его женщиной, чтобы причинить ему вред?

— Тут нет никакого сродства. Государства постоянно делают то, чего частные люди не имеют права делать. Так всегда было и так всегда будет. Ты можешь прочесть и в Ветхом Завете. Иисус Навин посылал перед походом разведчиков в Обетованную землю: «И послал Иисус, сын Навина, из Ситтима двух соглядатаев тайно, и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там». Не цитирую дальнейшего. Это в книге Навина.

— Вероятно, все разведчики помнят и повторяют одну эту цитату из всего Священного Писания.

— Ну, хорошо, можешь оставить последнее слово за собой, я ничего против этого не имею... Скажу тебе, у меня в молодости, когда я начинал работу, тоже были сомнения, хотя и гораздо более слабые. Я их быстро в себе преодолел. Ты преодолевать не хочешь,— твое дело. Я не думал, что ты так сентиментален. Что ж, я вижу, ты для моего ведомства не подходящий. Следовательно...

— Подхожу или нет, но я работать в нем не хочу. Повторяю, ваше ведомство становится огромной общественной проблемой или, вернее, огромной политической опасностью! Я, впрочем, отлично понимаю, что никакого выхода предложить не могу. Для отдельного человека, пожалуй, есть, но тоже дурной: он в том, чтобы держаться в стороне от всего зла, делающегося в мире.

— Хорош выход для государства! И довольно об этом!

— Сделали со мной, что хотели, а теперь «довольно об этом». Я потерял к себе уважение. Я говорил себе, что если ее арестуют, то я покочу с собой,— сказал Джим. Это, впрочем, только что пришло ему в голову.

— Да ты совершенно сошел с ума. Вот что значит начитаться Достоевского!

— Достоевский тут ни при чем.

— Никто тебя насильно не держит. Уходи на здоровье. Ты можешь в любой день вернуться на твою прежнюю службу. Ты, верно, еще не забыл тех имен?

— Алидиус Вармольдус Ламбертус Тиарда ван Штарненбор Стакхувер?— спросил Джим, засмеявшись.— Нет, не забыл. Но я туда не вернусь.

— Делай что тебе угодно. Лучше всего переходи в армию. Два твоих предка были военными. Кавалеристами,— добавил полковник со вздохом.— Я нисколько не препятствую и даже тебе помогу . . . Какие же теперь вопросы? Как расстаться с ней? С Раав. Я знаю, что она завтра уезжает в Берлин.

— Откуда вам это известно?

— Как видишь, разведка все-таки кое-что знает.

— Вы с ней говорили, дядя!

— Нет. Но, разумеется, я за ней слежу,— внушительно добавил полковник, довольный впечатлением, которое его слова произвели на племянника.

— Кстати, вы могли бы меня похвалить: правда, я в кофейне и вида не показал, что я вас знаю? Я так люблю, когда меня хвалят! И вы тоже, верно, любите. А понравилась вам Эдда?

— Я пришел в дикий восторг при первом взгляде на нее. И мне так приятно, что ты с ней путешествуешь.

— Во-первых, не забывайте, что я сошелся с ней по вашему же указанию, а во-вторых, вы не можете отрицать, что она красавица. Вы когда-то знали толк в женщинах. Говорят, вы в молодости имели у них большой успех,— сказал Джим.

— Это тебя не касается.

— Так вы уже знаете и об этом идиотском празднике?

— Как видишь, знаю.

— Хороши же зрелища, которые Запад противопоставляет коммунистам!

— Уж не становишься ли ты попутчиком? Только этого не хватало!

— Вы отлично знаете, что я ненавижу коммунистов, а попутчиков еще больше. Но именно поэтому я в бешенстве. Такие праздники и такие господа, как этот филлипинец, точно созданы для успеха большевистской пропаганды!

— В этом я с тобой согласен. Забавно, что он это устраивает для пропаганды против большевиков! Комизм усиливается от того, что главную роль в спектакле будет играть советская шпионка . . . Итак, она уезжает в Берлин. Я не советую тебе с ней ехать, очень не советую. Да она, верно, и звать тебя не будет. К тому же, ты говоришь, что она тебе противна. Тем лучше. Вопрос, верно, только в деньгах? Пожалуй, для очистки совести дай ей денег.

— У меня их нет.

— Так бы и сказал! Вот что, я хотел подарить тебе тысячу долларов. Ты мечтал о хорошем автомобиле. По твоему рангу и возрасту с тебя пока совершенно достаточно форда или шевроле. Года через три ты уже созреешь для бьюика. Надеюсь, о кадиллаке или паккарде ты еще не смеешь мечтать? Но я думаю, что при тысяче долларов наличными ты мог бы на выплату купить и паккард, если у тебя хватит на это нахальства. Выплачивать остальное ты будешь, разумеется, из своего жалованья . . . Впрочем, я ничего не имею и против того, чтобы ты подарил часть этих денег твоей очаровательной любовнице. Можешь даже подарить ей все, если ты совсем дурак.

— Я вам страшно благодарен,— сказал Джим смущенно.— Подарок и такой большой! За что?

— Ни за что. Ты его совершенно не заслуживаешь . . . Ты, верно, и без того немало на нее потратил?

— Да, конечно, но . . .

— По-моему, ты можешь ей больше ничего не давать. Она от филиппинца получит немалые деньги.

— Вы и это знаете?

— Я все знаю.

— Тогда вы изумительное исключение в профессии! Так вы думаете, что я могу ничего ей не давать?

— Не решаю сложного конфликта в твоей сложной душе: Раав или паккард.

— Дядя, вы жестокий человек. Вы знаете, что я мечтаю о паккарде.

— Преодолей в себе этот соблазн. Осчастливь эту милую, добрую, хорошую женщину.

— Я все-таки сделаю ей подарок.

— В какую цену, если я смею спросить?

— Как вы думаете? Пятьсот?

— Нет, этого мало,— сказал полковник, наслаждаясь.— Пятьсот это мало для такой хорошей женщины.— Он засмеялся.— Вот что. Я тебе дам восемьсот долларов после ее отъезда. А сейчас получай двести и делай с ними что хочешь. И перестань на меня дуться. Ты очень недурно провел с ней время, в самом деле она красива. Она большая дура или только средняя?

— Необычайная! Обезоруживающая!— сказал Джим, оживляясь. Дядя обладал способностью всегда его успокаивать.

— С другой у тебя дело так гладко не прошло бы. И она развинтила тебе нервную систему?

— Да. А себе еще больше. Я не знаю, что с ней случилось! Здесь она в полной безопасности, между тем она именно со вчерашнего дня поминутно оглядывается по сторонам и бледнеет при виде всякого прохожего. Представьте себе, заглядывает под кровать: нет ли там убийц!

— И, разумеется, у тебя угрызения совести за то, что ты расстроил душу этого небесного создания! Нет, отдай ей всю тысячу долларов.

— Я ей дам ваши двести,— ответил Джим. Привычные насмешки дяди вызывали у него привычную же реакцию, и он переходил в наступление.— Так и будем знать, что вы сделали подарок советской шпионке.

— Ты глуп,— сказал полковник, вынимая бумажник.

## XXIII

Наташа каждый день читала немецкую газету, — «надо», — русских, эмигрантских не могла в Венеции найти. Пропускала экономические статьи, фельетоны, спортивный отдел, прения в парламентах; с интересом читала о книгах, о театре, о кинематографических звездах, теперь даже, впервые в жизни, о модах; с ужасом просматривала сообщения

о разных убийствах, о женщинах, найденных задушенными в ваннах и подвалах; по чувству долга следила за главными политическими новостями,— теми, что печатались на первой странице с большими заголовками. «Лишь бы не было войны! А так все одно и то же: Даллес сказал, Иден сказал, Молотов сказал, и ничего интересного они никогда не говорят, как им только не надоест».

О Даллесе, Идене, Молотове читать было необходимо: Шелль о них иногда говорил, неизменно прибавляя «пропади они пропадом». Ей очень хотелось бы, чтобы он отказался от этой присказки, которую теперь, впрочем, произносил без всякой злобы, просто по давней привычке. Он был гораздо веселее, чем в Берлине. На женщин почти не смотрел, хотя в гостинице были красивые элегантные дамы. Ей было совместно, что она ревновала его к танцовщице на Капри.

Досадно было, что он по-прежнему проводил много времени с филиппинцем. Правда, это объяснилось, но объяснение не очень ее удовлетворило. «Хорошо, тот у него что-то купил, оказал ему услугу, ну отблагодари его советами, поработай с ним два-три дня. А то не слишком ли уж много выходит?» Раз даже она осторожно намекнула об этом мужу (с каждым днем, к собственной радости, смелела).

— Да ведь это очень забавно, его Праздник Красоты. А наш дом все еще чистится и красится. Кстати, Рамон сегодня меня спрашивал, не хочешь ли ты получить роль в процессии?

— Я! В процессии?— воскликнула Наташа с таким ужасом, что Шелль рассмеялся.

— Я заранее сказал ему, что ты не согласишься.

— Даже не понимаю, как он мог серьезно предложить! Хороша бы я была в роли какой-нибудь знатной венецианки! Это после подземного завода!

— Ты была бы лучше всех. И перестань, наконец, вспоминать о подземном заводе!.. Но ты права, это было бы ни к чему,— сказал Шелль. Филиппинец в самом деле опять спросил его, не хочет ли Наташа участвовать в празднике, и даже добавил: «Ее условия будут моими». Шелль только представил себе, как бы это Наташа и Эдда появились в одной процессии.

Когда Шелля не было дома, Наташа работала над диссертацией или читала Тургенева. Почти каждый день ездила на Лидо и кое-как объяснялась с работавшими в их доме малярами. Они были очень ею довольны: все простые люди любили Наташу, чувствовали, что она почти такая же простая, как они. Работа шла хорошо и быстро. В двух комнатах уже были выкрашены стены, и можно было бы расставлять мебель. Одна из этих комнат должна была стать спальней Наташи. Другую Шелль называл ее будуаром. Она решила сделать из нее детскую. Страстно хотела иметь сына и дочь, непременно сына и дочь.

Шелль неохотно согласился предоставить ей покупку мебели. Купил немецкую книжку о разных стилях. Наташа внимательно все прочла, узнала особенности стилей — и приобрела кровать, два плюшевых кресла, два таких же стула, большой зеркальный шкаф, гардины, ковер, лампы, ночной столик,— уж не знала, в каком стиле, но все очень недорого. Мебель утром привезли; маляры ее расставили, хотя это не

входило в их обязанности; она им подарила бутылку вина, они очень благодарили и попросили ее выпить с ними; пили прямо из горлышка, так как стаканов не было, ей первой дали бутылку.

Днем, по ее просьбе, приехал Шелль. Он ничего не сказал об ее покупках. Наташа видела, что он не очень доволен. «Сердится, что я трачу мало его денег!»

— Будуара пока не покупай. Мою мебель скоро привезем. На следующий же день после праздника съездим за ней в Берлин. Люстры я куплю сам. Эту металлическую палку с лампочкой не стоило на потолок и вешать,— сказал Шелль и, увидев, что она огорчилась, добавил:— А белье покупай и, ради Бога, не жалея денег. Это покупки на всю жизнь. «Уже вилла стала мелкобуржуазной,— с досадой думал он,— особенно эти гардины!»

— Да чем же плохая лампа? Ну покупай ты, хотя у тебя выйдет втрое дороже. А книги можно уже сюда перевезти?

— Отчего же нет? Только Мольменти оставь, он еще мне нужен. И, разумеется, не тащи сама, скажи в гостинице, чтобы перенесли на пароходик.

У них скопилось несколько десятков книг, он покупал чуть не каждый день. Наташа удивлялась, как он быстро читает. Было немало дорогих изданий по истории Венеции. Эти покупались на счет Рамона.

Книги Наташа временно поставила в шкаф для белья, полки выстлала белой бумагой. Старательно вытирала каждую книгу тряпкой. Из толстого словаря выпал листок. На нем рукой Шелля написаны были цифры: 320.28 . . . 56.25 . . . Почему-то записка вызвала у нее неприятное чувство. «Деньги? Расходы? Что-то неровные цифры».

Вечером, вернувшись в гостиницу, она передала ему записку. Он взглянул и, к ее удивлению, покраснел, что с ним никогда не случалось. «Забыл уничтожить! Совсем впадаю в детство! Вовремя бросил профессию!»

— Выпала из словаря. Может быть, это тебе нужно? Верно, о каких-нибудь акциях?— произнесла она непривычное ей слово.

— Да, кажется я записывал курс из газет. «И «кажется» не надо было говорить».

## XXIV

Эдда почти всегда бывала всем недовольна — и по характеру, и по своему правилу: кто всем доволен, тому ничего и не дают. Но по пути из Венеции в Берлин вышла из обычного состояния. Как Шелль, никогда не была так хорошо обеспечена.

Несмотря на грозившую, по его словам, опасность, он проводил ее на вокзал: «Для тебя готов рискнуть слезкой». Простились — как он сказал, начерно — еще в гостинице и довольно мило, хотя в их обычной манере: были и «хам», и «кохана», и «дочь моя рожевая». Эдда больше не любила Шелля (если и любила прежде), но боялась его и в душе ценила. «Достал такие деньги! В денежных делах он врет редко. Заплатят».

У нее было одноместное отделение первого класса. Он сидел там

с ней, повторял свои инструкции и переспрашивал, как учитель — для этого и приехал на вокзал: Эдда с одного раза не понимала. Наконец незадолго до отхода поезда (она уже беспокоилась) вручил ей чек на берлинский банк.

— Три тысячи долларов,— сказал Шелль, и тут подготовивший эффект.

— Три!

— Три. Ты будешь догарессой.

— Догарессой!

— Да. Женой дожа. Рамон дож. Надеюсь, ты понимаешь, кому ты по гроб жизни обязана этой неслыханной удачей? Величайшие артистки мира боролись за эту роль! Можно сказать, в ногах валялись. Я ему сказал, что ты кинематографическая звезда, новая Ингрид Бергман! И я выговорил тебе пять тысяч долларов! Тебе! За что?

— Положим, Ингрид Бергман за пять тысяч долларов в догарессы не пошла бы.

— Дура. Куда лезешь? То Ингрид Бергман, а то ты . . . Не скажу, кто ты. Значит, тебе дан аванс в две с половиной тысячи. А вот в этом конверте рисунок в красках: платье догарессы. Кредит я тебе открываю на платье неограниченный.

— Что такое неограниченный кредит? Я люблю точность.

— Это значит, ненаглядная, что ты можешь покупать самые дорогие материи, шелк, бархат, парчу, не стесняясь их ценой. Разумеется, сохрани счета. Конечно, ты будешь присчитывать, я ничего против этого не имею, но делай это по-божески, надо иметь совесть: не более десяти процентов.

Эдда вынула рисунок из конверта.

— Ах, какая прелесть! Я буду изумительна!

— Ты во всяком costume изумительна. Даже в costume Евы. Теперь слушай, кохана. Ты должна вернуться за два дня до спектакля: ни раньше, ни позже.

— Почему такая точность? Вернись, когда захочу!— сказала Эдда, с чеком чувствовавшая себя гораздо увереннее. Шелль взял ее руку, сжал так, что она вскрикнула от боли, и отобрал чек.

— Дурак! Х-хам! Чуть не сломал мне пальцы! . . . Я пошутила, а ты . . .

— Я тоже пошутил. Ты вернешься за два дня, слышишь? Помни, кстати, что это аванс. Если ты опоздаешь или приедешь раньше, то даю тебе слово, ты больше не получишь ни гроша! И мы найдем другую . . .— Он сказал грубое слово, но очень подобавшее новому Шеллю. Эдде, впрочем, такие слова нравились.— Вот чек, бери и помни.

— Очень я тебя испугалась! . . . Хорошо, хорошо, я вернусь за два дня, отстань.

— На рисунке много драгоценностей. Само собой, они должны быть поддельные. Корону мы тебе дадим здесь. Кружева же можешь покупать настоящие. Если в Берлине чего-нибудь не найдешь, съезди в Вену или Брюссель: разумеется, не в Париж, тебе туда нельзя.

На прощанье он поцеловал ее. Эдда расчувствовалась.

— В моей памяти ты останешься как Евгений Прекрасный.

— В твоей памяти я останусь как Евгений Прекрасный,— согласился

он.— Кроме того, я скоро опять появлюсь в твоей памяти, мы в близком будущем с тобой увидимся. И Рамон Прекрасный, и я.

— Ты хам, но я тебя обожаю!

— В другое время я сказал бы: «Fais voir». Но поезд сейчас отходит . . . Помни, что надо сохранять все счета,— сказал Шелль, больше для того, чтобы убавить сентиментальности.

С перрона он помахал ей рукой, отвернулся и ушел, когда она еще посылала ему воздушные поцелуи. Все же, несмотря на его грубость, Эдда была им довольна. Оценила и то, что своих пятисот долларов из аванса не вычел.

Она прошла по коридору вагона, подозрительных людей не заметила и успокоилась. Вернулась в свое отделение, вынула чек из сумочки, прочла все от числа до подписи. «В порядке! Слава Богу! И деньги, и такая роль!»— Слово «догаресса» очень ей нравилось. Перед маленьким зеркалом Эдда приняла подобавший догарессе вид. «Справлюсь! Стану знаменитостью! . . . Право, он куда лучше Джима, тот мальчишка». Она очень ясно делила мужчин по разрядам; впрочем, любила все разряды. «Джим несерьезный, шалун. Бедный, у него почти ничего не осталось, все на меня потратил. Право, дала бы ему, но он никогда не взял бы . . .» Джиму было сказано, что он не должен быть на вокзале, по соображениям конспирации. Он ничего против этого не имел.

В вагоне-ресторане Эдда спросила полбутылки шампанского. Соседи на нее смотрели не без удивления. Она отвечала гордым вызывающим взглядом: «Да, пью одна шампанское, я так привыкла!» Шелль не сказал, оплачиваются ли отдельно ее расходы или идут в счет пяти тысяч; она забыла спросить; все же решила жить «хорошо»: скупа не была даже тогда, когда платила за себя сама. Затем в купе пробовала написать элегию: «Прощание». Но вагон очень трясло. Она спрятала тетрадку и открыла роман Сартра.

Было, однако, темное пятно: переход через Железный занавес, разговор с советским полковником.

Отправилась она к нему на третий день с мучительным волнением,— подходя к рубежу, испытывала такое чувство, точно в самом деле сейчас покажется какой-то занавес. На столбе была надпись черными, точно гробовыми, буквами: «Achtung! Sie verlassen nach 80 m. West Berlin». Еще дальше была другая по-английски: «You are now leaving British Sector». Она довольно долго жила прежде в Берлине и эти надписи видела не раз, всегда с чувством легкой тревоги, хотя в ту пору в восточный сектор ей ездить было незачем.

Прием был любезный.

Бумаги, доставленные Эддой, оказались необыкновенно важными. Полковник тотчас переслал их в Москву. После первого же ознакомления с ними начальство выразило ему благодарность. Как всегда, выразило ее не слишком горячо, сказало, что бумаги будут тщательно изучены, но он видел, что от свалившегося клада там в восторге. Теперь он мог рассчитывать на награды, даже на повышение по службе. Самая идея похищения бумаг из роканюрской печи своей эффектностью не могла не произвести впечатления.

Эдда оказала делу большую услугу. Но и на этот раз полковника удивила ее очевидная глупость. «Впрочем, тут дело было не в уме. В самом деле она очень красива». Полковник подробно ее расспросил.

— . . . Вы исполнили задание быстро. Благодарю вас,— сказал он. Редко говорил это агентам, и это у него прозвучало как «мое русское спасибо». «Гранд кокетт»,— определил он Эдду без уверенности.— Рад, что у вас «доброе свершилось»: так когда-то русские называли . . . Ну, вы знаете, что называли.

— Я очень много работала,— сказала Эдда, успевшая немного успокоиться. Как и при их первой встрече, ее что-то испугало в наружности полковника.— Я просто измучена! Вы не можете себе представить, товарищ полковник, как эта работа изнашивает человека!

— Ишь ты, поди ж ты, что ж ты говоришь ты,— сказал полковник. Говорил это в тех редких случаях, когда бывал весел.— Теперь, пожалуйста, отдохните. Этот мерз . . . Этот американец получил отпуск на целый месяц?

— Да. Он два года не брал отпуска.

— А не мог ли бы он вернуться на службу раньше?

— Боюсь, что это обратило бы внимание его начальства, товарищ полковник. Люди редко отказываются от отпуска,— сказала Эдда. «Все знает мой картежник!»— подумала она.

— Да, может быть. Тогда не надо. Разумеется, вы должны поддерживать с ним . . . тесный контакт. Самый тесный контакт. Вам это нетрудно, у вас большой «секс аппеал»,— сказал он с насмешкой.— А для нас это куда как важно в отношении дальнейшей конъюнктуры. Его положение там прочно?

— Не знаю,— сказала Эдда. Этого вопроса Шелль не предвидел.— Он уже давно ожидает повышения по службе,— добавила она, надеясь обрадовать полковника.

— Я вам, спасенная душа, другой коррективы пока не дам. При создающейся конъюнктуре оставайтесь при нем . . . Может, и деньженок вам от него перепадает? Разумеется, в персональном порядке, в персональном. Он, верно, мужичок кошельастый? Чать, довольны?— спросил он. Эдда изумленно на него смотрела. Это сочетание ученых слов с заволжскими, доставлявшее полковнику удовольствие, вызывало удивление и в Заволжье, и в Разведупре. К ученым словам Эдда привыкла, сама часто и охотно ими пользовалась. Но «чать», «кошельастый», «спасенная душа» ее испугали, как во Франции она испугалась бы, услышав «Tudieu» или «Ventre Saint Gris».— Айда с ним в Италию шампанское лакать. Или он водоглот? У них бывают и такие, пес их ведает. Императив остается прежний. Следите за его акцией внятно. А с ним держитесь как следует, этак руки в боки, глаза в потолоки.

— Я держусь с ним гордо, товарищ полковник.

— Фараон гордился и в море утопился. . . Продолжаете писать стишки-с?

— Вы и это знаете,— сказала Эдда, застенчиво потупив глаза.

— Знаю. «Писано в кабаке, сидя на сундуке». Прошу извинить, я цитирую вашего собрата Ваньку Каина. Разумеется, он был ваш собрат лишь как поэт. Написал замечательную поэму или песню: «Не шуми,

мати, зеленая дубравушка»,— сказал полковник, глядя в упор на Эдду. Она не знала, как понять его слова: как будто они были обидны, но говорил он шутливо. «Если шутит, значит я ему нравлюсь». Да и обижаться на него было неудобно и ни к чему.

— Вы любите поэзию, товарищ полковник?

— Ничего тому подобного,— сказал он, пожав левым плечом.— А что же этот ваш . . . Как его? Шелль? Больше ко мне не соблаговолил заявиться. Впрочем, черт с ним! Он из плута скроен, да мошенником подбит. Да еще вдобавок психопат, по-старинному «сущеглупый»,— прибавил полковник, в этот день уж чрезмерно подчеркивавший особенности своего стиля.

— Буду обо всем вам внятно докладывать, товарищ полковник,— сказала Эдда, тоже старавшаяся говорить по-особому; она слова «товарищ полковник» произносила с чисто военной интонацией.

— Согласно общей инструкции и нынешней директиве,— ответил полковник.— Ясно и сжато: только к делу, а не про козу белу.

Выдал он ей всего тысячу марок, но сказал, что окончательное вознаграждение будет определено позднее. «Мог бы, скупердяй, дать и больше»,— подумала она; впрочем, сумма теперь для нее не имела большого значения, и торговаться Эдда не решилась. «Главное, что я теперь могу быть спокойна!»

— И вот еще что,— сказал полковник внушительно.— Быть может, этот мерз . . . этот лейтенант дал вам много денег? Меня это не касается, но не думайте об отставке! От нас не уходят. Когда вы перестанете быть мне нужны, я сам вам скажу. А до того вы обязаны работать. У вас есть словарь. Если что будет, пишите тайнописью.

Она была в смущенье и не сразу поняла, что это слово означает шифр. Полковник иногда говорил даже «тарабарская грамота»,— так шифр назывался в еще более далекие времена. Слово «тайнопись» ей, впрочем, понравилось. Он сделал вид, будто привстает.

Эдда заказала платье. Хотела было съездить в Брюссель и выбрать там кружева. «Фламандские? Брюссельские? Валансьенские?» Их можно было достать и в Берлине, однако Берлин ей давно надоел, и она всегда чувствовала потребность в частых переездах, особенно теперь, со спальными вагонами, с шампанским. Вышло, однако, так, что в Брюссель она не поехала. Пришло письмо от Шелля — короткое и без всякой тайнописи. «Хочу тебе еще сказать следующее,— писал он.— Освежи свои познания в испанском языке. Я знаю твои способности к языкам. Ты легко найдешь учительницу в Берлине. Нужна только практика. От этого зависит твое счастье. А bon entendeur salut!» Подпись была: «С истинным уважением и совершенной преданностью, твой X-x-хам».

Она тотчас наняла не учительницу, а учителя,— очень скучала без мужчин. Учитель, впрочем старый и неинтересный, приходил каждый день на два часа. Теперь уехать было невозможно. Кружева были тоже куплены в Берлине. Общий счет, с прибавлениями на расходы, составил тысячу шестьсот двадцать семь долларов: точные, не круглые цифры всегда производили хорошее впечатление. «А что мой картежник из

плута скроен и мошенником подбит, это полковник правильно сказал. Непременно ему передам».

От скуки она начала писать рассказ, где героиня, знаменитая артистка, не «говорила, смеясь», а «молвила, смеючись».

## XXV

В Венецию она вернулась за два дня до праздника. Шелль встретил ее на вокзале и почтительно поцеловал ей руку. Щелкнул аппарат: на перроне ждал фотограф. Был и один унылый репортер. Эдда дала интервью. Шелль ожидал его со страхом, но сошло хорошо. Она говорила о красотах Венеции:

— . . . Я много раз бывала в вашем дивном городе. Что может быть красивее площади святого Марка! А Дворец дождей! А Большой канал! Для праздника я тщательно изучила все материалы . . .

— Пожалуйста, сударыня, не сообщайте ничего о празднике,— вмешался Шелль.— Послезавтра все всё увидят, а пока это маленький секрет.

— Я подчиняюсь,— сказала Эдда с очаровательной улыбкой.

— Прямо Сара Бернар!— похвалил Шелль, когда они остались одни.— И говорила ты о Венеции чрезвычайно интересно, оригинально и ценно. Пять с плюсом. Для тебя снят номер из двух комнат.— Он назвал одну из лучших гостиниц.— На наш счет.

— Я думаю, что на ваш! Но отчего не у вас?

— Зачем же тебе встречаться с его дамой? Я сегодня вечером тебя с ним познакомлю. Устроился так, что ее не будет. Она ему уже надоела . . . Твоя прежняя гостиница тоже недурна, но ведь твой американец еще там?

— Там. И я должна буду поддерживать с ним контакт, этого требует полковник.

— Поддерживай с ним контакт,— сказал он так же, как полковник.— Можешь сегодня с ним и обедать. Лучше у него в номере. А как наш дорогой полковник, пропади он пропадом? Еще не совсем сошел с ума?

— Почему сошел с ума?

— Да у него глаза ненормального человека, разве ты не заметила?

— Да что он вообще за человек?

— Он смесь. Пять процентов от Ленина, пять от Суворова, пять от Аракчеева, двадцать от гоголевского сумасшедшего, а остальное вода, aqua distillata.

Вечером он познакомил ее с Рамоном. Успех превзошел его ожидания. В особенный восторг привело филиппинца то, что Эдда говорила по-испански. Шелль одобритительно кивал головой: «Молодец-баба!» Вид у него, впрочем, был подчеркнута сдержанный, почти нейтральный, как у «наблюдателя», который на дипломатической конференции представляет дружественную державу, не принимающую в конференции прямого участия. Рамон изъявил желание увидеть Эдду немедленно в костюме догарессы. Праздник шел без репетиций. «Репетиции убили бы душу спектакля!»— объяснял Шелль Рамону.

— Но отчего же вы остановились не в моей гостинице?

— Оттого, что здесь не было достойного номера,— ответил Шелль.  
— Для меня достали бы достойный номер!— сказал Рамон. Он хотел было вспылить, но не успел.— Когда я вас увижу?

— Где же я переоденусь?— стыдливо спросила Эдда.— Не могу же я ехать из моей гостиницы в вашу в костюме догарессы. Может быть, вы приедете ко мне?

— С восторгом.

— Плыть в костюме догарессы вы, конечно, не можете,— сказал Шелль.— Журналисты устроили бы за вами погоню на гондолах. Они и так с фотографами осадили сеньору Эдду на вокзале,— пояснил он хозяину.— Но по той же причине не лучше ли будет, сеньора Эдда, если вы приедете сюда? Вы могли бы переодеться здесь, в этом номере четыре комнаты.

— Это в самом деле еще лучше!

— Так вы условьтесь. А теперь я, к сожалению, должен вас покинуть,— сказал Шелль, вставая.— До завтра, мой друг, до завтра, сеньора Эдда. Хотя, быть может, я и завтра вас не увижу, столько дел. Рамон, покажите сеньоре Эдде окрестности Венеции, вы могли бы сделать маленькую экскурсию. Но постарайтесь ускользнуть от репортеров.

— Постойте, я хочу показаться вам в короне. Вы скажете, все ли как следует, я сейчас ее принесу,— сказал Рамон и вышел в соседнюю комнату.

— Кохана, теперь твое счастье в твоих руках: он еще глупее тебя,— сказал Шелль по-русски.— Это неподдельный *coup de foudre*, в Рамоне все неподдельно. Правда, в Венеции нет женщин, говорящих по-испански. Очень неудобно любить при помощи переводчика. А как сошел контакт с американским мальчишкой?

— Отлично,— ответила Эдда, сияя.

Джим был вначале грустен, совсем не такой, каким был в Париже. Дядя давно уехал в Берлин, Джим никого в Венеции не знал и боялся сознаться себе, что немного скучает в этом городе радости и счастья. Но когда Эдда трагическим тоном сказала ему, что они должны расстаться — «судьба сильнее людей!» — он неприлично обрадовался. Это Эдде не понравилось.

— Во всяком случае мы должны будем поддерживать деловые отношения. От тебя ждут дальнейших услуг.

— Боюсь, что это невозможно,— ответил он, смутившись.— Дядя пишет, что меня переводят в Соединенные Штаты.

Теперь неприлично обрадовалась она. «Чего же они тогда могут от меня требовать?»

— Об этом мы еще поговорим. Мы здесь будем видеться.

— Разумеется!— сказал Джим.— У тебя прекрасный вид. Ты теперь еще больше похожа на портрет Габриеля Джошуа Тревелиана.

— Спасибо... Как у меня теперь синяки под глазами? Больше или меньше?

— Гораздо меньше.

— Ты очень скучал?— спросила Эдда, глотая какую-то пилюлю. Она всегда принимала разные порошки.— Что ты делал все время?

— Ты не угадаешь. Я становлюсь писателем!

— Как? И ты!

— Я буду писать не стихи... Ты знаешь имя Монтеверде?

— Не знаю и горжусь этим.

— Это был композитор семнадцатого столетия. Он прожил большую часть жизни в Венеции, здесь и умер. Я случайно наткнулся на материалы и решил написать о нем книгу.

— Да разве ты музыкант?

— Я страстно люблю музыку, но играю на рояле неважно, а композиторского таланта, кажется, не имею.

— Я уверена, что ты талантлив. Я страшно за тебя рада.

— Страшно рада и моя тетка Мильдред Рессель,— сказал Джим. Он испытывал такое чувство, какое испытывают люди, покидая пароход после долгого плавания: «С кем-то временно сошелся, но больше его никогда не увижу и слава Богу: осточертел!»

Все действительно вышло случайно. Оставшись в Венеции один, Джим побывал во дворцах, церквях, музеях, осмотрел по путеводителю Тицианов, Веронезов, Тинторетто, Джорджие. Восхищался добросовестно и вполне искренне, но в меру: к живописи большого влечения не имел. Как-то собрался было поехать в Мурано, где в старой церкви Сан Пиетро Мартире был важный Беллини; но спросив себя, может ли без этого Беллини прожить остаток жизни, ответил, что может, и не поехал. «Да, кажется, выйдет из меня веселый неудачник. Дядя неправ в главном, в своей работе, в своем понимании жизни. Относительно же меня он во многом прав. Я действительно главным образом спорщик, люблю противоречить и словами, и делами. И сам не знаю, чего хочу. Хочу интересной жизни, а в частности ничем особенно не интересуюсь».

В этот день он попал на концерт старой итальянской музыки. Исполнялась Месса папы Марцелла. Она не произвела на него сильного впечатления. Почему-то он думал, что музыка Палестрины необыкновенно мелодична; на самом деле мелодий почти не было или же он не мог их разобрать. Огорченно думал, что настоящего дара к музыке у него нет. «Тогда к чему же есть? А что если б написать биографию этого композитора? Кажется, он был певцом и безголосым, затем его прогнали, он бедствовал, и признание пришло слишком поздно?»

В антракте он купил программу и узнал из нее, что автор мессы, Пьерлуиджи, был прозван Палестриной по названию деревни, в которой он родился. «Тогда для изучения материалов, пожалуй, еще пришлось бы поехать в эту деревню. Там я совсем пропаду со скуки, если скучаю в Венеции. Да верно существуют другие биографы Палестрины».

После антракта исполнялись отрывки из оперы «Орфей». Эта музыка, напротив, его очаровала. Он плохо знал миф об Орфее, смутно вспоминал, что этот герой спустился за какой-то женщиной в ад, вытащил ее оттуда, что он очаровывал людей не то пением, не то красноречием, и погиб трагической смертью, кажется, его разорвали на части. Джим слушал музыку и, как большинство людей музыкальных, но не настоящих музыкантов, старался подставлять под нее жизненные положения. Сначала подставлял Орфея, затем, частью серьезно, частью

иронически, стал подставлять себя. «Вот и я спустился за Эддой в ее ад. Правда, я еще не погиб трагически. Она тоже нет».

В Париже у него в самом деле были угрызения совести, хоть он их преувеличивал в разговоре с дядей. В тот самый день, когда Джим передал Эдде пакет, ему пришло в голову, что ее могут отправить в каторжные работы. Он провел ночь почти без сна. Сгоряча подумал, что надо открыть ей всю правду, надо умолять ее бросить позорное, страшное ремесло. Впрочем, подумал об этом не очень серьезно и сам назвал себя «дураком и очень скверным дураком»: «Если б я открыл ей всю правду, то это было бы предательством уже с моей стороны! Я, разумеется, никогда этого не сделаю! Зачем только я согласился на предложение дяди? Просто, по моему вечному легкомыслию». Угрызения совести у него кончились, когда Эдда благополучно уехала из Франции, не только не причинив вреда Соединенным Штатам, но оказав им невольную большую услугу. Однако очень неприятное чувство у Джима осталось. Разговор с дядей его успокоил, все же он твердо решил, что на службе в разведке не останется.

Орфей, очевидно, тоже был легкомысленным, непостоянным существом. Джим то раскаивался в своих недостатках, то немного щеголял ими перед собой. «Да, во мне есть Орфеево начало. . . Под эти звуки он, верно, уходит из ада, как ухожу я. Только я ухожу без всякой Эвридики, уж очень скверная оказалась Эвридика. Странно, что в первый день я совсем этого не чувствовал. Как хорошо, что она получила какую-то работу!»

Он прочел в программе и о Монтеверде. О нем знал еще меньше. Этот, по-видимому, был, в отличие от Палестрины, удачником. Джим сочувствовал обиженным жизнью людям, но сам никак быть неудачником не желал. «Отчего же мне не написать его биографию? Он, кажется, и известен меньше, и музыка его гораздо лучше». В программе указывались годы жизни Монтеверде. Джим пошарил в голове, собирая свой запас исторических познаний. «Эпоха, кажется, очень интересная. Тридцатилетняя война? Полчища Валленштейна? Да верно он Валленштейна в глаза не видал? Все равно, это должно отразиться в его музыке. Борьба двух миров, как теперь. Не совсем как теперь, но это неважно. И кардинал Ришелье был тогда. . . А что тогда было в Италии? Хоть убей не знаю. Несомненно, эпоха была красочная. Это составит канву, фон для книги».

Он был так взволнован, что тотчас после «Орфея» ушел: больше ничего Монтеверде не исполнялось. Было всего пять часов, магазины еще были открыты. Он нашел у антиквара старое издание, партитуру на пергаменте, с квадратиками вместо кружков: Монтеверде! Тотчас — очень недешево — купил партитуру и даже до Флориана не дошел. Сел за столик в первой же маленькой грязноватой кофейне, спросил не вина, а кофе, и принялся читать: довольно свободно читал ноты. «Прелестно! . . .» Его решение стало твердым. Ясно видел перед собой толстую — не очень все же толстую, страниц в триста — переплетенную книгу. Наверху титульной страницы была его фамилия, а пониже большими буквами: «Клаудио Монтеверде».

Через несколько дней он получил письмо от дяди. Тот сообщал ему, что его желание исполнено: он будет переведен в Соединенные Штаты. «Там ты можешь осмотреться и выбрать, что тебе угодно. Мой совет тебе в армии и остаться», — писал полковник племяннику на этот раз не в том шутивно-насмешливом тоне, который оба любили.

Он ходил в библиотеку, купил несколько дорогих книг и партитур. Работа, неопределенно называвшаяся собиранием материалов, шла. Теперь оставалось отделаться от Эдды. Поэтому он и был так рад ее словам: инициатива была ее, разрыв был не враждебный, и Эвридика тоже покидала ад.

## XXVI

Маскарад не очень вязался с избранием дожа, но для большей живописности решено было устроить и маскарад. Впрочем, гости могли являться в масках и стильных костюмах или без них, — кто как пожелает.

Газеты печатали заметки о Празднике Красоты. Их было гораздо меньше, чем ожидал Рамон. В газетах, не пресмыкавшихся перед богатством, появились и заметки презрительные. «Секретариат», уже состоявший из нескольких человек, этого для хозяина не переводил. Неподписывавшиеся добрые люди усердно присылали вырезки по воздушной почте, — все бросалось в корзину. Рамона огорчало, что в заметках ничего не говорилось об идее праздника. Он и сам теперь меньше говорил об обязанности богатых людей перед обществом. А когда бывал раздражен, то, как князь де Саган, с вызовом объяснял, что тратит миллионы для собственного удовольствия и ничьим мнением не интересуется. Интерес к избранию дожа у него несколько ослабел. Эдда появилась как раз вовремя.

За три дня до праздника в гостиницу принесли костюм Шелля. Наташа увидела что-то красное с золотом и не попросила вынуть костюм из коробки. Шелль был неприятно удивлен. Сама она решительно отказалась от стильного платья.

— Нет, уж меня уволь! Если говорить правду, то мне не особенно нравится, что и ты будешь в костюме.

— Не могу же я изображать телохранителя во фраке.

«Зачем же тебе понадобилось изображать телохранителя?» — хотела спросить Наташа, но не спросила.

— Я ничего и не говорю.

— Думаю, что развлечения необходимы. Особенно тебе: ты вышла замуж за человека настолько тебя старше. Как это у Лермонтова? «А что, скажите, за предмет — Для страсти муж, который сед».

«Это ему необходимы развлечения», — грустно подумала Наташа.

Вечернее платье было ей все-таки необходимо. Шелль, задетый словами Эдды у Флориана, настоял на том, чтобы платье было дорогое. Добился этого не без труда.

— Просто смешно тратить такие деньги на один вечер! Где же я его еще надену? У нас в домике на Лидо и знакомых не будет, а не то что вечера и балы! Будет скромная трудовая жизнь, — говорила она. Он

слушал о скромной трудовой жизни хмуρο, хотя и ему балы никак не были нужны.

Платье оказалось еще более «вечерним», чем думала Наташа. На шлейф она не согласилась,—«было бы курам на смех!» При первой примерке пришла в замешательство, увидев себя в зеркале с голым бюстом, без рукавов. «Все скажут: «не умеет такое платье и носить!» Больше всего, разумеется, боялась того, что подумает он. Шелль хвалил — разве только чуть холоднее, чем прежде.

После того, как он познакомил Эдду с Рамоном, Шелль признал свою роль законченной. Все дело перешло к секретариату. Главная секретарша работала целый день и себя не забывала. Шелль это знал, а она знала, что и он тоже себя не забывает. Ладили они отлично. По вечерам секретарша делала ему краткие доклады, в частности о недоразумениях между приглашенными, обидях, местничестве.

— Пусть он идет к черту . . . Пусть она идет к черту,— равнодушно отвечал Шелль.— Помните, важно только одно: чтобы все были пьяны. Шампанское уже доставлено?

— Ледники не вмещают!— отвечала она с улыбкой. Не совсем понимала, почему он изменился: конечно, праздник глупейший, но ведь так было с самого начала; между тем прежде Шелль во все входил. Он и сам плохо это понимал и приписывал неврастению.

— Ничего, пусть пьют теплое. А если будут недовольны, то пусть повесятся!

За час до начала спектакля Шелль зашел к Наташе в раззолоченном малиновом бархатном кафтане. При его росте костюм очень к нему шел. Он и носил его так, точно всегда так одевался. Наташа ахнула.

— Ты великолепен! Просто великолепен! Как всегда, будешь самый красивый из всех! . . . Я прежде не сочувствовала, но это так необыкновенно красиво!

— Уж если валять дурака, то как следует.

— Как жаль, что люди так не одеваются теперь!

— Твое платье очень хорошо, очень,— сказал он, целуя ее.

— Ты говоришь правду? Мне просто совестно спуститься в холл!

— Сегодня это никого не удивит. Вся гостиница будет на празднике. Даже лакеи и горничные. Я велел подарить им билеты. «Плебс» будет пьянствовать внизу, а «элита», во главе с Рамоном, в бельэтаже.

— Пожалуйста, не говори «плебс». Я сама плебс.

— Завабно то, что плебс, наверное, наполовину, если не на три четверти, состоит из коммунистов или по крайней мере на выборах за них голосует. Кстати, я, просто из любопытства, спросил Рамона, подавать ли и внизу шампанское или же с народа достаточно Asti,— сказал Шелль.(Наташу опять кольнуло: «Точно он приказчик!») — Он ответил: «Всем шампанское и самое лучшее!»

— Да, он добрый человек, я знаю.

— Во всяком случае один из самых щедрых людей, каких я когда-либо видел. Как ни огромно его состояние, он со временем все спустит. О своей демократической идее он больше, к счастью, не говорит, но по характеру он кое в чем «демократ». Недавно пригласил к себе на обед всех статистов, они очень оробели.

— На каком языке они разговаривали?

— Вероятно, все время молчали. В Англии полтора года тому назад считалось неприличным разговаривать на раутах. Все проходило в глубоком молчании, хороший был обычай... На днях он велел секретарше, чтобы на празднике «все были равны»: «У меня нет принцев и графов!» К слову будь сказано, принцев и графов съехалось довольно мало, это к чести аристократии. Я в докладах Рамону даже должен был многим гостям пожаловать титулы.

«В докладах!..» Хотя бы скорее все это кончилось!— подумала Наташа. Шелль заметил тень на ее лице, догадался и с досадой сказал себе, что и тут стал говорить лишнее.

## XXVII

Догаресса плыла на Праздник Красоты в пышно убранной гондоле с большой парчовой палаткой.

Платье Эдды было восхитительно. На нее смотрели с завистливым признанием дамы свиты. Они звездами не были,— звезд тоже приехало не много,— свита состояла из второстепенных артисток, скорбно недоумевавших: «Кто такая? Почему никто о ней не слышал? Почему ей дали роль догарессы?» Шелль пустил слух, будто Эдда только что бежала из Румынии, где пользовалась громкой известностью. Румынские звезды могли быть неизвестны в Западной Европе. Кинематографические дамы должны были признать, что румынская звезда очень красива и что одевается она и красится превосходно. Теперь на свиту произвела сильное впечатление ее корона. «Десять тысяч долларов, если не фальшивая!»— решительно сказала одна дама. «Нет, семь-восемь»,— возразила другая.

Лишь накануне бриллианты и рубины короны были поддельными. Секретарша утром принесла ее Рамону. Он взглянул и вспыхнул:

— На моем празднике корона догарессы не должна быть украшена стеклянными погремушками!

Секретарша его слова поняла, тем более что они сопровождались сильными жестами. Она успела привыкнуть к его вспышкам. Усвоила не ту тактику, что Шелль, а свою, гораздо лучшую. Всякий раз, входя в номер Рамона, она принимала смущенно-восторженный вид, какой может быть у молодой девушки, желающей попросить автограф у Франка Синатра; когда же происходила вспышка, секретарша изображала на лице страшный испуг. И то и другое ему нравилось. Так и на этот раз ему показалось, будто она тотчас упадет от ужаса в обморок. Она что-то невнятно бормотала, все равно он понять не мог.

— Вы еще и на мою собственную корону поставили бы фальшивые камни!— сказал он мягче. Его корона стоила огромных денег. Хотя Рамона уже знали в Венеции, хотя газеты писали об его сказочном богатстве, ювелир, получив чек, перед отсылкой короны в гостиницу справился по телефону в банке, есть ли покрытие на такую сумму. «Есть и на в десять раз большую»,— ответил знакомый директор.

— Положите эту дрянь назад в шкатулку, я возьму ее с собой,— сказал Рамон. Секретарша хотела было понести шкатулку за ним, но он не допустил и со шкатулкой в руке прошел к гондоле — у него теперь была своя, самая лучшая в Венеции. Люди стремительно бросились его усаживать. Он отправился в гостиницу Эдды. Так было с ней условлено.

— Прежде чем ехать в окрестности, мы заедем к ювелиру,— объявил он. Эдда скромно потупила глаза. Ему и это очень понравилось, хотя он любил «женщин-хищниц». — Те дураки поставили вам на корону фальшивые драгоценности! Вам!

Кольцо или брошка были бы подарком наверное. Относительно же маскарадной короны этого с уверенностью сказать было нельзя. «Может быть, корону придется вернуть? Зато если она подарок, то ведь это огромные деньги!» Эдда взволновалась чрезвычайно. В магазине она переводила его слова и еле дышала. Пробовала за него поторговаться, но он ее остановил: не надо! «Благодарить? Но если он не дарит? За внимание? Разве за внимание благодарят так, как за подарок!» — мелькало у нее в голове. Она поблагодарила как за внимание, но бросила ему дивный взгляд. Как будто он ждал большего.

За догарессой в двадцати гондолах следовал восторженный народ: были все «ремесла». Люди пели, играла музыка. На подъезде дворца Эдду встретил дождь в длинной, раззолоченной мантии, в короне, с мечом. Над ним держали золотой зонтик. Эдда взглянула на корону дождя и ахнула: «Миллионы! . . . Теперь будет шам, если не подарит мне мою!» Рамон жестом Дандоло или Марино Фальери протянул ей руку и поцеловал ее, хотя это было нелегко при двух коронах. Из всех окон дворца неслись бурные рукоплескания и восторженные крики. Впрочем, кто-то закричал: «Эввива Ленин!» Оркестр играл марш из «Аиды». Процессия выстроилась и двинулась вверх по лестнице. Народ орал все восторженнее. Уже с полчас лилось рекой шампанское. Теперь с балкона бельэтажа дождь и догаресса должны были бросать народу монеты. Это очень не понравилось Эдде.

— Не надо . . . Право, не надо . . . Все равно будут падать в воду,— говорила она дождю. Но оркестр и рукоплескания заглушали ее слова.

Она дала билет и Джиму.

Он никого не знал в толпе, бродил по залам и пил шампанское. В зале Тьеполо он обратил внимание на молоденькую даму или барышню, робко державшуюся за «трельяжем». «Очень мила. Как она сюда попала?» К даме на минуту подошел гигант-телохранитель, поговорил с ней, весело улыбаясь, кивнул ласково головой и отправился опять на свой пост. Дама просияла при его появлении. Затем улыбка с ее лица стерлась.

Из-за обязанностей телохранителя Шелль почти не встречал Наташу на празднике. Она издали видела, как он прошел по залу, видела собственно только его возвышавшуюся над трельяжами голову. «Так в кинематографе иногда показывают не всего человека, а, например, его ноги. Это даже всегда страшно, кажется, что он преступник . . . Прежде становилось светлее, когда он входил в комнату. А теперь? Неужели я люблю его меньше? Конечно, нет! Хороша бы я была без

него! Все-таки он мог бы подойти ко мне, ведь я здесь одна и никого не знаю. . . Господи, зачем этот праздник, где половина людей пьяна, а другая делает вид, будто очень весело. Хоть бы скорее эта комедия кончилась! Он сказал: «Уедем на следующий день». «Давно пора!»— думала Наташа.

«Верно, ее муж,— огорченно сказал себе Джим.— Хорошо бы с ней познакомиться, но кто меня представит?»

Громкоговоритель на трех языках объявил, что наверху в третьем этаже сейчас начнется спектакль марионеток. Часть публики отхлынула от столов буфета. Дама вздохнула и тоже пошла наверх. Джим нерешительно последовал за ней. Отовсюду доносилась музыка. «. . . Di te, Venezia, E il simbol vero»,— пел тенор. «Прекрасно поет»,— думал Джим. Ему полагалось бы испытывать отвращение от всего, что происходило во дворце. Но по-настоящему ему тут была противна только Эдда, очевидно продавшаяся этому богачу. Он видел, как она сидела на троне, и издали поклонился ей. Догаресса величественно кивнула ему головой и с ласковой улыбкой заговорила с дожем. «Если б и не была шпионкой,— просто неправдоподобно антипатична! А дня три мне почти нравилась!»

Переполненный длинный зал кукольного театра со многими рядами стульев был ярко освещен. Впереди разместились «элита», а в задних рядах народ,— размещение произошло естественно, само собой. Занавес еще не был поднят. Впереди его на эстраде стоял кукольник, пожилой представительный итальянец во фраке и в белой мантии. Он на не очень правильном французском языке, но в совершенстве передавая все интонации французской речи, рассказывал историю марионеток. Джим окинул зал взглядом и сел с края у двери. «Куда же она делась?»— спросил он себя и увидел ее там, где сначала и не искал: она сидела с простыми людьми, в последнем ряду и слушала очень внимательно. Прислушался и Джим. Вдруг человек на эстраде заговорил так же хорошо по-английски и женским голосом. Публика не сразу поняла. Послышался смех. Теперь кукольник рассказывал содержание пьесы. Она была о роялистах, заговорщиках и шпионах в пору французской революции. По его словам, среди полишинелей тогда были роялисты, заговорщики, шпионы и многие из них были казнены.

«Вот бы у меня была такая жена! Теперь и дело есть в жизни!— думал Джим, с новой радостью вспомнив о Монтеверде.— Любовь и труд, интересный труд, больше ничего не надо. На военной службе я все же останусь, нельзя в двадцать шесть лет жить на деньги дяди. Бедный дядя! Он думает, что провел мудрую жизнь! Ну что ж, я его переубедить не могу, как он не может переубедить меня. Это не мешает ему быть прекрасным человеком. И что бы ни говорили мизантропы, на свете преобладают хорошие люди, во всех есть хорошее, может быть и в Эдде. . . Я не хочу никому мешать, пусть только и мне не мешают. . . Не буду композитором, так буду историком музыки. И женюсь — вот на такой, как эта!— думал он, почти влюбленно глядя на даму в последнем ряду.— Я не знаю, кто она, но я хотел бы, чтобы меня полюбила такая!»

Кукольник кончил, поклонился публике и взбежал по лесенке на свою

закрытую вышку, откуда он управлял сетью проволочек. Свет в зале погас. Невидимый оркестр заиграл что-то старинное,— и неизвестное Джиму, и как будто ему теперь знакомое. «Право, похоже на балет Монтеверде!» Занавес поднялся.

Часам к десяти дисциплина во дворце ослабла. Снизу доносился радостный гул. Весело было и в бельэтаже. Дождь и догаресса покинули троны. Рамон переходил из залы в залу, приветливо отвечал жестами на восторженные приветствия и приказывал лакеям откупоривать все новые бутылки. Отдельно от него, с хозяйски-королевским видом, поддерживая левой рукой шлейф, гуляла догаресса. Ей тоже что-то кричали. Она посылала толпе воздушные поцелуи, останавливалась у каждого стола и выпивала полный бокал. Голова у нее кружилась. Останавливалась и перед зеркалами; каждое говорило ей, что она прекраснейшая из женщин.

В одной из зал ей попался Шелль. Несмотря на то, что она была так счастлива, лицо у Эдды чуть дернулось от злобы. Повелительным жестом догарессы она показала ему, что хочет с ним поговорить. «Ничего не поделаешь. Все равно завтра уезжаем... Наташа наверху»,— подумал он. Один из салонов не был отведен под праздник. Он почтительно повел туда догарессу. Они сели в кресла.

— Ты великолепна, дитя мое,— сказал он.— Я лучшей догарессы никогда в жизни не встречал!

— Ты тоже великолепен. Но ты подлец из подлецов!— ответила она. Шелль поднял брови.

— За что такая немилость, женщина великого гнева?

— Подлец из подлецов!.. Ты говорил, что я дура, да? Дэ как дубина, а как ахинея, да? Я и умом, и инстинктом почувствовала правду! Твой патрон мне сказал, что ты женат! И эту твою ободранную жену ты выдал мне за его любовницу! Все-таки есть предел и бесстыдству, и вранью! Я чуть в обморок не упала, когда он меня спросил, знакома ли я с твоей женой!

— «Чуть» не считается,— сказал Шелль.— Тебе было бы и очень невыгодно падать в обморок. «По понятным причинам», как пишут литераторы.

— Если я не упала, то только потому, что ты мне давно опротивел! Но я скажу ему все!

— И то скажешь, кохана, что ты советская шпионка?

На это она не сразу нашла ответ.

— Ты еще, по-видимому, и шантажист, в дополнение к другим твоим достоинствам?.. Я оболью ее царской водкой!

— Ты всех коварных соперниц обливаешь царской водкой. Это не принято: надо обливать серной кислотой. Все же не советую,— сказал он, и глаза у него стали злыми и жестокими. Эдда испугалась.— Я имею основания думать, что царская водка потом попала бы на твое собственное личико. Будем говорить серьезно. Ну да, я женился, что же из этого? Это было мое право: я еще в Берлине заметил, что я тебе опротивел. Это мне причинило тяжкие душевные мучения. И еще больше то, что ты сошлась с молодым американцем. Тебе все можно, да?

— Кто она такая? Он называл ее «Натали». Ты был на ней женат еще в Берлине?

— Нет. Ты отлично знаешь, что я любил тебя и одну тебя. Пока ты меня не бросила . . . Ты величественна, как Хо Ши Мин. Имя Хо Ши Мин значит: «Тот, кто сверкает».

— Как мне надоели твои глупые шутки! . . . Меня никто не бросал! Я бросила и двух своих мужей. Один, как ты знаешь, был законный, настоящий, а другой почти настоящий.

— Я думал, почти настоящих было больше?

— Х-хам! . . . Чем же ты занимался после того, как я тебя бросила?

— Тем, что рвал на себе волосы. Оправившись же немного от потрясения, решил, что насильно мил не будешь. Я и хочу расстаться с тобой полюбовно. Согласись, что я тебя осчастливил. Без меня тебе было бы дождя не видать, как своих ушей. Он уже твой любовник или только станет им в ближайшие часы?

— Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается . . . У него равнодушные черные глаза, я этого не люблю. Глаза должны быть огненные или стальные, как у тебя.

— У него глаза хорошие. Левый зрачок светлее правого.

— Этого я не заметила. Он не понимает, что такое настоящая любовь! Для него это, верно, то же самое, что хороший обед. Я сама люблю тонкие блюда и изысканные вина, но разве это то же самое! Разве из тонких блюд и изысканных вин можно сделать трагедию? Даже Джим лучше! Хотя для меня он слишком чист.

— А я?

— Ты тоже многого не понимаешь, но ты другое дело . . . Она русская? Просто, верно, какая-нибудь Наташка-горняшка?

— Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается.

— Она здесь? Я ее не видела. Даю голову на отсечение, что и она тебя бросит.

— Неужели даешь голову на отсечение? Нотариус такого соглашения не засвидетельствует.

— Напрасно ты мне не веришь. Во мне сидит колдунья!

— Сидит, но очень глупая . . . Постой! Что это? На твоей короне поддельные бриллианты заменены настоящими? Кинжал в грудь по самую рукоятку!

— Ты думаешь, он мне ее подарит?— с беспокойством спросила Эдда.

— Это возможно. Если ты будешь хорошо себя вести, я посоветую ему подарить ее тебе. Вообще он тебя озолотит. И ты этим будешь обязана всецело мне.

— Я знаю, что он тебя ценит. Просто не могу этого понять. Но я ему открою на тебя глаза.

— Тогда и я ему открою на тебя глаза. А какой у тебя теперь комплекс? Клеопатры или Мессалины? Написала новые стихи?

— Теперь я пишу простые, классические. Как Виктор Гюго. Впрочем, я испытала и сильное влияние Ти-Эс Эллиота. Он замечательный поэт!

— Но ведь он, кажется, очень правый, роялист?

— Поэзия выше всего этого! И я всегда ненавидела все серединное,

это совершенно не для меня. Я и у средних портных никогда не одевалась. То есть одевалась, но с презрением. Одеваться, так у Кристиан Диор. И как досадно, что именно теперь, когда есть деньги, поехать в Париж нельзя! Это тоже твоя вина . . . А твои люди монолиты это так vieux jeu! Я начинаю думать, что и в ролялизме есть своя прелесть. Ты когда-нибудь слышал: «Oh, Richard, oh, mon roi?»

— Нет. И полковник, верно, тоже не слышал. Поэтому ему лучше этого не говори.

— Я с ним наладила очень хорошие отношения. Он хамоват, но, кажется, я ему понравилась,— сказала Эдда с застенчивой улыбкой. Она вообще смотрела на свое участие в разведке как на милую, забавную проказу; даже не очень ясно понимала, кому она собственно служит.

— Это отлично и даже совершенно необходимо. И мы с тобой, повторяю, должны расстаться по-хорошему. Мы друг друга знаем и любим. Заключим gentleman agreement. Очень советую тебе болтать поменьше. Тогда я о тебе не скажу ничего, кроме самого лучшего. Веди себя с Рамоном вообще тихо. Не устраивай истерик, разве только простые маленькие сцены. Ты, впрочем, не истеричка, то есть ты устраиваешь истерики редко. Но имей в виду, что он первобытен и вспыльчив, может дать тебе и по уху. Против этого ты, вероятно, ничего иметь не будешь, однако и щедрости у него убавится. И у тебя больше не будет тонких блюд и изысканных вин. Что бы он тебе ни говорил, отвечай: «Я именно это хотела сказать!» или: «Я именно это хотела предложить!» Восторгайся его идеями. Можешь восторгаться и его элегантностью. Впрочем, он в самом деле элегантен. Ему полагалось бы, например, носить такие галстуки с полосками и с цветочками, от которых колокола начинали бы бить набат. А у него галстуки одноцветные, без рисунков, очень хорошие. Как у меня . . . Ну а теперь, сиятельная догаресса, ты должна вернуться к твоим подданным, на «машкараду», как сказал бы твой шут-полковник. Выйди первая, одна. А почему ты без хари? . . . В старину маска называлась харей.

— Ты боишься, как бы Наташка-горняшка не увидела нас вместе? Все равно я в любую минуту могу тебя у нее отбить. Я полжизни отдала бы, чтобы она от тебя сбежала!

— Неужели полжизни? Я боюсь, как бы нас не увидел вместе дож. Он тогда сбросит меня с балкона в Большой канал. Это, кажется, в «Лебедином озере» два танцора танцуют на высокой скале и на каком-то антраша один сбрасывает другого со скалы в пучину. Кроме того, ты тогда не получишь короны.

— Ну хорошо, так и быть, я согласна на gentleman agreement. Только ввиду моего огромного успеха . . . Ты на меня всегда имел влияние. Ты один! Я объясняю себе это тем, что имела неосторожность тебе отдаться в первый же день нашего знакомства. Это страшно важно!

— На какой день вашего знакомства ты отдалась Джиму?

— Также в первый день, но это было по долгу службы.

— А Рамону?

— Рамону на второй.

— Держись за него, кохана.

— Постараюсь. Меня не забывают мужчины, которых я бросаю. И ты не забудешь. «Tu ne quitteras plus les hontes triomphales. Qu'inventa, une nuit, mon vieux démon charnel!»,— грозно продекламировала она.

— Это твои стихи? Или только тобою исправленные?

— Как у меня теперь синяки под глазами? Меньше или больше?

— Гораздо меньше. Никаких синяков. Только вот что, дочь моя постарайся изо всех сил твоего небольшого умишки. Глотай все, что попадется, с жадностью, как щука. Брать с Рамона деньги— это угодное Богу дело. Тотчас произведи рокировку, как в шахматах. Обеспечь себя. Высоси из него тридцать шесть миллионов золотых франков, как маркиза Помпадур у Людовика XV.

— Я уже от тебя два раза слышала о Помпадур. Ты повторяешься. . . Теперь скажи мне тридцать раз les mot de Cambronne.

— Это еще зачем?

— Разве ты не знаешь, что таков старинный обычай во всех театрах Франции? В случае успеха надо сказать артистке le mot de Cambronne.

— Я не могу произнести такое слово на коронации дожа.

— На ухо,— предложила она, подставляя ему щеку.

— На ухо, пожалуй, скажу с удовольствием.

Оставшись один, он закурил новую папиросу, курил теперь беспрерывно. «Ах, как скучно! Смерть мухам. Просто сил нет!— думал он.— Какой идиотский праздник! За последние годы таких было три или четыре. Левый социолог увидел бы в этом символ обреченности буржуазной культуры. Может быть, но и она лучше того, что может прийти ей на смену. И это в моей жизни далеко не самое худшее. . . Как ужасен тот мир, в котором я прожил почти всю жизнь! Уж если я сам задыхаюсь, «подлец из подлецов», как она сказала. Просто поверить трудно. . . Ведь есть в мире светлое, есть столько хороших людей, почему мне так не повезло в жизни? . . Но теперь я навсегда вылезу из грязи. Завтра уедем. . . Что я делал бы без Наташи? . .»

В одной из гостиных он наткнулся на Рамона.

— Ну, что, как по-вашему? Все хорошо?

— Изумительно. Ваш праздник перейдет в историю.

— Теперь и вы видите, что может сделать частный человек, сознающий свои обязанности!.. Выражаю вам благодарность за помощь и советы.

— Я сдал последние счета и остаток ваших денег секретарше,— сказал Шелль.— Как вы знаете, мы завтра вечером уезжаем. Завтра и я, и, вероятно, вы будем заняты целый день. Позвольте с вами проститься.

— Я приеду на вокзал.

— Это очень мило, но зачем вам беспокоиться? Как хотите. Тогда простимся на вокзале.

— Вы сейчас уезжаете домой? Неужели не останетесь до конца праздника?

— Нет, у меня сильно болит голова.

Голова у него действительно болела. И никогда еще он к себе не чувствовал такого отвращения, как теперь. Шелль не опасался, что Эдда

обольет Наташу «царской водкой», но, как с ним иногда бывало, его вдруг стало мучить неясное предчувствие больших несчастий. «Ни малейших оснований нет, напротив, все в полном порядке... Где Наташа? Сейчас же домой, сию минуту».

Он поднялся по лестнице и вошел в зал, не обращая внимания ни на марионеток, ни на публику, недовольно на него оглядывавшуюся. В полутьме тотчас разыскал взглядом Наташу. «Она, наверное, в самом последнем ряду. Да, у нее inferiority complex, а у меня острая неврастения, одно стоит другого». Он подошел к Наташе сзади и, наклонившись над ее стулом, спросил:

— Тебе, вероятно, очень скучно? Поедем домой, а?

— Отлично, поедем,— ответила она шепотом, удивленно на него глядя.— Ведь ты говорил, что часа в три... Хочешь сейчас? Теперь не особенно удобно уходить, люди и то косятся...

— Пусть косятся сколько им угодно, пропади они пропадом,— сказал он, злобно глядя на публику.— Мы с утра едем на Лидо, надо выспаться. Впрочем, мне надо еще проститься с секретаршей. Я спущусь и вызову нашу гондолу. Через четверть часа буду ждать тебя внизу, у двери. Хорошо?— сказал он и, не дожидаясь ответа, не взглянув даже на сцену, отошел. Наташа с испугом смотрела ему вслед. «Что с ним?»

Пышно одетые большие куклы с размалеванными лицами, с тщательно завитыми волосами бегали по сцене, разговаривали, вращали глазами на неподвижных лицах. Джим просто не мог поверить, что за них говорит и приводит их в движение один, теперь невидимый, человек на вышке. Была и карусель; Робеспьер гонялся за Марией-Антуанеттой. Элита в первых рядах оценила символ и одобрительно кивала. «Это, кажется, последнее слово искусства»,— с недоумением подумал Джим, вспоминая парижскую драму, которую видел с Эддой. Шпионка с лисьей мордой была наконец поймана. При ней нашли бумагу с какими-то цифрами.

Наташа вдруг почувствовала сердечную боль. «Что такое? Что случилось?..» Вспомнила не сразу: тот листок, выпавший из словаря: 320... «Ну и что же? Какой вздор опять!..»

У нее вдруг полились из глаз слезы. Уже через час после того она и понять не могла, что такое с ней случилось. Но теперь самые странные, самые неожиданные мысли вдруг ею овладели. «Неужто ошибка? Неужто все было ошибкой! Не может быть! Я просто схожу с ума... А если ошибка, то что же теперь делать? Уйти в монастырь! Сейчас вернуться в гостиницу, собрать вещи, мои прежние вещи, и уехать, ничего не сказав?.. На его деньги уехать! В какой монастырь! Нет тут православных монастырей... И я люблю его... Что мне делать?.. Не надо плакать, люди могут заметить... Темно, не увидят. Разве я могу от него уехать, хотя бы он был темный человек! Нет, мне померещилось, как тогда на Капри во сне. Все от него скрыть... Конечно, конечно, скрыть... А он говорил, что я не умею лгать... Все вздор, все!»— прикрикнула она на себя. Слезы у нее лились все сильнее.

Джим увидел, что к концу представления к даме опять подошел тот

же великан-телохранитель. «Да, конечно, муж. У нее никакого cavalier servant по венецианской моде нет и быть не может,— подумал Джим со вздохом.— Такую жену и хотел бы иметь, но непременно американку. Жениться нужно на своей.

Куклы плясали на площади вокруг гильотины и страшно кричали хриплыми голосами. Оркестр играл в бешеном темпе. Так же бешено пели куклы: «Ah, sa ira, sa ira, sa ira! Les aristocrates á la lanterne! . .» Народ в глубине зала бурно аплодировал, но без злобы. Аплодировала и элита. «Самая подходящая здесь музыка!— подумал Джим. Впрочем, он был настроен не революционно.— Все это гадко, революции, гильотины, войны, разведки! Нет, моя задача в жизни ясна и чиста: любовь, искусство, труд, больше ничего мне не нужно. И пусть они делают, что им угодно!»

Окончание следует.

---

ПОЧТА "ДАУГАВЫ"

## ПОЗДРАВЛЯЮ!

От всего сердца поздравляю вас и Латвию с обретением свободы и независимости! Восхищен большим мужеством небольшого народа, который сумел сбросить коммунистическое иго после пятидесятилетней оккупации.

В 1944 году я был погрязен, когда увидел, как живут эстонские крестьяне. Тогда-то я и понял, что нас дурачат.

Я уверен, что пройдет совсем немного времени и россиянам не нужно будет ездить за тридевять земель, чтобы увидеть, как должны жить люди: достаточно будет побывать в Риге...

С наилучшими пожеланиями ваш постоянный читатель, ветеран второй мировой войны

Михаил Гостев, г.Бэрэ эн ж

# НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ И ДВОЕ ОДИНОКИХ

Перевел Леонид ЧЕРЕВИЧНИК

Латышский поэт, прозаик, классик латышской литературы Янис ПОРУК родился 13 октября 1871 года в Друвиенской волости Лифляндской губернии в крестьянской семье. Учился в Цесисском городском училище, подготовительном классе Дрезденской консерватории, Рижском политехническом институте, занимался журналистикой, с 1889 года публиковал свои стихотворения и рассказы. В 1906 году вышел сборник Я. Порука «Стихи».

Умер Я.Порук в 1911 году в Дерпте.

Наиболее полное /четвертое/ собрание сочинений Я.Порука в двадцати томах издано в 1929—1930 годах. В переводе на русский язык стихи Я.Порука публиковались в книгах: Сборник латышской литературы. Петроград, 1916; Латышские поэты в переводах Виктора Третьякова. Рига, 1931; Антология латышской поэзии в двух томах. М.: Л., 1959, т.1; Поэты Латвии. Л., 1974; Поэзия народов СССР XIX — начала XX века. М., 1977; Пути огня. Рига, 1986; На вешних ветрах. М., 1988.

\*\*\*

Белый седой Владыка,  
восседающий на престоле,  
словом творящий миры,  
мановением возжигающий звезды,  
у чьих ног цветут белые розы,  
кто создал красоту и добро,  
кто все исполняет любовью,—  
тебя люблю я...

\*\*\*

Бледноликий дерзостный Демон  
с иссиня-черными волосами,  
с острым пронзительным взором,  
с язвительной, скорбной усмешкой,  
тебя люблю я...  
Веди меня во тьму,  
веди меня в ночь,—  
кто не видит во тьме,  
тот недостойн и света!  
Тьму проклинает  
лишь ум закоснелый,  
кто немощен зреньем и слеп душою,  
отличающий добро от зла,  
черное от белого,  
кто с потешным самодовольством  
или из робости,  
наивности глупой  
свет превозносит в хвалебных песнях!  
Тьма для меня великая тайна,  
странный, загадочный  
мир отраженный;  
я верю, что тьма —  
невидимый зреньем телесным  
невообразимый свет!

\*\*\*

Кто все понимает,  
тот все любит;  
кто все любит, тот  
Бог!  
Кто все разрушает,  
тот все ненавидит;  
кто все ненавидит, тот  
Дьявол!  
Эти двое  
мои идеалы, и третий,  
высший мой идеал —  
Неосуществленное.

\*\*\*

Над престолами двух одиноких  
витают Оно,  
как сверкающий дым,  
золотистый тающий дух,  
белый шелк в сиянии лунном,—  
невесомое, безмятежное,  
вне времен и вне пространств,  
вне миров и вне явлений,  
вне рождения и смерти.  
Над престолами одиноких  
витают неслышное,  
незримое,  
но всегда ощущаемое.  
Каждую нашу мысль,  
наше каждое чувство  
дух Его пронизывает;  
тоска — Его властный зов,  
Его всеокрушающая сила.  
Тоска пренебрегает прошедшим и настоящим  
в надежде,  
что Неосуществленное осуществится —  
тоска как жажда  
горит вокруг обоих престолов,  
тоска поднимает душу мою  
все выше и выше,  
откуда яснее виден убогий  
сумрачный мир.  
Тоска — в пламени солнца,  
в бледном лунном сиянии,  
тоска мерцает  
в алмазах звезд;  
розы и лилии томятся в тоске,  
и воды, гонимые тоской,  
катятся в море.  
От Неосуществленного исходит тоска,  
тоска  
по тому, чего не было,  
нет и не будет —

и эта тоска накрепко связывает оба престола.  
Как враждующих уравнивает небытие,  
так и одинокие объединяются в Неосуществленном,  
изнывая от тоски  
по самому прекрасному, самому совершенному.  
Они бросились бы друг другу в объятия,  
примирились бы, но их  
разделяет и друг от друга отталкивает  
прошлое, настоящее и  
убогое будущее,  
это выкрикиваемое, вырываемое с воплями будущее,  
на которое оба они глядят с горькой усмешкой.

\*\*\*

Так Неосуществленное  
соединяет враждующих,  
все любят Его  
как возвышенное,  
как прекрасное, как идеал,—  
о котором оба одиноких  
думают непрестанно.

\*\*\*

Год за годом  
смерть отнимала у вечности,  
все, что создано было,  
рушилось, новое возводилось;  
призрачная кипела работа в пространствах вселенной,  
смерть повсюду  
верх одерживала над жизнью  
и своей леденящей силой  
в сон ее погружала.  
Возникали и исчезали народы,  
приходили и погибали герои,  
кровь на земле и слезы лились.  
Из-за жажды наживы и почестей,  
гнева и возмущения жертв,  
из-за раздоров и споров  
гром войны гремел под небесами.  
Король короля ненавидел,  
себя обожествляя,  
меч лицемерный и дерзкий  
насаждал справедливость,  
безумие было  
для людей образцом достойным,  
повсюду — горе, бесчестье, разруха;  
тысячи лет все это длилось.  
Одинокие оба смотрели эту безумную драму,  
упрекали друг друга, винули друг друга  
в бедах людских,  
в том, что мир в невежестве задыхался.  
Плакал белый седой Владыка,  
бледнолицый Демон  
смеялся

громко так, что смех его грохотал  
вместе с грозным рокотом грома в небе.  
Из слез белого седого Владыки  
образовался поток хрустальный  
и устремился  
к престолу Демона,  
к его подножию, где пламенела  
притолока врат преисподней . . .  
Слезы мощным потоком  
низверглись в вечное пламя ада,  
дым, испарения  
ввысь взмело с чудовищной силой.  
Ад клокотал,  
пар шипел,  
вздыхая клубами,  
затемняя прозрачно-чистый  
небесный свод.  
Земля сотрясалась  
от мощных ударов пара,  
врата преисподней  
снесло как горелую щепку,—  
так в аду родилась  
дочь седого Владыки,—  
когда рассеялся пар,  
она меж двумя престолами  
прекрасная как чудо  
стояла;  
и звучным голосом  
белый Владыка воззвал к ней: «Иди сюда,  
мое Сострадание!»  
И Демон смотрел на нее  
внимательным взором,—  
в его владении,  
в мире скорби и боли  
родилась новая владычица человечества  
Жалость.  
Прекрасная дева страдала,  
когда они оба  
простирали к ней руки.  
Демон в ней видел добычу  
для услаждения,  
и она отвернулась от Демона,  
от его престола,  
внимая седому Владыке,  
чьим голосом говорили  
страшные муки людские.  
Но еще до того, как понять  
то, что есть и  
что было,  
она знала уже —  
совершенней всего  
Неосуществленное,  
витавшее над ней  
как дуновение мая.

\*\*\*

И она его полюбила,  
Того, Кого не было и никогда не будет.  
В своей тоске  
она устремилась к Нему, но Оно  
как видение сна ускользало из ее объятий  
и она слезами горячими  
след Его орошала.

\*\*\*

Белый седой Владыка  
взял Жалость к себе,  
заклучил в свое лоно,  
и вылетела от его поцелуя  
Любовь,  
в его объятиях  
расцвели пунцовые розы,  
и нежность вынесла в мир его славу.  
И люди  
ожили от радостной вести,  
как бы обдавшей их теплым дыханием неба,  
братом стал называть  
человек человека,  
сестра узнавала сестру;  
немного любви,  
сострадания и справедливости  
появилось в мире.

\*\*\*

И Неосуществленное  
приняло человеческий облик,  
но люди говорили,  
что это не человек,  
это и не  
Предвечный,  
и — не Сущий,  
кому и впредь надо быть и страдать;  
Неосуществленное — остается Неосуществленным,  
человек — человеком.  
И все же новое что-то  
души человеческой коснулось,  
люди пытались постичь  
смысл сокровенный явлений,  
прежде когда-то простых и бесспорных,  
ныне — таких непонятных;  
и люди любовь восславляли,  
посвящали Неосуществленному и Состраданию  
сérдца звучные песни . . .

\*\*\*

И Демон

свой острый сверкающий взор  
отвел от седого Владыки  
и в ярости трижды плюнул —  
из-под престола Демона выползла  
сизая, вращающая глазами  
Ненависть.

«Иди, разжигай свой костер,  
и пусть весь мир запылает,  
пусть развеется слава Любви —  
ничтожна она, преходяща, позорна  
и может седого Владыку навек обесславить!  
Иди же, и мир подними на борьбу,  
ибо в любви человек смешон,  
но в безумии битвы лик его мне по нраву.  
Иди, разжигай свой костер!»—  
Так говорил ей Демон.

Ненависть спустилась на землю тропею сверкающей пламени,  
соединявшей земную сферу с небесной.

И запылал ее мощный костер,  
пламенем были объаты люди, растения, звери,  
даже скала раскалилась от злости и раскололась  
и злобно шипела, погружаясь в пучину морскую;  
солнце дымом застлало:  
словно кровавое око  
сквозь чад горячий оно глядело,  
как человек иступленно бросался на человека,  
как извергали пламя стволы орудий...

\*\*\*

Тогда белый седой Владыка  
молвил, возвысив голос:

«Значит, ты никого не любишь, Демон,  
если можешь Ненависть разжечь такую?»

«Я люблю лишь одно,—

воскликнул Демон,—

я люблю Неосуществленное!»

И белый седой Владыка поник головою,  
он склонился

над подлокотником трона

и сказал печально:

«И я Его больше всего люблю!

И так как мы

в Сущем, Предвечном и в том, что грядет,  
разобщены,

но оба любим одно,

любим больше всего Неосуществленное,—

вознесем же Его над собой,

возведем на единый могучий престол,

а сами исчезнем бесследно...

Пусть приходит и властвует наш Идеал,

пусть приходит и властвует

Неосуществленное!»

\*\*\*

«Я презираю Небытие,  
так же как мир и тебя,  
и мое Неосуществленное  
на твое непохоже.  
Не было бы тебя,  
Оно бы уже пришло,  
но из-за тебя —  
утрачено мною навеки!»  
И отвратил Демон свой лик  
от трона Владыки.

\*\*\*

Но из пламени мирового  
возрожденное, прекрасное как феникс  
восстало Неосуществленное,—  
ни Владыка, ни дерзостный Демон  
Его не увидели,  
как молния реяло Оно  
на распластанных крыльях  
пространствами вечности,  
хотело Оно отделить  
свою ясность прозрачную  
от мрачных владений обоих одиноких,  
где повсюду уже царил  
дух смерти и тлена.

\*\*\*

Славит душа моя  
Неосуществленное.  
Она оживает лишь в ясности,  
к которой стремится.  
Милые воспоминания  
заменяют мне рай, и вера  
нежные свои открывает объятия,  
дарит ласковый поцелуй  
и усыпляет мой разум, чтобы он не мешал  
сладко грезить о том, как придет  
Неосуществленное и будет властвовать в мире,  
и повсюду блаженный покой воцарится —  
будут жаждать чудес  
наши скорбные души.

\*\*\*

На высокой белой скале  
на берегу шумящего моря  
скрытые облаками  
невидимые нам  
стоят престолы обоих одимокых.  
И то, что для нас пространство и время,  
то у них в вышине бесконечность и вечность.  
Наша боль преходяща,  
преходящи заботы,  
их же страданиям длиться вечно.

Что им  
Любовь и Сострадание,  
что им Ненависть и все эти проклятия,  
что избавление и святость,  
что ад и рай?—  
все это давно уже ими познанная  
пустота.  
Мы исследуем мир,  
они уже всё изучили.  
Мы совершаем открытия,  
они всё открыли уже и  
нашли пустоту.  
Они не верят друг другу  
и всё же — творят миры.  
Несчастные,  
вечно скорбящие  
ждут  
и ждут они  
Неосуществленное . . .

\*\*\*

И, может быть, вновь свершится чудо —  
Неосуществленное  
осуществится!  
И, может быть, Оно соберет  
пылинки нашего праха,  
новые образы создаст,  
соединит частицы наших разметанных душ,  
некогда радостно плававших  
в прозрачном эфире,  
и гении возвестят с высот:  
«Да будет жизнь! Явьсь, настоящая!  
Займись, священное  
утро мира!  
Мир и жизнь —  
брат и сестра!  
Неосуществимое  
явлено в мире!»

\*\*\*

Чудо,  
истинно — чудо  
да снизойдет на всех нас!

#### **Pro autore**

Неосуществленное  
предо мною возникло  
как видение сна,  
которого в яви своей мы мучительно жаждем,—  
в нежно-розовом свете,  
сладозвучное, ясное.  
Грандиозной мраморной колоннадой  
Оно ввысь восходило  
в ослепительном нимбе.  
Я стою на земле,

в этом, переполненном чадным дымом,  
завистью и враждой  
суетном имре,  
и простираю руки к Неосуществленному.  
Но Оно отворачивается  
от горькой реальности,  
от меня,  
от Сизифа и Данаид.  
И я слышу голос с высот:  
«Не жди меня!»

.....

FINIS

### Отзвуки песни

#### «Неосуществленное и двое одиноких»

«Не жди меня!»

Этот голос я слышу  
в ночи молчащей,—  
глагол предвечный, явивший миру  
ничтожество наше и Его славу.

«Не жди меня!»—

ранит душу,  
ибо я люблю Его,  
Неосуществленное.

«Не жди меня!»—

как трубный глас,  
и вопль мой отчаянный  
теряется в нем, как крик заплутавшего путника  
в гудящем лесу безжалостной жизни.  
«Не жди меня!»

«Не жди меня!»

Глухой мой кладбищенский звон,  
как бубенчики против этого голоса,  
его мощного зова.  
«Не жди меня!»

\*\*\*

«Я люблю Неосуществленное!»  
Это вздорная выдумка Демона —  
любить то, чего нет!  
Да и может ли Демон любить? . .  
И всё же Неосуществленного  
дух его жаждет.  
Лишь Оно  
порождает страстные споры  
о Сущем;  
лишь Оно  
отворяет врата  
к божественному  
храму любви.  
И если Демон полюбит — тогда  
миру конец.

# ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сегодня мы представляем читателю двух латышских писателей, чьи имена ему доселе были неизвестны.

Поэт и прозаик Рута Скуиня родилась 28 мая 1907 года в Видрижи, в семье лесничего на хуторе «Крауклиши». Окончила гимназию в Риге, служила в государственном учреждении, по вечерам продолжала учиться в Латвийском университете. Первое стихотворение опубликовала в журнале «Domas» в 1926 году. С 1934 года жизнь Р.Скуини связана с журналистом и писателем Юлием Лацисом. В 1941 году Ю. Лацис был репрессирован, 15 декабря того же года погиб.

В 1944 году Рута Скуиня с двумя дочерьми отправляется в эмиграцию. В США, в Каламазу (штат Мичиган), она умерла в 1964 году от неизлечимой болезни.

В литературном наследии писательницы пятнадцать книг, многие из которых переиздавались. Из книг, написанных еще на родине, нужно назвать поэтический сборник «Корабли» и роман «Звездные дети», посвященный трагической судьбе сестры писательницы — поэтессы Аустры Скуини (1909—1932), стихи для детей.

В эмиграции, сначала в Германии, затем в США, она опубликовала две книги стихов — «Птицы» и «Все дышит под солнцем», сборник эссе, книгу воспоминаний «Ветер швыряет чаек» (1964).

Урна с прахом латышской писательницы была доставлена на родину, на Лесное кладбище, в сентябре 1964 года. Теперь в Латвию начинают возвращаться ее произведения.

\*\*\*

Девять книг — четыре романа: «Осужденный», «Гибель души», «Осадок», «Охота на людей», около сорока рассказов и новелл в сборниках: «Божья мартышка», «Высокая песня геройства», «Путь к концу света», «Высокая песня эмиграции» — все это литературное наследие Гунтиса Зариньша. Сорок пять лет жизни, двадцать — литературной работы, — таков его жизненный путь. Родившийся 18 апреля 1920 года в Риге и трагически ушедший из жизни 10 сентября 1966 года в Лондоне, писатель принадлежал к поколению, чья молодость пришла на годы второй мировой войны.

Детство и школьные годы в Риге. Учеба во Французском лицее, интерес к литературе и первое стихотворение. Жажда приключений.

Юность и 1941 год. Вместе с отцом-торговцем Гунтис попадает в тюрьму. Немецкие оккупанты освобождают его из тюрьмы, облачают в серо-голубой солдатский мундир и швыряют в адский котел войны, где в агонии смерти и уничтожения вызывает отчаянный крик его души: выжить!

Когда ветры рассеяли дым последнего выстрела и рухнул от разрыва последней бомбы еще один дом в Берлине, Гунтис Зариньш осознал, что он — из тех немногих двадцатипятилетних, которые остались в живых.

Опубликовав в 1945 году первую новеллу, он лихорадочно продолжает работать, пишет рассказы и новеллы. Его учителя в литературе — Кафка, Рильке, Сартр, и в произведениях Гунтиса Зариньша чувствуется влияние как сюрреализма, так и экзистенциализма.

Проза писателя остросожетна, интригующа, порой иронична; в то же время пронизана своеобразным трагизмом, особенно в изображении событий второй мировой войны.

**Янис АНЕРАУД**

# МОИ САДЫ

Перевела Вика ДОРОШЕНКО

Сказать — мои сады — я вроде бы не вправе, земля ведь мне не принадлежит. Скорее можно бы сказать — мои деревья и цветы. Цветы распускаются, отцветают и вянут при моей жизни, а деревья остаются в наследство будущим поколениям. Если только кто-то не срубит их топором или же ураган не вывернет вместе с корнем.

Это чужая земля, и мне здесь не принадлежит ни пяди. Но я сажаю деревья и цветы, так как иначе не могу.

Ветер несет вдоль окна лепестки яблоневого и грушевого цвета. Несет уже который день. И все вокруг благоухает сиренью. И я воображаю: за урной с моим прахом идут все те сотни сотен многоцветных тюльпанов, что цветут сейчас на моих грядках, крупные и яркие,— это было бы красивое шествие.

Но и та земля не принадлежала ни мне, ни моему отцу, а Латвии, когда я девчужкой-подростком «облесяла» и обсаживала цветами спланированные отцом и больше десяти лет возделываемые огороды при нашей усадьбе.

Едва я вошла в тот возраст, когда лопата и грабли уже не падают из рук, меня больше не могли испугать ни воркотня отца, ни вздохи матери. Мне казалось, что вокруг дома должны цвести цветы и вдоль дорог, включая и поскотину,— расти деревья. Что листья кормовой свеклы и капусты можно нарвать и шагах в двухстах от дома.

— Да где они у нас, эти пашни и огороды?— развёл руками отец.— Лес вон сам подступает к дверям и окнам. А тебе все деревьев мало.

— Но в нашем парке нет рябины и дуба, и березы. . .— Больше мне нечего было назвать — ведь остальные деревья действительно росли в нашем саду и вдоль дороги, посаженные отцом. Посаженные тогда, когда он пришел в эту пущу новым лесником.

Березы и так много на конском выгоне, вон роща и за ручьем. Дубы оставлены на каждом лугу и среди поля. Также и рябина.

Но здоровье отца было уже подорвано. Я же — кровь с молоком и упругая, как ивовый прут. Победила я.

— Делянку белого клевера за сиреневыми кустами могла бы и оставить. На ней раз десять можно сделать укос для лошади.

— Нет, она мне нужна под цветы. Сколько же тут грядок по краю до сиреневых кустов! Сирень тоже выкопать — и вдоль ограды. Чтоб вся южная сторона дома до садовой ограды была в цветах.

— И ты думаешь со всем этим справиться? Не забывай, что всю весну и особенно летом цветы надо поливать. Воду на коромысле носить из колодца.

Отец смерил взглядом мои четырнадцатилетние хворостины-руки и хрупкие плечи.

— Исполщиков Рейнис обещал помочь вскопать дерн на клеверной делянке.

Отец вздохнул. Запряг в плуг лошадь и сам перевернул пласт на клеверном лужке.

Вот и хорошо!

Во второй половине лета мой цветник цвел восточным ковром. Там было все, что я только смогла найти в семенном каталоге Вагнера.

Росли и посаженные вдоль дороги дубы и березы.

Два года. Две яркие весны, два лета и осени мне казалось, что эта земля моя. Цветы и деревья мои.

Даже отец с матерью, особенно мать, вечерами долго ходили по чисто прорытым и посыпанным дорожкам между цветочными грядками. Мать наклонится бывало, сорвет цветок левкоя, резеды, матиолы или цветного горошка, принесет в дом и поставит на ночной столик.

Я была счастлива.

Потом отец умер. Власти прислали нового лесника. Нам пришлось оставить усадьбу.

Я и сейчас в мечтах часто туда возвращаюсь. Больше всего брожу вокруг своих цветов и деревьев.

Прошлым летом моя старшая сестра попала туда из Риги. Она писала, что это было похоже на паломничество. Только на месте моего цветника растет капуста и свекла. А деревья стали большие.

Мои деревья!

Потом, годы спустя, я сажала новый сад в предместьях Риги, в Межапарке.

На этот раз помогал мне настоящий садовник. Там уже не было, как в усадьбе, широких дорог и прогонов. Нам пришлось долго обдумывать, как на довольно маленьком участке земли высадить все деревья, что росли в моей пуще. Свой уголок нужен и для плодовых деревьев, сирени, жасмина. И еще — найти место для цветочных клумб. Получилось.

Но когда сажали этот сад, в Финляндии и Западной Европе уже рвались бомбы и грохотали пушки.

Я ходила за садовником по пятам.

— Мы сажаем этот сад, так чудесно размеченный. А что если война придет и на нашу землю? Если бомбы все это разрушат?

Что мы сами можем быть вырваны из домов, сорваны со своей земли, мне тогда и в голову не приходило.

— Не беспокойтесь, сударыня, — смахнул рукавом пот садовник. — Всю землю бомбы не разворотят. (Тогда еще не было атомной бомбы.) Допустим, разрушат и ваш дом. Если и в сад упадет бомба, остальные деревья уцелеют и будут цвести цветы. А яму от нее мы скоро заровняем и вместо погибшего дерева посадим новое. И хотя бы и нас самих убьет, деревья росли и будут расти. Они были первые и будут последними.

Слова садовника и сейчас звучат у меня в ушах: «деревья росли и будут расти. Они были первыми и будут последними».

Недавно я получила из дальнего далека фотографию — наш дом в Межапарке и сад. От дома почти ничего уж не видно: деревья переросли его и скрыли. Наши корни обрублены, а деревья прочно держатся в земле.

Мои деревья!

Когда я была в Германии, то в Фишбахском лагере успела принять участие в Днях леса. Среди соснового бора мы сажали липу, а березу — вдоль всей асфальтированной дороги, идущей вокруг и пересекающей лагерь.

И теперь — за тысячи миль от хутора лесника, от Межапарка, даже от Фишбаха — я снова сажаю и сею, так как не могу иначе.

Быть может, когда-то я была деревом или цветком, кустом сирени или жасмина? Откуда же иначе во мне те еретические, языческие чувства, что побуждают замирать в восторге при виде цветущей яблони, но частенько оставляют равнодушной на иной картинной выставке.

Когда я в пальцах разминаю землю, она пахнет так волшеббно, что мне хочется взять ее в рот, как хлеб. Прижать землистые ладони к лицу и закрыть все морщины.

Если бы вокруг урны с моим прахом сошлись все посаженные мной деревья, расцвели все цветы, которые я высадила в землю семенами или рассадой, вокруг зашумела бы целая роща и цвели бы бескрайние цветочные поля.

Человеку некуда было бы поставить ногу, чтобы не затоптать какой-нибудь цветок. И будь у меня еще голос, я бы крикнула — не топчите мою душу!

# КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

Перевела Вика ДОРОШЕНКО

У поездов нет памяти, у кораблей — следов, а от каникул, проведенных в суете, мало радости. Уже десятый день Индрик бродил по южному побережью Англии. Ни в одном селе не задерживался долго, ни в одном городе не провел больше двух дней, а каждый сделанный им шаг оставался в памяти. Ему повезло. Октябрь в Англии обыкновенно дождлив, как плаксивая жена, однако же на сей раз все десять дней были ясные. Порой Индрику казалось, что пройденный кусок пути он мысленно сматывает в клубок и кладет в рюкзак: он день ото дня тяжелел и идти становилось труднее. Десять дней — и вот он приближается к цели своего путешествия. Последние пять дней он обещал провести у своего брата Петра, который уже год как живет в маленьком приморском поселке. Не то чтобы ему не хотелось повидаться с Петером, он сколько раз думал поехать в гости, но что-то пугало, что-то удерживало. Десять дней Индрик бродил в одиночку, он даже не спрашивал дорогу, ему не хотелось делать что бы то ни было по указанию других. А брат? Петер все еще воспринимал Индрика как младшего. Отчитывал, поучал, подталкивал и хвалил. Как ребенка. Принять такое отношение от Петра еще куда ни шло, но и Анна, жена брата, стала усваивать его манеру, а она на два года младше Индрика!

Он поднимался в гору — за этим холмом должен открыться поселок, где живет Петер. На вершине холма кружится песчаный вихрь. На несколько миль окрест слышен грохот моря и завывание бури. С облаков, как с грязного белья, текут дождевые капли, разлетаясь на ветру тысячами брызг.

На вершине холма Индрика схватил в свои руки ветер. Тряс его и трепал — словно не желая впустить в вымерший поселок. На улицах ни души. Лишь в редких окнах при виде чужака мелькают любопытные лица. Петер писал, что его дом стоит в начале поселка. Сообщил цвет его, как выглядит калитка и неважные для такого местечка название улицы и номер дома. Индрик медленно продвигался против ветра. И через несколько шагов увидал нужный ему дом. Ураган набирал силу. Дом выглядел дружески, призывно, и все же Индрик прошел мимо. Песок скрипел на зубах, и каждый шаг стоил усилий, но ему хотелось увидеть море. Море, могучее, волно бушующее. Море, которое, как и жизнь может втянуть в себя людей и потом их выбросит, бледных, безжизненных. Через несколько сот шагов он посмотрел вниз с белых скал. Море гневно вздымало свои пенистые гребни. Разъяренными змеями бились о скалы волны, норовя достать дома поселка. Тысячи соленых брызг сыпались в лицо Индрику. Узкий пляж между морем и скалами утюжили волны. Казалось — море хочет стереть летние следы. Следы, оставленные людьми. Июнь, июль, август и сентябрь — месяцы шумные и ленивые, их море не любит.

Индрик стоял и думал. Почему он не может стереть следы прошлого? Почему не может набраться сил и смелости и стереть следы чужих советов? Почему все его учат и наставляют? Не потому ли, что он такой застенчивый? Безответный?

«Никогда тебе не подцепить девушку...» — вновь и вновь повторял Петер, и ему согласно вторила Анна.

«Заячья душа! Ты боишься юбок!» — говорил его товарищ по квартире в Лондоне.

Индрик никогда не находил, что ответить, но ему казалось, что они к нему несправедливы. Не боится он, но что же делать, если каждую такую попытку к сближению женщины принимают за милую шутку? В чем тут оплошность, если он просит у нее разрешения проводить ее домой после танцев? В чем тут оплошность, если он осмелится поцеловать женщину только с ее согласия? А чаще они согласия не дают . . .

Думать об этом нет никакого толку. Ему же еще только двадцать четыре года . . .

Индрик поддернул ремни рюкзака. Еще раз повернулся к морю. Оно буйствовало, билось и шипело, но скалы не подпускали его к людям. Море не стало бы с ними церемониться . . . Только скалы их защищали. Ветер крепчал. Песок мешался на лету с брызгами морской воды. Отпуск кончился. Индрик явится к брату, и буря в дом не проникнет. Море будет вить за окном, а в камине — потрескивать дрова. Никто не подойдет к морю слишком близко, никто больше не выйдет на скалистый берег разговаривать с морем. Отпуск кончился . . .

Индрик вернулся в поселок. Остановился у кондитерской. Надо что-то купить Анне. Он не мог решиться. Коробки конфет в витрине пожелтели от прошлогоднего солнца. Подарки! Почему люди всегда что-то дарят? Не дают, не берут, а дарят и принимают на лету с брызгами морского воздуха. Шоколадные конфеты? Марципановые? Горькие? Индрик направился к двери магазина. Из-за угла выскочила женщина. Низко надвинут платок на глаза. И прямо к Индрику в руки. Дождь и ветер рвали на ней одежду и волосы. Озорно, не спрашивая разрешения. Индрик держал женщину за плечи. Как это с ним случилось? Медленно отпустил он правую руку и кончиками пальцев поднял ее подбородок. Лицо все в каплях. В глазах удивление, и несколько прядей волос прилипло ко лбу. Молодая она? Красивая? Индрик не знал. Медленно склонился он над женщиной и губами коснулся ее рта. И тут произошло нечто такое, чего он не ждал. Женщина ответила на его поцелуй. Губами, руками и телом. Но тут же опомнилась.

— Пустите меня, пустите меня! — Индрик ее вовсе не держал. Женщина круто повернулась и убежала по ветреной улице. Бросилась в какие-то ворота и скрылась. Индрик встряхнулся, словно желая проснуться. Зашел в магазин и купил самую большую коробку конфет. И чуть не бегом направился к дому брата. «Незнакомка ответила на его поцелуй — без вопроса и ответа!»

Нетерпеливо стучал он в дверь братнина дома.

— Малыш! Наконец-то! — Отворив дверь, Петер приглашал в дом. — Где же ты так долго болтался?

— И совсем промок, бедняжка . . . — Анна вышла из кухни и чуть коснулась губами холодного и мокрого Индрикова лица.

— Привет, голубки! — смеялся Индрик, встряхиваясь, как мокрый пес. — Люблю бродить в дождь, я это часто делаю. Только что был у моря, красота какая . . .

Не то, что Индрик сказал, а как сказал, заставило Петера с Анной переглянуться. Когда Индрик поднялся по лестнице в отведенную ему комнату, он громко засмеялся. Он дома.

Наверху он быстро помылся, переоделся и потом спустился в гостиную, где его ждал брат. Петер сидел у камина и читал газету, медленно спустил ее с колен и перевел взгляд на брата.

— Где же ты был все эти десять дней? — Достал трубку и стал задумчиво ее набивать.

— Ходил и смотрел. Много повидал и увидел . . . — Индрик сел напротив брата.

— Ты бы увидел куда больше, если б приехал на пару дней раньше. Аннина двоюродная сестра Майя приехала к нам несколько дней тому назад. Ты ведь, наверно, о ней слышал?

Анна о сестре говорила часто. Дразнила Индрика и заставляла писать Майе письма. Он никогда этого не делал.

Дверь в гостиную открылась. В ней стояла женщина с ветреной улицы. По спине у Индрика побежали мурашки. Что она сделает? Засмеется? Расскажет брату и Анне? Это была Майя. Ему казалось, что нечто обретенное выскальзывает у него из рук. Но Майя не улыбалась. Была серьезна, быть может слишком серьезно. Глаза говорили, а рот молчал. И потом — всего одно слово:

— Здравствуйте!

Анна подала ужин. Индрик рассказал о своем путешествии. О работе в Лондоне и прочитанных книгах. Майя больше молчала, только взгляд ее следовал за ним неотступно. Анна спрашивала. Петер спрашивал, и Индрик рассказывал. Рассказывал еще и еще. Между ними царило, струилось и трепетало тихое необъяснимое понимание, столь же необъяснимое, как перемена погоды или человеческий характер.

---

## ПОЧТА "ДАУГАВЫ"

### ИСТОРИЯ И УЛИЦЫ

За время советской власти в Риге были переименованы почти все улицы. Улица Тербатес стала улицей Стучки. Кришьяна Валдемара стала улицей Горького. Марияс, или, как русские называли ее, Мариинская, стала улицей Суворова. Местные ставленники Кремля типа Арвида Пельше и Августа Воссса усердствовали в своем стремлении искоренить любое свидетельство о том, что Латвия была, пусть и не слишком долго, но самостоятельным и свободным государством. Даже улицу Бривибас (Свободы) не пощадили — как будто нельзя было найти другую, чтобы назвать ее именем великого вождя пролетариата!

Теперь произошел обратный процесс. Улицы снова переименовывают. Они получают старые названия. Это, конечно, справедливо. Но... и тут можно перестараться.

В названиях улиц отражается история города, отдельные ее периоды — и хорошие и плохие. Вот я и думаю: пройдет десяток лет и ничто нам не будет напоминать о полувековом советском периоде. Хорошим он казался кому-то из нас или плохим, а время такое было.

Нет, я не за то, чтобы оставить где-то в центре улицу с возникшим в годы советской власти названием. Но в новых микрорайонах, на мой взгляд, вполне можно оставить какую-то улицу, скажем, Стахановцев или Ударников. И если внуки спросят, что означают эти слова, мы им объясним. А заодно расскажем и о временах, которые нам их бабушкам и дедушкам, пришлось пережить...

Анита Берзиня, Рига

## ИВАНОВЫ ТРАВЫ

### УТРО

Мычала корова за стогом: пришло молоко,  
Ивановы травы, дыша, подсыхали на прясле,  
Волшебные искры перуники за ночь погасли,  
Время дошло до зенита и вниз потекло.  
... Я наконец поднялась из дремучего сна,  
Из долгого сна, чтобы снова к себе возвратиться.  
Не тенью, но светом объяла внезапная птица,  
И стала дорога моя высока и ясна.

### СКАЗОЧКА

Русская поэтесса Марина НИЖЕВЯСОВА живет в Риге, работает литературным консультантом в газете «Советская молодежь».

Стихи М.Нижевясовой публиковались в журналах «Смена», «Дружба», «Даугава», «Родник», сборнике «Голоса» [1989].

Лишь развеет темноту денница —  
Ждет колдунью тайная работа:  
Приручить непойманную птицу,  
С лютиков осыпать позолоту.

Облететь в нелетную погоду  
Злых утрат незажитое поле,  
Разыскать на сорном огороде  
Дух-траву и надышаться вволю.

Посадить в свои грехи земные  
Покаянья розовую вишню,  
Чтобы в день Свистуны Евдокии  
Увидал цветы ее Всевышний.

Не дано тебе, царевич, ведать,  
Как устала маленькая ведьма  
Слыть чудачкой и казаться вредной,  
Чтобы скрыть свою печаль и беды.

### КРЕЩЕНИЕ

В лужах талого снега потоплена высь.  
Возле кладбища сжались в бутылках букеты.  
Мимо храма... Но сердце не просит: «Явись»,  
И не спрашивает в иступлении: «Где ты?»

Мимо паперти, мимо высоких окон,  
Мимо праздника и утешения в слове,  
Мимо тех, кто надеждой еще окрылен,  
Словно бы сопричастность великая — внове . . .

Нет преград, но я движусь как будто во сне,  
А на сердце печать, словно царская милость,  
«За блаженство душою своей расплатилась»,—  
Чей-то вкрадчивый голос послышался мне.

\*\*\*

Из кипени будней, от звонких удил —  
В купель незабудок, где шут не ходил.  
Все мудро и просто, как в притчах царя.  
Туда — где над лесом алеет заря.  
Вот мне подорожник подставит ладонь,—  
По жилам, сосудам в незримый огонь  
Войду, отогреюсь, пойду без дорог:  
Здесь все бесконечно — как Время и Бог.  
Над бабочкой синей, как неба клочок,  
Склонюсь — совершенством упьется зрачок.  
Сквозь зыбкие крылья взгляну стрекозы —  
И свет заструится со старой лозы.  
И вера помехой не станет уму;  
Все духом очищенным ясно приму.  
Но — чу! — колокольцы звенят стороной:  
Не ты ли, лукавый, крадешься за мной? . .

\*\*\*

Я глупая бабочка сущего дня.  
Так весело встретить среди леса меня.  
На крыльях — два глаза, природа чудна:  
К чему мне четыре, когда я одна.  
Когда только радость должна я нести,  
А ложь и коварство кружат на пути.  
Какое вам дело, о чем я смеюсь,  
Скрывая свою повседневную грусть.  
Коль короток век — до конца долечу,  
Склоняясь к цветку да мужскому плечу.  
Мое откровение — утренний свет:  
Ты только вздохнешь, а его уже нет.  
Я вещая бабочка судного дня,  
Накроешь ладонью — и нету меня . . .

\*\*\*

Невесомая, неласковая высь.  
Белым ворохом бесплодным разнеслись  
Облака. И только ласточки стригут  
Синий хвост и, разбрасывая, жгут.

Обожженная стремленьем проводов,—  
Между поводами скрученных следов.  
Желтый пепел, словно серую пыльцу,  
Растираю прелой солью по лицу.

Как держать в своих ладонях — напролет —  
Этот пламень? — не смирится, не замрет!  
Как я ласкова сегодня и тиха,  
Вспомнит листьев обгоревшая труха.

Между тяжестью ветвей и высотой,  
Словно благовест веселый, — хруст густой.  
Знаю — грех земля, но не противлюсь злу:  
Волей в сердце, ладом — в черную золу.

\*\*\*

Радость травой потянулась,  
стягивая тепло, —  
словно во мне потонуло  
солнце. И замело  
снегом-черемухой, пухом  
воспрянувших тополей.  
Мир, освященный духом,  
выше стал и светлей.  
И потянуло болью  
водорослей морских.  
Свет белопенный солью  
стал на губах моих.  
Вхруст растянулись пальцы,  
волны со дна подняв.  
Пал мне на плечи панцирь  
из воздуха и огня.  
И просыпая пепел  
в шелест твоей души,  
руки мои успели  
вытянуться из глуши.  
... Тихо махая — как вея —  
раненым серым крылом,  
сна паутинный веер  
тянется за теплом.

\*\*\*

### *День веры, надежды, любви*

Три точки бесконечности, три капли,  
три высохших листочка, три лучины,  
касаая дивной пряжи, ткали — так ли? —  
для матери, для Бога, для мужчины.  
И вытекали дни мои годами,  
и расходились петлями по кругу.  
Да разрастались деревья садами,  
переплетаясь кольцами друг друга.  
Откуда я — из трех пересечений.  
Всего лишь капля, сорванный листочек.  
Из теплых рук мерцанья и смущенья  
прочь полечу — как стая светлых точек.  
Чтобы найти четвертую дорогу  
(где соберу распавшиеся звуки),  
не будь со мной суровым, ради Бога,  
дай разомкнуть тоскующие руки.

## СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Князья удельные — по коням,  
кто бывший враг, кто бывший друг:  
то время с гиканьем и стоном  
несется, замыкая круг.

О братина моей любви!  
Не черпай крови огневой.  
Пьянит и сушит запах крови —  
опасный жребий, княже мой.

Не дело мне — пустое ложе.  
С тобою и вода — елей.  
Не убивай меня, пригожий,—  
себя для Бога пожалей.

А в сердце веще кычет птица:  
«Цела ль головушка твоя? . . .»  
Дорога впереди клубится,  
Сквозь пальцы сыплется земля.

# ОБИТЕЛЬ

Монастырские ворота, прохлада свода, а потом сразу солнце и тишина, особенно поразительная после рыбного базара, торгующих мужиков, крика продающих мятные пряники и легонькие кресты торговок. Ветер шевелит сухой бурьян на стене. В заветрии припекает, голуби любовно шумят, говорят, целуются и воркуют на воротной башне. На деревянных мостках боевых стен кружится, топчется, раздув свой зоб, около маленькой чистенькой голубки молодой, видно, справляющий свою первую весну голубок. А на сырой земле, у дорожки сидят, распевая и кланяются монастырские нищие, разложив драные шапки, мешки.

Сидят на солнцепеке под крепостной стеной. На одном из них солдатские драные штаны, а чтобы ноги не простыли, сзади толсто подбито ватой. Размочаленные лапти, бороды, кружки. Шапка положена на землю, голова лохматая, вытек глаз, щека опустилась. Кланяются тут же и Лазаря тмянут, как в Святогорском монастыре при Александре Сергеевиче Пушкине, бабы побирухи, толстые от рваных полушубков и кацавей.

Ах, родители родные,  
Ах, кормильцы вы, православные!  
Помяни, Господи, рабов ваших,  
Рабов-то, родителей, во царствии небесном.  
И батюшек родных!  
А и матушек родных!  
Ай да помяни, Господи, дедок и бабок,  
Помяни, Господи, во царствии небесном.

А над нищими на Святых вратах под кокошником образ Успения, а вокруг него по стене славянская надпись:

О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь,  
Ангельский собор и человеческий род,  
Освященный храм и раю словесный.

\*

Нищая горбунья. Пристальные глаза.

— Он чисто сказал: твоя судьба принадлежит Царице Небесной. Так и пришлось: родители жили в разврате, с братьями я в ссоре. Помаялась, помаялась и ушла.

Прошло двадцать лет со дня смерти Леонида Федоровича Зурова (1902—1971), писателя-реалиста бунинской школы, известного главным образом своими романами «Древний путь» (1934) и «Пол» (1938).

Писатель около трех десятилетий прожил во Франции в семье Буниных, после смерти вдовы нобелевского лауреата — В. Н. Муромцевой-Буниной (1961) стал обладателем их семейного архива. От него дневники Буниных перешли к профессору Эдинбургского университета Милице Эдуардовне Грин; в 1977—1982 гг. она опубликовала замечательный трехтомник «Устами Буниных» (Франкфурт-на-Майне, изд-во «Посев»), вобравший в себя дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы; фрагменты напечатаны в книге «И. Бунин. Окаянные дни. Под серпом и молотом» (составитель Р. Д. Тименчик), вышедшей в прошлом году в Риге в серии «Нобелевская библиотека. Избранное».

По просьбе редакции нашего журнала М. Э. Грин передала для публикации в «Даугаве» зуровский рассказ «Обитель» (сб. «Марьянка», Париж, 1958), за что мы приносим ей сердечную благодарность. Благодарим также В. А. Круглевского за содействие в получении этого рассказа.

Трудно спускаться деду по обледенелому скату. Треух острием, борода седа, в руке жестяная банка для супа, а в другой — палка с крюком. Зипун рваный подпоясан по-мужички ниже пояса сыромятным ремнем. Идет на монастырскую кухню за супом.

•

Путь нищих, богомольцев, крестьян и царей.

Князь Курбский, будучи юрьевским воеводой, часто наезжал в монастырь. Вел поучительные беседы с игумном Корнилием и старцем Васьяном Муромцевым. Вот как начинал он послания:

— В пречестную обитель Пречистые Богородицы Печерского монастыря, господину старцу Васьяну Ондрей Курбьский радоватися . . .

Сохранилось письмецо его, посланное кому-то из Юрьева.

«Вымите Бога ради, положено писание под печью, страха ради смертного, а писано в Печеры, одно в столбцах, а другое в тетраях, а положено под печью в избушке в моей, в малой, писано дело государское. И вы то отошлите любо к государю, а любо ко Пречистой в Печеры . . .»

В монастырь он писал и будучи в бегах, с неизвестной дороги, и не имея от иноков помощи, слал старцу Васьяну упреки, жалуясь о том, что посылал к игумну и к Васьяну человека своего бить челом «о потребных животу», и по недостоинству своему от них презрен бых, а вины своей явной не видит.

Тот тогда, в те годы, воздвигалась прекрасная церковь Николы Ратного над Святыми вратами, которой любовался Рерих, о которой в истории русского искусства писал академик Игорь Грабарь, которую мне пришлось в 1935 году реставрировать с артелью мастеров каменного дела, с рыжебородыми старообрядцами из посада Черного, что на озере Великом Чудском. А строителем ее был воевода Заболоцкий, взявший немецкую Нарву. Это перед ним отворились замковые ворота, опустился подъемный мост, и ливонские парламентареры направились сдаваться к нему, царскому воеводе. Это он позволил осажденным выйти из Нарвы, взяв с собой все, что они будут в состоянии увезти, это он именем царя Иоанна великодушно обещал покидавшим замок охрану, которая будет их оберегать при прохождении через весь русский лагерь. Те не верили и боялись. Тогда он приказал подать ему воды и, умывшись, приложился к образу и сказал, что исполнит свое обещание. Стоя на холме при зареве пожара, он смотрел, как началось шествие ливонцев через опустошенный, выгоревший, разбитый ядрами город. В Печерском монастыре потом он принял постриг и в Успенских пещерах погребен как смиренный инок Пафнутий.

В те далекие времена, когда горела Ливония, в боровом овраге хоронился бревенчатый монастырь, а около него лепились срубленные, как баньки, кельи. Селиться в порубежных местах было страшно. Не раз враги жгли церкви, а братию высекали. Это во время ливонской войны, на подаяния и жертвы ухивавших в бой ратных людей, иноки возвели каменные церкви, башни и стены, и около обители родился посад, а на посаде дворец на приезд царя Иоанна и храм Сорока Мучеников, глава крыта чешуей, на деревянной звоничке два колокола зазвонных, два прибойных, да клепало железное,— тогда тут раскинулся торг, двор гостинный, важня и избы пушкарей, стрельцов, белцев из-за ливонского рубежа, просящих старцев и вдов, калек, разоренных после воинских осад мужиков — слепых, озябших в литовский приход, помороженных и увечных.

Строилась стрелецкая церковь во имя Николы Ратного в тот год, когда воевал за Монастырским рубежом князь Василий Серебряный, и зимой в пост приходили литовские люди.

Вот тогда, в те ратные года свершена бысть церковь каменная в Печерстем монастыре на острожных воротах во имя Николы Ратна — в одной руке у чудотворца храм, а в другой оберегающий рубежи меч.

Царь Иван Васильевич с братом Юрием из Новгорода заезжал в Псков в декабре 1547 года, а оттуда в Печеры. Пожаловал царь обитель золотом, жемчугами. В древних синодиках я нашел записи: государь царь и великий князь иван васильевич всеа русии велел поминать си князей и бояр 75 душ, а память по ним творить в 30 день июня. Также приказал царь поминать имена опальных людей, которые побиты — с присными их — «и сноху, и его мать, и жену, и детей, и татарина, и брата его». И в Озерецком на заказе от Москвы побитых и намедни побитых пскович. И людей с Нова Града. И баб новоградских. И тех, что в коломенских селах от Григория Ловчикова побиты, трех по руки отсеченных. В Голубине оугле побитых от Малюты Скуратова.

Много потом пережил монастырь. Выдержал осаду Батория, удары венгерских пушек, штурм Кетлера и Тизенгаузена, набеги воров, лисовчиков и пана Хоткевича.

Обитые кованым железом ворота хранят вмятые углубления от шведских пуль, следы от ударов секирами.

Это голова стрелецкий Григорий Захарьев сын Вельяшев со своими ребятами оборонял монастырь в марте 1656 года. Бой начался в седьмом часу ночи. Бились сначала за монастырем и не дали посада зажечь, в четырехчасовом бою отстояли государеву пороховую и свинцовую казну, но вражеских сил было много, и Григория со стрельцами от монастыря отогнали, и городовые Святые ворота враги начали высекать, и он, Григорий, прося у Всемилостивого Бога, у Пречистые Богородицы и у московских чудотворцев помощи, шведов от монастыря отбил и языков поймал. В этом бою бился явственно и на том бою убит пятисотный дьячок Васька Самсонов; знаменщик головы стрелецкого Федотыко Петров бился, явственно и в том бою был ранен шпагой; Шишкина ранили из мушкета; Коновницын Иван убил двух шведских мужиков, и атаман Василий Евстафьев мужика убил. Утром погнали шведов к Новогородку, где они соединились с графом Магнусом де ла Гарди, но Данила Беклемишев с рейтарским полком и четырьмя сотнями псковичей при деревне Мегузице графа Магнуса помощью московских и псковских чудотворцев побил и дальше погнал.

Государь Петр, отправляясь в 1697 году в Европу, в Печерском монастыре захватил себе на дорожку муки и псковских ржаных сухарей по 25 четвертей, а в июле 1701 года опять показался тут и у ворот своими руками заложил батарею, обнес обитель рвом и валом с пятью бастионами и за плохую работу высек на валах подполковника Шеншина.

Хорошо по утрам. Тень, прохлада, выбеленные до голубизны своды, вырастающая из этой голубизны звонница. Еще держится в монастырском овраге мороз, еще слышен звон ручья под тонким за ночь образовавшимся льдом, а за монастырем, на полях уже полное солнце, разошлась черная дорожная грязь, и рыжая лохматая крестьянская кобылка как-то по-весеннему неловко тянет за собой сани, что скрипят полозьями по обнажившейся местами земле.

Ручей бежит по оврагу, то в солнце, то в синей снежной тени, и воздух, захваченный течением воды, бежит под тонким льдом гроздьями, пузырями.

— Да, звон здесь красивый,— говорит, вынимая из веревочного стремени ногу и относя за звонницу канат, что приводит в движение колокольное

коромысло, полуслепой, худой и высокий звонарь, с выбившимися из-под острой шапки полуседыми кудрями.

Я слушаю, как широкая у земли, но устремленная к небу легчайшей стрелой большая звонница, вся, от креста до подошвы, еще гудит от разливающейся по ней волнами дрожи.

— Этот, большой полиелейный,— показывает старик,— лучше он всех. Второй-то — неважный, звук носовой, наподобие того, как человек в нос говорит. Повседневный — тоже хороший звук, сиповатый — маленькая пленочка отлетела меди, он и дает слегка сиповатость. А звонцы, что в пролетах висят,— очень приятные звуки, разного времени и разных царей, в разное время даривали — тут и Ивана Грозного, и ливонские пленные, есть немчины — вон тот русским князем с Феллина, из замка немецкого, прислан в подарок, он с серебром; и Годуновские, и Петровские есть со зверьками,— разных времен, случалось жертвовали цари, и бояре, и простой народ копейку давал. А полный трезвон если сделать, то впятером надо звонить — двум с земли, а трем ребятам на ризницу, значит, надо забраться.

Вместе с ним я поднимаюсь по деревянной лестнице внутрь звонницы, где в малой, упраздненной сто лет назад сводчатой церкви он и живет с слепым, тишайшим вторым звонарем и пушистым котом, где натоплено, сыро и душно, как в бане.

— Стены-то в толщину без малого три аршина,— говорит он.— Приходится топить усиленно, часто. Дикий камень сырость дает, и притом сырость вредную. Переспав тут, другой встанет прямо с шальной головой.

В его ведении находятся и часы с колоколами и перечасиями, заключенные в бревенчатый сруб, стоящий на звонничном плече. От железных механизмов и зубчатых колес спускаются в пролет бочки с камнями. За ежедневный завод этих часов звонари получают тройную порцию монастырского хлеба.

— Завод с треском,— показывая мне механизм, говорит он,— надо вздохнуть как следует, чтобы их завести. Они немного идут полегче, когда мороз-то спадает. Вот скоро будут бить. Мы достойм до ударов. Колокола вообще приятного звука. Их раньше при монастыре, в земле лили: роется яма, сплав расплавляют, серебро льется, когда сплав начинает остывать медный, а если раньше влить серебро в медь, то оно и сгореть может. Эти маленькие,— показал он,— переборы. Тоненький звук. Большие-то правильно висят, а вот младшие перепутали. Украли три колокольчика во время разрухи. Полный часовой бой был красивый, а теперь они в разбивку висят. В прежнее время наблюдение было в порядке. А тут само собой все постепенно на упадок пошло. Вот были во Пскове в Вознесенском монастыре колокола единые и торжественные. Повесть в ту партию не тот колокол, как борона, будет он боронить особым ведь гулом.

\*

— Вы поживите, поживите у нас,— говорит мне разметающий дорожку Лаврентий, а штаны у него бархатные, широкие, он сухонький, жилистый, горячеглазый, из-под остренькой чистой скуфейки заплетенная полуседающая косенка торчит.

\*

Ангел, раскинувший черные крылья, изображен на звоннице.левой рукой указывает на башенные часы, в правой держит испещренный письменами развернутый свиток.

Взирает с прилежанием тленный человек,  
Како век твой проходит и смерть недалече.

Готовися на всяк час, рыдай со слезами,  
Яко смерть восхитит с твоими делами.  
Ангел твой хранитель тебе известует,  
Краткость жизни твоя перстом покажет.  
Текут времена и лета во мгновение ока,  
Солнце скоро шествует к западу с востока.  
Содержай меч мщения во своей деснице,  
Увещает тя всегда и глаголет сице.  
Убойся сего меча, отселе покайся,  
Да не посечет тебе, зело ужасайся.  
Придите, людие, в вере — просвещении,  
Глядите во святой храм кротцы и смиреннии.

А в покоях у владыки благодушие, хорошо вымыты крашенные полы, ровно лежат цветные дорожки. В солнечной угловой комнате на полу свалены Четьи-Минеи, рукописи восемнадцатого века, оставшиеся от прежних владык, а среди них и книги, переплетенные в деревянные, обтянутые черной потрескавшейся кожей переплеты с медными на сыромятных ремешках застешками и жучками, с изумительными заставками, расцвеченными золотом, прозеленью и киноварью. Тогда в одном из рукописных сборников я прочел древний вариант Слова о погибели Русской Земли, а среди переписанных книг обнаружил служебник времен вечевых с молитвой о посадниках псковских и новгородских степенных, о соборе Святые Троицы и Святые Софии и о всех людях пскович, — книгу Мисюреву — государева дьяка, что при Иване Третьем, когда принаровские мужики возводили башни Иван-Города, опекал монастырь. Мисюрю Мунехин переписывался с философами и звездочетами, ему старец из захороненного в смолистом бору у берега Псковского озера Елеазарова монастыря написал знаменитое послание о Третьем Риме. Здесь лежали большие, разбухшие, закапанные воском синодики с именами князей, бояр и воевавших Ливонию ратных людей, и рукописная тетрадь голубоватой бумаги, в которой гусиными перьями было вписано, как, когда и почему надо совершать крестные ходы, в память каких боев и осад они утверждены, на каких местах крови, у каких проломов и башен надо служить литии; тут лежали и переписные книги времен Алексея Михайловича, писанные на рыцарской бумаге с водяными знаками — я рассматривал на солнечный свет страницы и видел головы кнехтов, папские ключи, короны, вставших друг против друга единорогов, головы шутов в колпаках с бубенцами. Я читал испещренные рыжеватыми и уже выгоревшими чернилами страницы — описание боевых мостов, башен, церквей, колоколов, медоварен и квасоварен, пушечного наряда, перечисление сложных под Никольской церковью в оружейной палатке пик, луков, колчанов и лат, корыт с нарубленным свинцом, затинных пищалей, — и монастырский каменный город оживал, и древняя жизнь, с которой я оказался таинственно связан, расцветая, раскрывалась предо мной. И когда я вышел на вольное солнце, то уже по-иному чувствовал и видел выдержавшую осаду обитель, закованный в боевые стены монашеский, крестьянский и воинский стан.

Целые дни я занят — осматриваю колокольни, стены, башни, старые погреба и всюду делаю радостные находки. Вот заброшенная на чердак старая шелками древняя венецианская хоругвь цвета увядающих розовых листьев; вот большая икона времен Алексея Михайловича с тонким рисунком башен, с бревенчатыми кельями, квасоварнями, золотыми, как пшеничный колос, главами, с малыми

колокольчиками на большой и малой звонницах, заброшенная, покрытая слоем известкового голубинового помета, который для истории русского зодчества рисунок неизвестного иконописца и сохранил, Владыка мне доверил ключи от Никольской церкви, а из стрелецкой церкви Николы Ратна проржавевшая железная дверь ведет через темную, с замурованными бойницами острожную башню с прогнившим полом на крепостную стену, где еще чудом сохранились деревянные мосты, с которых оборонявшие обитель иноки и стрельцы когда-то били по польским воротам и шведским рейтарам из затинных пищалей. Мосты ведут к сторожевой башне, что господствует над Святыми воротами. Я радуюсь солнцу, ветру, как ребенок. Меня уже полонило древнее очарование; свободно и легко я живу в тех веках. Я открываю малую дверь, пугаю голубей, которые с незапамятных времен живут в этой башне, ибо и настил, и перекрещивающиеся балки покрыты столь толстым пометом, что от него тут тесно, душно, тепло. Здесь много голубиных гнезд, здесь веками справляют свою любовь голубиные пары, самки кладут по два яичка. Отсюда делают вылет окрепшие молодые птенцы. По узенькой лестнице я поднимаюсь наверх, вылезаю через люк на обнесенное перилами стрелецкое дозорное место. Воля-то какая на весеннем ветру! Отсюда виден весь окруженный то поднимающимися на холмы, то спускающимися в овраг ручья Каменца стенами, прорастающий словно с озерного дна, дубовыми ветвями и куполами, монастырский каменный город, отсюда виден пригород и поля, дорога, ведущая в голубые боры на Ливонию, боевая дорога походов. Здесь раньше была сторожевая вышка носивших лазоревый кафтан монастырских стрельцов. Здесь, как всегда, настороже дует весенний ветер, принося запах воли, талого снега, наполненных предвесенней горечью, оживающих далеких лесов. Здесь хорошо и крепко думается.

И я вижу: строят каменный город. Становище. Мужичие сани. Валуны свозят с окрестных полей, плиты обозами везут из Изборска. Дымят костры. Рати идут на Литву. В далекие боры утекает усеянная курганами, политая кровью дорога, уходит туда, где в борах, закрывая славянский путь к Варяжскому морю, стоит передовой немецкий форпост, выдвинутое немцами при движении на восток волчье гнездо, Новый Городок Ливонский — замок Нейгаузен. Там теперь высятся развалины над рекой Пимжей, поросшие елями провалившиеся сводчатые погребца, но на уцелевшей башне еще сохранились выложенные рыцарями в рыжем кирпиче белые орденские кресты. В Иванов день деревенская молодежь на развалинах зажигает костры, плетет венки и поет песни. Весной там все бело от чистого цвета разросшейся на немецком пепле черемухи. Там на блестящем, черном, только что вспаханном поле я видел с гимназистом Васей Титовым выпаханное крестьянским плугом желтые ливонские черепа. На русской стороне, на холме, на котором стояли разбившие замок пушки Адашева и князя Серебряного, где был боевой русский стан, ранней весной я отдыхал с моим молодым печерским помощником Васей Титовым. Мы сидели на пнях, а потом пили сладкую соковицу, что заливала подсеченные эстонскими пастухами деревья, по очереди прижимаясь губами к белой, шелушистой коре, пили сладкий, прохладный, рожденный древней землей березовый сок, и над нами вились, желая к сладкой бересте поскорее прильнуть, осы и пчелы. Потом Вася, знавший сетский язык, помогал мне расспрашивать столетнюю крестьянку в белом кафтане, и она, рассказывая, высохшей рукой показывала нам, где стояли обозы Грозного, русские мужики пекли хлеб, где павших на рати похоронили; со слов стариков она нам рассказала о том, как из новгородчины приходили русские женщины плакать на эти могилы. Тогда Вася на вспаханном поле нашел каменное ядро, помню, как он очищал его от влажной, перемешанной с пеплом земли и звал меня идти ночевать к нему в деревню Воронкино, что недалеко от Мегузиц, под которыми стрелецкий голова разбил графа Магнуса де ла Гарди, звал, соблазняя крупной подснежной клюквой, которой были осыпаны его родные болота, но времени у нас было мало, и мы, присев у избы чудинки,

с наслаждением похлебав деревянными ложками принесенной с погребца холодной простокваши, плотно заправившись ржаным свежим хлебом, отправились в Тайловский бор.

Тут в порубежных борах с незапамятных времен висели пчелиные борти. Еще псковское вече и изборяне брали с жившей в борах чуди установленную Ярославом Мудрым медовую дань. Ливонцы с мечом и католической проповедью, дойдя до реки Пимжи и построив Нейгаузен, захватили большую часть заросшего медоносным вереском бора, из-за которого особенно яростная началась у них война с изборянами и псковичами. Это потом уже немцы, установив по реке Пимже границу, чтобы обеспечить себя от набегов, стали платить псковичам ежегодную дань — пять пудов меду Собору Живоначальной. Осенью 1557 года, вспомнив медовую дань Ярослава и расширив требования, выбивая незваных гостей, двинул Грозный войска на Ливонию.

С монастырских, побитых венгерскими, польскими и шведскими ядрами стен, под дующим с Руси ветром я часами любовался широкой далью, и глаз не мог отвести от утекающих в снежные поля дорог, любовался великим русским небом с медленно тающими облаками, широким и печальным снежным раздольем, синеющими по горизонту лесами. От ветра, грусти, любви, от приливающих чувств влажными становились глаза, и все было для меня родным и понятным, словно сердце всегда жило здесь, и я со всеми отошедшими жил по-сыновьи.

Как ежи, лежат леса по холмам. Снега блестят, Нейгаузские леса в голубоватом весеннем тумане. На крепостной стене припекает. Целый день слышен гул голосов долго не разъезжающегося великопостного стана. В монастырском саду побелены яблони — розовыми кажутся их стволы, а в садовых ямах лежит снег, как белое кружево. Он сползает с пологих крыш монастырских конюшен. Утром ручки чуть слышно начинают звенеть, а к обеду, Боже мой, всюду веселый говор, и петухи шалеют от света.

Весна, весна красная. Сияющее небо, запах лесов и земли. Промороженный за зиму камень стен и церковей начинает на солнце дышать, а вдали теплые избы посада.

Молодой инок на Святой горе под вечер, когда солнце уже опускалось, слушая шум посада, мне говорил:

— Плакал я — когда постригали, ведь молодой, старому-то ничего, жизнь прожил. В одной рубахе, и подрясничек накинут. Владыка на амвоне, а монахи встречают, поют. Нужно лечь на пол ничком — распинаться. А я в одной рубашке. И монахи черными ризами меня закрывают.

Розовела звонница, искристым золотом излучаясь, дрожали под горою кресты.

— Вот весной тяжело, — продолжал он, — взойдешь на Святую гору, а вдали всюду по раздолью песни поют. Сирень цветет, от березы запах. Так-то грустно на сердце. Хорошо, если выйдешь вдвоем, с другом поговоришь, а одному тяжело.

— Ох, сильно журжит весной поток.

Стоял светел месяц перед красным солнышком —  
Стоял князь молодой перед родным батюшкой.

«Мой родной батюшка, прости и благослови,  
В путь-дорожку отпусти, хлебом-солью надели.  
Ко суду Божью идти — страшным-страшненько.  
На крутой крылец идти — скоры ножки ломаются,  
У злата венца стоять — сердце ужახнется».

Так напевала мне в богадельне старуха Мария Вторушина, вдова рыбака, что с пятнадцати лет ходила с дружиной на ловлю, умела править парусом и грести. Напевала со слезами в бревенчатой нищей избе, в которой было светло от тающего на улице снега, напевала, вспоминая молодость, золотые слова городищенской свадьбы.

На лугу кони попущены,  
Шелковыми путами попутаны,  
Не едят кони зеленой травы,  
Что не пьют кони холодной воды,  
Они слышат путь-дороженьку.  
По дороженьке не пыль пылит,  
Во чистом поле не дым дымит,  
Там не царь с царем соезжаются,  
Соезжается Иван, соезжается Васильевич  
Со своим веселым поездом,  
Со своей белой лебедушкой,  
С Катериною со Лаврентьевной.

Уплыли, уплыли серые гуси, на море уплыли,  
Увезли, увезли нашу похвальную, увезли,  
Увезли, увезли молодую без даров, через десять  
городов.  
Во Божью церковь свели, русу косу расплели,  
На шесть прядок разняли, вокруг головки убняли и  
своею назвали.  
Помаленьку, бояре, с горы спускайтесь.  
У нас горы крутые, у вас кони добрые,  
Не поткнулся бы конь вороной,  
Не свалился бы молодой.

\*

— Тут, сынок,— сказал дед,— кругом были глухие леса, звероловцы ходили. Это потом к монастырю люди стали переселяться. Избенки монашеские были бревенчатые, луковые окна изнутри дощечками задвигались. Окон было мало, зато свет был дорог. Милый,— бедные были. Другой монах мешок летом носил на плечах. Все были трудники. И игумен косил и пахал. Церкви справляли — сами хломали топором. Вот как было! Ну, и скоро прославились. Издалека начал народ приходить. И трудно их было найти. Блуждали, спрашивали — где тут пещеры, монастырь называется. А кругом — чистый лес. Пни, дубы, лешие яблони. Только на Пачковке жил бобылек. Мельница была у него, и припор воду держал. А этот ручей Каменец был пнями завален. Не монастырь, а овраг. Боже, Боже! До монастыря только в Тайлове жительство было.

— И вот, сынок, старики рассказывали, Царица Небесная бором тайловским шла, искала приюта. Шла Царица Небесная, хотела остановиться в Тайлове, да петуны стали петь. Не понравилась Матери Божьей. Там было строение, петуны стали петь, а Ей слышно. Вот здесь, в Печерах, Ей уподобилось.

— Да,— помолчав, сказал он,— вот Матерь Божья в Тайлове хотела остановиться, на круче, да ушла дальше.

— А потом звероловцу на дубу Ее икона явилась. Охотник ходил. Нашел овраг в деревьях, весь ветрами завален. Слышит, ангелы поют, видит, дерево-дуб, и на дубу ему икона открылась.

— И вот матери-отцы говорили: молитесь Царице Небесной, не будет ни мора, ни глада. В Ильин день была холера. Помогла.

— Вот, детки мои, в военное время так Она спасала, так Она покрывала. Шла, заступница, и все за ней с плачем. И-и вой какой был!

— А во время боев наши в монастырских печерах спасались. Мужики отбивались, а у баб там печурки были накрыты. В монастыре столько народу набилось,— и стон, и крик, и от голода помирал, и от давки. Где икона, там проломанная стена, там много народу положено. На стене бились — топорами тогда мужики отрубались.

— А когда Корнилий ограду наносил, то народ нанимал, и была обозначена цена — двадцать пять алтын. С Изборска возили плиту, а деньги кучей нарыты, где Спаситель в проходе. Вот какая бывала святость,— другой полу денег нагребит, а выйдет за ворота, все двадцать пять алтын. Кто накладет камней много, а сам на худой лошаденке — все лошади легче. А другой накладет совсем мало, так лошади совсем тяжело — воротись назад и побольше возьми. Хороший мужик так по сенному возу возил. Вот преподобный Корнилий! Матерь Божия строила и преподобный Корнилий.

— Милый, без этой стены пропал бы народ. Выбили бы всех, полонили.

— А скоро, сынок, опять будет война,— сказал потом он.— Антихрист на Россию пойдет.

— Пойдет Антихрист, будет народы к себе преклонять, к перстам печати прикладывать. Дай крови печать. Вот наберет всюду войско и начнет битву во Пскове. Никола Угодник выедет и Илья Пророк. В Троицком соборе лежат святые князья, и те тогда встанут. Гавриил и Тимофей, и Олександр Невский встанут за нашу землю. Загрузится тогда река Великая войском. Погоди,— говорил дед Оленин,— скоро на разливе огненные кони заржут. Понесутся, полетят с захода огненные птицы, дубовые псы, полетят огненные кони, народ все туманный.

\*

Церковь Пречистые Богородицы Успения вырезана в горе, алтарь — на летний восход солнца. И за алтарем погребены отошедших братий тела — игуменов, строителей, трудников и богомольцев. В больших братских пещерах кладена печерская братия — несть числа.

А по Святой горе, на церквах, над алтарем, пещерами, когда-то рос лес, возвещая о жизни, роща березовая, яблони, дубы и рябины.

\*

Вечер! Лампада мерцает под воротными сводами. Дубы и яблони растут на Святой горе, а под деревьями и под главами Успения — братские усыпальницы, дубовые колоды, истлевшая парча, кости, гробы, дух древнего несмрадного тления; песок в глубине пещер закопчен свечами и везде на стенах — спящие комары. И под Лазаревской церковью, под землю, скудельница.

А под куполами Успения громадные, сложенные из хвороста, нанесенного сюда галками, гнезда. Здесь странно ночью при мерцании восковых свечей — песок буграми, стропила, балки. Шатрами над головой вздымаются полые, мохнатые от гнезд, переключенные сосновыми брусьями, утвержденные на столбах купола. Обитая железом церковная крыша вросла в древний дуб, из песка торчат обросшие мхом валуны, бревна упираются в землю, а соборная церковь там, глубоко под землей.

В пещерах, у мест упокоения ратных вставлены глиняные керамиды. Они облиты зеленой глазурью, украшены крестами и травами, иные тронуты золотом и кинварью.

Широко горела восковая свеча. Стыли руки. Я читал имена государевых бояр, воевод, псковских гостей, детей боярских, привезенных в дубовых колодах с бранного поля, положенных в Дом Пречистой, в Пещерах, убиенных на царской службе, на рати, от немец ливонские, павших на рубеже — имена ближних стольников и ратных людей из Пскова, Москвы, Полоцка, Ржева, Торопца, Новгорода и Шелонской пятины. Погибших в сече под Кольванью, под Юрьевым, на вылазках и на осадах. Павших в Смутное время во Пскове в мирноосицкую вылазку. Проливших кровь за Свейским рубежом. Скончавшихся за рекою Самарою, в Конских Водах, на службе в Крымском походе. Жизнь свою положивших под Нов-Городком Ливонским Нейгаузеном и на Печерской земле.

Вот могила:

Петр Степанов Пушкин — убиен от безбожных немцев под Ельмано в 1783 году, а неподалеку от него в те же времена положен и раб Божий Иван Петрович Мусорской.

Вот где роды их сошлись.

Сырость, промозглый хлад. Сперва с живого морозца кажется, что здесь тепло, но постепенно, по мере того как время идет, начинает прохватывать одежду и тело пещерный холод, отнимая животную теплоту, ничего не давая взамен — здесь все глухо, улицы подземные расходятся направо-налево, в крепкие песчаные стены вмурованы блестящие темно-зеленой поливою доски с выпуклыми славянскими датами и письменами, с перечислением имен, городов. Ровно и бестрепетно горит свеча, под землю нет времени, глух человеческий голос. Видно дыхание. У владыки побледневшее, со сверкающими глазами лицо. Он протянул руку со свечой в оставленное в замурованной стене окошечко, и свет упал на груды дубовых колод, сосновых гробов, взгроможденных под сводами. Это братская усыпальница, — в колодах безымянные иноки лежат с кирпичом под черепом, а в пещерных улицах — власти земные. И их память хранят, по иконописному сработанные в монастыре, завитые славянским плетением и церковными главами керамиды, закрывающие узкие, ископанные в красном песчанике древние норы, в которые вдвинуты привезенные с бранного поля гробы.

А по выходе из пещерной сырости на морозную волю ветер с запахом подмерзшего снега охватывает и внезапно пьянит, над головой развзвразается небо, и живая чистота его, не зная предела, властно и великолепно течет.

У владыки стол уже давно накрыт, и на нем для гостя поставлена и водочка в графине, и черничное вино, и натертая редька, и соленые грузди, и прекрасно зажаренный, пойманный в Псковском озере жирный лец. Мы ужинаем. Вася Титов, прислуживавший тогда нам пещерский гимназист, живший как келейник у владыки в покоях, широколицый и веселый, слушал нашу беседу. Помню, как он, оживленный, провожал меня, уславливаясь об утреннем походе на Куничину гору. Думал ли я, что этот деревенский мальчик, помогавший мне осматривать монастырские чердаки, побывавший со мною весной под Нейгаузом, через несколько лет будет драться в этих лесах против немцев в рядах партизан. Я помню, как его бабка, угощая меня в деревне Воронкино, кроила крупными ломтями хлеб, прижав каравай к старушечьей тощей груди. Вася Титов! Он, раненный, был взят немцами в плен и ими расстрелян.

В тот вечер кругом все было мирно, да и кто мог поверить тогда, что по-древнему запылают опять села и города, что на юге Франции я увижу пригнанных немцами русских военнопленных из-под Новгорода, Нарвы и Пскова, которые расскажут мне о боях на Волхове и на Великой.

## О ПОЛОЖЕНИИ РУССКИХ В НЕЗАВИСИМОЙ ЛАТВИИ<sup>1</sup>

В результате революции 1917 г. и последовавшей за ней гражданской войны в России на ее прежней территории у Балтийского моря возникли государства Эстония, Латвия и Литва, независимость которых была признана Советской Россией в трех разновременных мирных договорах 1920 года. В каждом из этих государств население не было однородным в смысле своего национального и вероисповедного состава и в каждом местные русские жители стали, наряду с господствующей народностью, гражданами соответствующего нового государства, оказавшись в положении «национального меньшинства». Их «меньшинственные права» в смысле формальном были так или иначе закреплены в законодательстве данного государства, а также — признаны в особых декларациях, которые были даны представителями балтийских государств в 1921 г., когда они были приняты в число полноправных членов Лиги Наций в Женеве.

Национальная структура населения Латвии в 1935 г.

	Общее число	В процентах
Латыши	1 472 612	75,5
Русские	233 366	12,0
Евреи	93 479	4,8
Немцы	62 144	3,2
Поляки	48 949	2,5
Другие	39 952	2,0
Всего	1 950 502	100,0

Как известно, период независимости трех балтийских государств продолжался сравнительно недолго: немногим больше 20 лет, и уже в 1941 г. они были включены в состав Советского Союза. В течение 40-летия, прошедшего с того времени, и особенно после второй мировой войны и расселения многочисленных эмигрантов из Прибалтики по странам свободного мира, в русской зарубежной печати неоднократно появлялись статьи и воспоминания, касавшиеся судеб балтийских государств и их населения. При этом катастрофические события 1939—1945 гг. в сознании авторов нередко как бы заслоняли собой внутриполитическую эволюцию в балтийских странах в период их независимости и перемены в их правопорядке, непосредственно не зависевшие от международных потрясений. Это приводит подчас к тому, что у читателей, лично не связанных с Прибалтикой тех времен, создается ложное представление, будто правопорядок, установленный после провозглашения независимости балтийских государств, не обрываясь и не подвергаясь существенным изменениям, просуществовал вплоть до занятия Прибалтики советскими войсками летом 1940 г. и что положение ее русских жителей, вполне благоприятное еще в середине 20-х гг., оставалось таким же к концу 30-х годов. На самом же деле парламентарно-де-

<sup>1</sup> Сведения об авторе см. на с 175.

мократический строй с его правовыми гарантиями меньшинственных прав лишь ненадолго удержался во всех балтийских странах и на смену ему вскоре пришли авторитарно-диктаторские режимы в разных вариантах.

В 1926 г. в Литве А. Вальдемарас произвел военный переворот, а в 1934 г. в Латвии таким же противозаконным образом был установлен диктаторский режим К. Ульманиса и в Эстонии — более умеренный и либеральный авторитарный режим К. Пятса. Эти радикальные изменения правопорядка в балтийских странах весьма отрицательно отражались на их русских гражданах, положение которых все более ухудшалось. О том, как этот процесс протекал в Латвии, наиболее многонациональном государстве Прибалтики, постараюсь в общих чертах рассказать читателям.

### **Период парламентарно-демократического строя**

1 мая 1920 г. в Риге собралось и приступило к работе Латвийское Учредительное Собрание, а 1 августа того же года был заключен мирный договор с Советской Россией. Можно поэтому считать, что парламентарно-демократический период в жизни независимой Латвии продолжался с 1920 г. до введения режима диктатуры К. Ульманиса в 1934 г.

Процесс становления латвийской государственности вплоть до 1920 г. происходил в чрезвычайно сложной и запутанной международной и военно-политической обстановке. Ее описание выходило бы за рамки этой статьи. Следует лишь отметить, что латышский Народный Совет (составленный из представителей латышских политических партий, кроме коммунистической, и представителей областей, еще находившихся под чужеземной оккупацией) вскоре после капитуляции Германии, собрался на торжественное собрание в Риге и 18 ноября 1918 г. провозгласил независимость Латвии, одновременно образовав временное правительство, которое возглавлял К. Ульманис как министр-президент.

Народный Совет в своем манифесте к «гражданам Латвии» оповещал о том, что Латвия есть «самостоятельное, независимое демократически-республиканское государство», и опубликовал свою «политическую платформу». В ней, среди прочего, определялось отношение «к другим национальностям». На основе своей платформы новое латышское правительство стремилось заручиться сотрудничеством национальных меньшинств, численно составлявших четверть населения страны, и таким образом превратить Народный Совет из чисто латышского в латвийский. Предложено было расширить состав Народного Совета, выделив для этого определенное число мест, с тем чтобы они были распределены между представителями национальных меньшинств. «Политическая платформа» Народного Совета состояла из нескольких разделов, из которых особый интерес для нелатышских жителей страны представлял раздел 4-й, который гласил: «1. Национальные меньшинства посылают своих представителей в Учредительное Собрание и законодательные учреждения на основе пропорционального избирательного права; 2. Вступившие в Народный Совет меньшинства принимают участие во временном правительстве; 3. Культурные и национальные права национальных групп подлежат закреплению в основных законах».

Из других актов Народного Совета, изданных во время его начальной деятельности, следует отметить важный для национальных меньшинств закон 6 декабря 1918 г. об учреждении судебных установлений, согласно которому судопроизводственный язык есть язык латышский, но по обстоятельствам и надобности суды обязаны допускать также русский и немецкий языки.

Пронесшиеся затем над страной военно-политические потрясения на время прекратили нормальную деятельность Народного Совета и он, вместе с временным правительством, бежал в Либаву. Оттуда он смог вернуться и возобновить

свою деятельность только в июле 1919 г., после того как 22 мая того же года Рига была освобождена противобольшевистскими войсками, в составе которых сражался и русский отряд кн. А. П. Ливена.

Теперь национальные меньшинства тоже делегировали в Народный Совет своих представителей, причем от русских в него первоначально вошли четыре делегата, лидером которых был прис. пов. А. С. Бочагов. На заседании Совета 13 июля он выступил с общенациональной декларацией, в которой высказывалась уверенность, что «всем меньшинствам будет обеспечено национальное культурное самоопределение...» Частично это пожелание исполнилось: помимо общего «Закона о просветительных учреждениях в Латвии» Народный Совет в тот же день, 8 декабря 1919 г., издал также «Закон об организации школ меньшинств». Этот закон определял, однако, лишь положение русских средних школ и управление ими. На его основании русское меньшинство (как и другие меньшинства) имело свой Русский Отдел при Министерстве Образования, во главе которого стоял начальник, избиравшийся русскими депутатами парламента и утверждавшийся в должности Кабинетом Министров. У начальника Отдела был помощник и канцелярия со штатом служащих. Из денежных средств, отпускавшихся государством и общественными учреждениями на школьные нужды, школам русского меньшинства предоставлялась часть, соответствовавшая его численности.

Закон 8 декабря 1919 г. принято было называть основой школьной автономии, но это была автономия лишь частичная или урезанная. Убедительно об этом говорил Е. М. Тихоницкий, видный местный педагог и школьный деятель, одно время бывший также депутатом парламента (второго созыва, в 1925—1928 гг.). Описывая положение русской школы в Латвии и функции Русского Отдела, он писал: «Начальные же (основные) меньшинственные школы заведованию Отдела не подлежат, а наряду со всеми находятся в хозяйственном и административном ведении местных самоуправлений вплоть до открытия школ и назначения в них учащихся. Поэтому русский меньшинственный отдел лишен возможности оказывать влияние на развитие начального образования, на открытие школ в той или другой местности, на подбор и назначение учителей»<sup>2</sup>.

Ожидалось, что провозглашенное Народным Советом признание культурно-национальных прав меньшинств в дальнейшем будет закреплено в основных законах, но эти предположения не оправдались. Дело в том, что предложенный на рассмотрение Учредительного Собрания проект конституции состоял из двух частей. Первая определяла государственное устройство, а вторая — права и обязанности граждан. В то время как первая часть конституции без затруднений была принята 15 февраля 1922 г., ее вторая часть вызвала столь существенные разногласия, что она при окончательном голосовании была отклонена.

В результате в принятой и вступившей в силу конституции содержалась только одна статья, касающаяся прав граждан в короткой формулировке: «перед законом и судом все граждане равны» (ст. 82).

Вместе с тем вторая, отклоненная часть законопроекта о конституции содержала статью, которая предусматривала, что «меньшинственные народности для своих культурно-национальных дел имеют автономные публично-правовые организации» (ст. 116). Согласно той же статье компетенции этих организаций, их устройство и правила их избрания подлежат определению в особом законе. Но такой закон впоследствии так и не был издан, несмотря на соответствующие законопроекты, которые разрабатывались и вносились в парламент его меньшинственными депутатами.

Таким образом, права меньшинств на организацию культурно-национального

<sup>2</sup> Е. Тихоницкий. «Нужды русского меньшинства в Латвии». Сборник Постоянного Бюро Русских Меньшинств, вып. 1, Женева, 1927, с. 13. Еллифидор Михайлович Тихоницкий был во время сов. оккупации Латвии в 1940–1941 г. арестован, вывезен и погиб в СССР.

самоуправления оказались формально неоговоренными, и это дало основание для суждения русского юриста при описании прав русского меньшинства говорить: «вне признания меньшинств юридическими лицами с определенным комплексом прав, всякая охрана их расы, культуры, религии и быта будет случайной и изменчивой».

Поскольку такой юридической базы не удалось достичь в пору «политического романтизма» (как называли время провозглашения политической платформы Народного Совета), закон 8 декабря 1919 г. «Об организации школ национальных меньшинств» служил основой того, что расширительно толковалось не только как школьная, но и как культурная автономия вообще. Такое широкое понимание этого закона находило известное обоснование в той его статье, которая гласила, что начальник школьного отдела «является представителем своей национальности по всем культурным вопросам с правом сношения со всеми департаментами министерства образования и участия в заседаниях кабинета министров с правом совещательного голоса по вопросам, касающимся культурной жизни представляемой им народности».

Говоря о положении русских в Латвии, было бы, конечно, односторонне и необедительно ограничиваться при этом одними лишь ссылками на законодательные постановления, имевшие целью охрану меньшинственных прав. Наше время изобилует примерами того, как прекрасно звучащие конституции и законы, якобы обеспечивающие права отдельных граждан и их групп, имеют по существу только пропагандно-декларативное значение и на деле служат лишь маскировкой господствующего в стране бесправия и произвола властей. Действительно благоприятное положение национального меньшинства и представляющиеся ему возможности успешно сохранить свою самобытность и развивать свое культурное наследие зависят, несомненно, и от ряда других факторов, кроме одной лишь юридической формулировки меньшинственных прав в законодательных актах, даже самых широкозвещающих.

К таким факторам относятся как степень правосознания среди жителей страны, так и отношение к данному меньшинству широких кругов ее населения и, в особенности, его правящей элиты, а также — численность меньшинства, его хозяйственная и общественная мощь и, наконец, его политическая зрелость и стойкость при защите своих прав и интересов.

О численности русского меньшинства в Латвии и о его распределении в стране свидетельствует следующая картина. Русские, будучи наиболее многочисленным меньшинством, в основном были сосредоточены в Латгалии, где они в ряде восточных волостей составляли абсолютное (т. е. больше 50%) большинство населения. Почти все русские в Латвии были ее полноправными гражданами, и в 1935 г. только приблизительно 4000 чел. были бесподданными (нансенстами) и не имели прав гражданства.

Основная масса русского населения были латгалские крестьяне, и их хозяйственное положение, культурный уровень и степень национального самосознания имели особое значение для жизни всего русского меньшинства и его реальных возможностей защищать свои права и интересы. Поэтому условия жизни русского крестьянства и его нужды были предметом постоянных забот русских земских деятелей и парламентских депутатов. Суждения и выводы этих деятелей находили выражение в их отчетах и выступлениях и дают ясное представление о состоянии дел русской деревни в Латгалии.

«Закон об аграрной реформе» (принятый Учредительным Собранием 16 сентября 1920 г.), имевший целью создание мелких хуторских хозяйств размерами до 22 га за счет отнятой у помещиков земли, почти не коснулся русского населения. Новые хозяйства не попали в русские руки, а старые малоземельные не получили прирезков, за единичными исключениями. Кроме малоземелья (русские землевладельцы имели вдвое меньше земли, чем латыши вне Латгалии), характерными для быта русского крестьянства были отсталость сельскохозяйств-

венной культуры и малая возможность применения крестьянского труда на месте. Отсюда — тяга к отхожим промыслам в другие области Латвии, где нужна была работа канавщиков, плотников, каменщиков и т. п. Неблагоприятным обстоятельством был и низкий общий культурный уровень массы русского населения, среди которого был наиболее высокий процент неграмотных.

Что касается городского русского населения, то оно исчислялось приблизительно в 60 000 чел., причем немного больше половины этого числа составляли русские жители Риги, а остальная часть русских горожан проживала преимущественно в латгальских городах (Двинск, Режица, Люцин) и местечках, составляя в некоторых из них около четверти населения. Среди русских горожан численно преобладали рабочие, ремесленники и мелкие торговцы, а процент интеллигенции (по отношению к общей численности меньшинства) у русских был ниже, чем у немцев и евреев.

Рига, столица Латвии, издавна была городом-портом с многонациональным составом жителей. В 1935 г. в Риге насчитывалось 385 000 жителей, из которых около 33 000 было русских, 39 000 — немцев и 43 000 — евреев. Среди русских рижан было немало представителей купечества, обосновавшегося в городе еще в прошлом столетии. Некоторые из них смогли сохранить свое имущество и, применяясь к новым обстоятельствам, продолжать дело. Поэтому в Риге существовали старые и новооткрытые русские торгово-промышленные предприятия и магазины, были русские домовладельцы и фабриканты. Местная русская интеллигенция насчитывала в своих рядах лиц различной квалификации и разнообразных специальностей и в течение первых 10–15 лет существования республики часть русских специалистов находила применение своим силам как в области свободных профессий, так иногда и на службе государственной и местных самоуправлений. Последнее в особенности относится к русскому учительству, обслуживавшему сеть русских основных и средних школ, и составлявшему одну из наиболее многочисленных профессиональных групп местной русской интеллигенции.

Между двумя мировыми войнами Рига была одним из крупных русских зарубежных центров, в котором наследие и влияние русской культуры сказывалась в жизни государственной и бытовой, отличаясь в этом смысле от зарубежных чисто эмигрантских центров. Русские Судебные Уставы 1864 г. и русское Уголовное Уложение 1903 г. при создании государства были признаны как наиболее подходящие в условиях нового правопорядка, и источники русского законодательства и юридической мысли и в дальнейшем не оставались без влияния на развитие права в Латвии. В Латвийском университете, среди учебного персонала которого вообще было немало русских и немецких ученых, особенно на юридическом факультете, была заметна научная деятельность видных русских профессоров. При незнании латышского языка они получали право в течение известного числа лет вести занятия на русском языке.

В русском зарубежье Рига занимала заметное место в смысле газетного, журнального и книжного издательства. Перечисление всех выходивших в независимой Латвии периодических изданий на русском языке потребовало бы специального очерка. Ограничусь поэтому упоминанием лишь нескольких изданий. Сюда относится, прежде всего, газета «Сегодня», ежедневно выходившая утренним и вечерним изданием и просуществовавшая с 1919 г. до конца независимости Латвии<sup>3</sup>. Затем, с 1925 по 1929 г., под редакцией Н. Г. Бережанского (при участии писателя Ивана Лукаша) выходила ежедневная газета «Слово». С этим изданием был связан литературно-художественный журнал «Перезвонь». В издании Русского Юридического О-ва в Латвии с 1929 г. выходил единственный за рубежом журнал русской юридической мысли «Закон и Суд», а с 1933 г.

<sup>3</sup> Долголетний редактор газеты Михаил Семенович Мильруд во время сов. оккупации Латвии в 1940—1941 гг. был арестован, осужден в Москве и погиб в лагере

популярный еженедельный иллюстрированный журнал «Для Вас». Комплекты этих изданий, ставшие теперь библиографической редкостью, представляют собой исключительно ценный и необходимый источник для исследования жизни русского меньшинства в Латвии в ее бытовом, культурном, общественно-политическом и правовом аспектах.

Русские, приезжавшие из стран эмигрантского рассеяния в Ригу, обычно бывали поражены распространением русского языка и возможностью почти всюду в городе объясниться на этом языке. Не раз приходилось читать в воспоминаниях высказывания, сводящиеся к тому, что русский и немецкий языки в Латвии пользовались такими же гражданскими правами, как и латышский. Такая характеристика положения содержит в себе много правды в смысле бытовом, но далеко не соответствует формально-правовым обстоятельствам, с которыми необходимо было считаться местным русским и которые, конечно, оставались вне поля зрения приезжавших на время из-за границы.

Что касается стороны бытовой, то, действительно, в первые 10—15 лет существования Латвии, несмотря на то, что число русских жителей Риги не превышало 10% населения города, русский язык не только повсюду слышался, но с ним легко можно было обойтись в смысле житейско-обиходном. Дело в том, что многочисленные нерусские жители города или пользовались русским языком как разговорным (евреи), или свободно говорили на нем (латыши и немцы).

Многочисленнее русских были еврейские жители города, причем в их среде преобладающим разговорным языком был русский. Рижские евреи тяготели к русской культуре, охотно посылали (пока это не было законом воспрещено) своих детей в русские школы, были ревностными посетителями Русского театра и иных русских культурных начинаний и вносили немалую долю в дело книгоиздания и периодической печати. В экономической жизни страны и особенно в области промышленной и коммерческой евреи играли значительную роль, и в их предприятиях обычно свободно говорили по-русски.

Хотя радикальная реформа и безвозмездное отчуждение помещичьих земель сильно подорвали экономическую мощь прибалтийских немцев, они продолжали играть важную роль в экономике страны и, в особенности, в Риге, свидетельством чему служили их издавна известные коммерческие фирмы. Старшее поколение немцев, обучавшееся до революции в русских учебных заведениях, тоже обычно владело русским языком. В результате, пока на этот счет не были изданы ограничительные распоряжения властей, в частных предприятиях обслуживание клиентуры и переписка с ней обычно велись, в зависимости от удобства клиента, на одном из трех местных языков: латышском, русском или немецком.

Что касается широких кругов латышского населения, то его среднее и старшее поколение, в общем, в той или иной мере владело русским языком или потому, что служило до или во время мировой войны в русской армии, или оттого, что получило полностью или частично образование в России и было, таким образом, по личному опыту знакомо с русской культурой и условиями дореволюционной русской жизни и быта, с которыми еще чувствовали некую связанность. Так, например, латышский общественный деятель И. Кауль писал в 1925 г.: «Ведь как-никак мы, латыши, долгое время были связаны единой судьбой с русским народом, да и ныне у нас осталось кое-что общее, общие воспоминания о прошлом. Ведь все мы горячо молимся и стремимся к свержению интернационального коммунистического ига». Можно поэтому сказать, что первоначальное в Латвии не наблюдалось ярко выраженной и широко распространенной антипатии ко всему русскому, и проявления подобного умонастроения со стороны отдельных публицистов в то время были скорее исключением, чем общими явлением.

В первые годы независимости Латвии в рижском обиходе мирно уживалось прежнее троязычие. Унаследованные с «царских времен» дощечки с названиями улиц на трех местных языках (правда, уже в 1923 г. замененные по

постановлению рижского самоуправления одноязычными, латышскими) помогали ориентироваться в городе людям, не владевшим латышским языком. Обязательным было только то, чтобы латышский текст был помещен на первом месте и чтобы по размерам он не был меньше текста иноязычного. В кино, в годы «немого» фильма, появлявшиеся на экране пояснительные тексты обычно тоже давались на трех языках.

Таким образом, если можно было считать, что практически, в сфере обиходной и частно-правовой, меньшинственные языки были равноправны с латышским, то иначе дело обстояло в сфере сношений с государственными и коммунальными учреждениями, законы и распоряжения которых издавались только на латышском языке. Общего закона, который формально регулировал бы объем права пользования меньшинственными языками, довольно долго не было. Вопрос этот разрешался как постановлениями отдельных законов (напр., законы о собраниях и обществах 1923 г. и о печати 1924 г.), так и распоряжениями по отдельным ведомствам, а в парламенте — соответствующими статьями его наказа. Так дело продолжалось до 18 февраля 1932 г., когда изданы были «Правила о государственном языке», в значительной степени ограничившие право пользования меньшинственными языками.

Сводя содержание этого закона к краткой и общепонятной формулировке, русский юрист писал: «Право пользования русским языком, как языком меньшинственной национальности, в одних случаях совершенно запрещено (армия, флот, государственные и коммунальные учреждения), в других случаях оно только ограничено (на заседаниях органов самоуправления), а в третьих случаях (общественные собрания, печать, торговля, промышленность, просвещение и пр.) более или менее свободно».

Описание положения вопроса о русском языке в Латвии было бы неполным без указания на два фактора, постепенно, но неизбежно действовавших в смысле сужения круга пользующихся и владеющих русским языком. Во-первых, с каждым проходившим годом сокращалось число латышей, знающих русский язык, тем более, что он был исключен из числа обязательных предметов преподавания в латышских школах. Во-вторых, все более сказывалась тенденция законодательным путем ограничивать сферу, в которой допущено было пользование русским языком. Эта тенденция, связанная с шовинистическими настроениями некоторых представителей латышской интеллигенции, проявилась уже очень рано. Так, в 1921 г. латышская газета «Латвияс саргс» писала: «... Мы должны строго отгородиться как от азиатской русской культуры... так и от чванливой германской культуры, и больше приблизиться к богатым, преисполненным силой и энергией английским и французским источникам культуры». Противодействовать такой тенденции и по возможности охранять русскую культурную стихию от попыток ее ограничения в области правовой было одной из важных задач русских деятелей, избравшихся русским населением Латвии в ее представительные учреждения.

Принятая 15 февраля 1922 г. Учредительным Собранием Конституция Латвийской Республики вступила в силу 7 ноября 1922 г. Она устанавливала, что «Латвия есть независимая демократическая республика» (ст. 1), законодательный орган которой — Сейм — состоит из ста представителей, которые избираются на три года «всеобщим, равным, прямым, тайным и пропорциональным голосованием» (ст. 5, 6 и 10). Президент республики избирался Сеймом сроком на три года (ст. 35). Исполнительный орган — Кабинет Министров — возглавлялся министр-президентом, который в случае, если Сейм ему выражал недоверие, уходил со всем кабинетом в отставку (ст. 55 и 59).<sup>1</sup>

Как в Учредительное Собрание (состоявшее из 150 представителей), так

<sup>1</sup> Все три первых президента Латвии были юристы, получившие образование в дореволюционной России: Я. Чаксте — в Московском университете, Г. Земгалс — в Московском и В. Квиесис — в Юрьевском.

и в Сейм всех четырех созывов меньшинства проводили своих представителей, о численности которых дает представление следующая таблица:

	1920—1922	1922—1925	1925—1928	1928—1931	1931—1934
	Учр. Собр.	I Сейм	II Сейм	III Сейм	IV Сейм
Русские	4	3	5	6	6
Немцы	6	6	5	6	6
Евреи	6	6	5	5	3
Поляки	1	1	2	2	2

Меньшинства  
вместе

17                      16                      17                      19                      17

Эта таблица показывает, что русское меньшинство ни в одном представительном учреждении Латвии не было представлено соответственно его численности. Наибольшее число депутатов, которое проводилось русским населением, не превышало шести, в то время как русские составляли 12% всего населения страны и, следовательно, должны были бы иметь 12 депутатов.

Причины такого несоответствия были многообразны и сложны. Сюда относятся: социальное и вероисповедное (православные и старообрядцы) расщепление русского населения, низкий культурный уровень и слабо развитое национальное самосознание его основной массы, неумение изживать разногласия и выступать на выборах единым списком. Отмечалось, что во время избирательных кампаний появлялись различные списки русских кандидатов, боровшихся между собой, и это приводило к раздроблению русских общественных сил, а иногда и к уменьшению количества полученных мандатов. Кроме абсентеизма избирателей отрицательное значение имело в какой-то степени также стремление левых латышских (социалистических) партий оторвать часть русских избирателей от их национальных списков, выставляя в своей пропаганде (часто на русском языке) социальные мотивы.

Редактор газеты «Сегодня» М. И. Ганфман, подводя итоги происходившим в 1931 г. выборам в Сейм последнего созыва и сравнивая число голосов, поданных за русские списки во время всех избирательных кампаний, отмечал тенденцию роста русских голосов и все большее и большее участие русского населения в выборах (в 1922 г. на выборах в первый Сейм было подано 29.574 голоса, а в 1931 г.—65.512). Вместе с тем автор говорит: «Однако было бы слишком оптимистическим думать, что этот процесс уже дал желанные результаты. Согласно официальным данным количество избирателей русской национальности исчисляется в 125 тысяч. Следовательно, почти половина русских избирателей и при последних выборах не использовала своего права голоса». В то же время немцы, у которых число полноправных избирателей исчислялось в 45.016, голосовали почти поголовно и смогли провести в Сейм 6 депутатов, т. е. столько же, сколько русские.

Группа меньшинственных депутатов Сейма численно представляла собой довольно внушительную политическую величину, принимаемая во внимание партийную раздробленность латышских депутатов. Однако первоначальные попытки сплотить меньшинственных депутатов в постоянно оформленный «блок», который выступал бы по всем вопросам сообща, оказались неосуществимыми по ряду причин. Поэтому сотрудничество между меньшинственными депутатами достигалось от случая к случаю, и в обстоятельствах, когда создавалась угроза основным культурным правам и интересам меньшинств, их депутаты согласовывали свои действия и выступали сообща.

Что касается русских депутатов, то им не удавалось добиться того, что осуществили немецкие депутаты, т. е. объединиться в постоянную единую национальную фракцию, члены которой подчинялись бы строгой фракционной дисциплине и от имени которой выступал бы один общепризнанный лидер. Но и при таком положении, несмотря на возникавшие разногласия личного и группового характера, русские депутаты в общем выступали совместно, когда

дело касалось непосредственных национально-культурных и материальных интересов русского населения. Защищая права русской школы, пользования русским языком, вероисповедных и просветительных организаций, борясь за земельные права русского крестьянства и за получение средств на содержание русских организаций, отражая шовинистические наступления на меньшинственные права, русские депутаты не раз добивались важных результатов своей деятельности на общих собраниях Сейма и в его комиссиях.

Участие русского представительства в парламенте, в городских думах и других органах самоуправления, существование свободной русской печати, охрана правопорядка независимыми судебными учреждениями, управлявшими правосудием в духе и традициях старого русского суда,— все это, при инерции уклада жизни, сложившегося еще в то время, когда Прибалтика была составной частью Российской империи, давало русским жителям Латвии возможность жить в условиях намного более благоприятных, чем те, в которых находились их сородичи в других государствах. В 1927 году об этом писал Б. А. Никольский, организатор созданного за год до того Постоянного Бюро Русских Меньшинств в Женеве: «Справедливость требует указать, что среди стран, в которых оказались русские меньшинства, на первом месте по порядочности отношения к меньшинствам стоит Эстония... Очень близко к Эстонии стоит Латвия по степени культурности в обхождении с меньшинствами».

### Рост шовинизма и режим диктатуры

Тенденция к ущемлению меньшинственных прав, сперва в области вероисповедной, проявилась уже во время заседаний Учредительного Собрания. Дело тогда заключалось в том, что по условиям конкордата, заключенного с Ватиканом в 1921 г., латвийское правительство обязалось предоставить в распоряжение католического архиепископа кафедральный собор и другие здания (под резиденцию и канцелярию диоцеза). В связи с этим был внесен законопроект, предусматривавший отчуждение немецкой лютеранской церкви Св. Якова и православного Алексеевского монастыря, при котором был архиерейский дом.

Несмотря на упорную парламентскую борьбу русских и немецких депутатов, Сейм принял в 1923 г. закон об отчуждении указанных имуществ, после чего глава православной церкви архиепископ Иоанн Рижский и всея Латвии, лишившись своей исторической резиденции, поселился в подвальном помещении под рижским православным кафедральным собором.

Через два года, летом 1925 г., последовало очередное событие, глубоко взволновавшее православное население Риги: по распоряжению правительства была снесена часовня-памятник на площади перед главным вокзалом по причине того, что она якобы «мешала движению»<sup>5</sup>.

Удары по православному населению, большинство которого были русские, вызвали энергичные выступления русских депутатов в Сейме. Так, депутат от старообрядцев М.А.Каллистратов, в одной из своих больших речей, между прочим, сказал: «Чувство христианина никогда не примирится с тем, что была снесена часовня и сделана на месте ее стоянка для извозчиков. Совершенно недопустимо отвести православному архиепископу подвал, предоставивши главам других церквей соответствующие помещения»<sup>6</sup>.

Арх. Иоанн (Поммер), избранный во второй Сейм и оставшийся депутатом вплоть до осени 1934 г. (когда он был зверски убит), будучи сам латыш по рождению, неоднократно выступал с трибуны парламента и на страницах русской печати в защиту православия и русской культуры. Говоря о несправдлив-

<sup>5</sup> О сносе часовни подробно сообщается в газ. «Сегодня» 18, 21, 22, 23 и 25 июля 1925 г.

<sup>6</sup> «Сегодня», 2 июня 1926. Мелетий Архипович Каллистратов во время сов. оккупации Латвии в 1940—1941 гг. был арестован, вывезен и погиб в СССР.

востях, чинимых по отношению к православной церкви, владыка говорил: «Ни для кого не секрет, что злобные удары по православной церкви и больно бьются по самой чувствительной струне русской души, все наносятся у нас под знаком подчеркнутой русофобии. Православную церковь у нас всячески утесняют не за ее догматы, не за каноны, а потому, что в умопредставлении наших русофобов она есть «русская церковь», «русская вера». А на заседании Думы Культурного Фонда владыка выступил с речью, в которой отмечал: «В целом ряде случаев у нас реквизируются наши храмы, построенные на средства православных. Некоторые из них, как напр. Рижский Алексеевский храм и Рижский Петропавловский храм, бывший наш кафедральный собор и усыпальница православных архиереев, переданы инославным, а некоторые обращены для чисто светского употребления: напр., в одном помещается музей, в одном гимнастический зал, в одном концертный зал и т.п.»

Но не только в сфере вероисповедной замечалось постепенное усиление антирусских настроений и попыток урезать права русского населения. Эта тенденция находит убедительное отражение на страницах газеты «Сегодня», в ее многочисленных передовицах, статьях и сообщениях о деятельности Сейма и его комиссий. Приведу несколько соответствующих примеров.

Деп. Е. М. Тихоницкий в передовице «Зачем нарушать» говорит о циркулярах министерства образования, путем которых достигается ограничительное толкование школьной автономии, ведущее к сокращению количества русских школ («Сегодня» от 3.9.1926). Деп. М.А. Каллистратов, выступая в бюджетной комиссии Сейма, перечисляет случаи попыток нарушения прав пользоваться русским языком в самоуправлениях даже в тех местностях, где русские составляют большинство населения («Сегодня» от 10.2. 1927). Арх. Иоанн, в выступлении в Думе Культурного Фонда, указывает на то, что на просветительные нужды русского населения отпускаются далеко не те суммы, которые следуют русским пропорционально их численности («Сегодня» от 3.6. 1927).

Когда поднят был вопрос в введении преподавания русского языка в качестве обязательного предмета в латгальских основных школах, латышская газета «Брива земе» (официозо влиятельного Крестьянского Союза), в своей передовице писала: «Если мы введем обязательное обучение русскому языку, мы будем способствовать русификации латышей в пограничной полосе. Поэтому русский язык не смеет звучать ни в одной латгальской школе. Введение русского языка в латгальских народных школах вредно для нашего народа и для укрепления нашего государства».

Как показатель нарастающих антирусских настроений, находивших выражение в латышской печати, эта статья не была единичным случаем. В другой латышской газете («Брива тевия») латышский публицист Ж. Унамс писал, что не стоит заваливать умы «балластом русского языка» и советовал учиться вражде к русскому языку у финнов, которые даже на своих ножиках вырезывали «против черта и русских». По этому поводу «Сегодня» в своей передовице отмечала: «В статье мы видим яркий образец тех вредных практических последствий, которые вытекают из «азиатской» доктрины по отношению к русскому языку и русской культуре» («Сегодня» от 14.11. 1926).

Приведенные образчики антирусских выступлений ярко отражали перемены в первоначальном благоприятном для русских культурно-политическом «климате», которые в известной степени были связаны с уходом со сцены политической жизни страны той части старой латышской интеллигенции, которая не страдала русофобией. Эти сдвиги в отношении к меньшинствам начали все сильнее сказываться в политической жизни страны в начале 1930-х годов. Об этом периоде латышский эмигрантский автор книги по истории Латвии А. Шильде пишет: «Волна национализма прокатилась в 1933 г. по всей Латвии, причем на ней плыли не только крайние националисты, но она увлекла за собой и убежденных демократов».

В националистических кругах популярность приобрел лозунг «Латвия для латышей», а с приходом к власти в декабре 1931 г. нового правительства, в нем министром образования стал А. Кениньш, прокламировавший целью своей школьной политики создание «единой латышской культуры». В Сейме вокруг связанных с этим курсом попыток всяческими мероприятиями по существу отменить или ограничить школьную автономию меньшинств разгорелась ожесточенная парламентская борьба. Она продолжалась до 1933 г. и закончилась отменой распоряжений Кениньша и его уходом в отставку. Однако страна уже стояла на пороге коренной ломки ее демократического правопорядка, и тот факт, что в Сейме было успешно отбито наступление на школьную автономию меньшинств, оказался последней победой в борьбе за свои права.

В ночь с 15 на 16 мая 1934 г. тогдашний министр-президент К. Ульманис, при содействии военного министра ген. Я. Балодиса, совершил государственный переворот. Страна была объявлена на военном положении, и деятельность Сейма и политических партий приостановлена. Председатель Сейма и ряд политических деятелей арестованы. В воззвании, подписанном обоими деятелями переворота, они говорили, между прочим, что будут стремиться к тому, «чтобы в Латвии торжествовало латышское и исчезло чужое». Вслед за тем новое правительство объявило, что функции парламента впредь будут осуществляться кабинетом министров.

Более подробно о намерениях правительства стало известно из радиоречи министра внутренних дел В. Гульбиса, полностью опубликованной в русском переводе в газете «Сегодня» (от 1.8. 1934). В своей речи министр говорил о том, что подобающее место в жизни страны будет отведено латышскому языку, и добавил: «Мы требуем, чтобы впредь во всех государственных учреждениях граждане Латвии по своим делам обращались на государственном языке». Отмечая, что правительство «уверенно будет идти вперед, следуя призыву нашего вождя», министр определил цели правительства следующим образом: «1) создание латышской Латвии; 2) укрепление единства латышского народа и 3) усиление внутренней крепости и мощи нашего государства».

Речь министра была характерна также и в том отношении, что в ней недвусмысленно оповещалось о конце свободы печати в Латвии. По его словам, «все несолидные и подрывающие устои жизни периодические издания теперь закрыты, а для части оставшихся введена предварительная цензура».

О причинах того, что «Сегодня» не оказалась в числе подлежащих закрытию органов печати, можно лишь строить предположения. Одно из них — тот факт, что газета имела многочисленных читателей во всей Прибалтике, Польше и Финляндии и что среди ее постоянных подписчиков было немало высокопоставленных и близких к правительствам этих стран лиц. Поэтому закрытие газеты получило бы широкую огласку далеко за пределами страны, что, по-видимому, правительством Ульманиса считалось нежелательным.

Окончательная консолидация диктатуры Ульманиса произошла в апреле 1936 г., когда истекли полномочия последнего законно избранного президента государства А. Квиесиса. По постановлению кабинета министров полномочия президента были возложены на К. Ульманиса, и с этого момента, как пишет А. Шильде, «в руки Ульманиса перешли законодательная и исполнительная власти, репрезентация государства и верховное военное командование, причем министр юстиции Х. Аписитис приписывал ему также роль источника права». Таким образом, по словам автора, Латвия после 16-летнего существования перестала быть правовым государством в западном понимании этого слова и в ней воцарился режим единоличной диктатуры.

Этот режим отличался от фашистского режима в Италии и от национал-социалистского в Германии тем, что диктатор не опирался на какую-либо массовую партийную организацию и таковую не создавал. По определению другого латышского автора, Ф. Циеленса, видного социал-демократа, который во время

майского переворота жил в Париже, будучи там латвийским посланником, «инструментом управления обществом стал аппарат чиновников, который, на основании донесений политической полиции, основательно прочистили, уволив со службы не только социал-демократов, но и других демократов».

Для понимания сущности режима Ульманиса и воцарившегося в стране беспартия интересно привести слова того же автора, партия которого в прошлом отличалась своей ненавистью к монархическому строю в России и обычно яростно его критиковала. Циеленс в своих воспоминаниях пишет: «В России до 1905 г. царило неограниченное царское самодержавие и у народа не было свободы в западном понимании. Однако народ не был так подчинен государственной власти, как это было в Латвии после 15 мая». И этот же автор отмечает, что «во время диктатуры Ульманиса печать была более ограничена, чем во время царского самодержавия до 1905 г.». При этом Циеленс упоминает любопытный случай: его книга о современном империализме, изданная в России до революции, при Ульманисе была включена в список «вредных» книг, подлежащих уничтожению и изъятию из библиотек. Этот случай латышский автор называет примером «невежественной некультурности и фанатической непримиримости».

В политической жизни страны появилось новое понятие — «народный вождь», т.е. титул, применявшийся к диктатору. Сущность этого понятия разъяснял один из официозных журналов таким образом: «Он на самом деле по мнению народа воплощение государства, подлинный великий Хозяин Государства, который действительно знает нужды Латвии и латышского народа, и который также знает, как пойти навстречу этим нуждам». Из такого понимания прав и полномочий «народного вождя» вытекали обязанности населения как безгласного исполнителя получаемых свыше приказаний. Это откровенно сформулировал министр общественных дел Алфред Берзиньш (игравший при Ульманисе роль германского Геббельса) в своей речи, текст которой на русском языке содержал, между прочим, такой абзац: «В нашей стране нашей судьбой руководит Президент государства Карлис Ульманис, Вождь нашего народа . . . Никогда не вопрошайте: почему и отчего. Преданный человек всегда ответит без промедления, как воин: слушаюсь, я исполню!» («Сегодня от 15.1. 1940).

Одним из неотъемлемых пунктов программы Ульманиса по переустройству государства было проведение в жизнь лозунга «Латвия для латышей», который им был перенят из программных положений прежних националистических и антимишнинственных центристских и радикально правых партий. И поэтому, как говорил немецкий историк, «нелатышские национальные группы, лишенные, вследствие устранения парламента и городских самоуправлений, всякой возможности защищать свои права, были исключены из участия в государственной и административной работе».

Курс Ульманиса на «латышскую Латвию» не замедлил сказаться на правовом положении меньшинств. Вслед за переворотом было объявлено об отмене школьной автономии меньшинств. На первой странице «Сегодня» появилось сообщение: «Ликвидируются меньшинственные отделы министерства образования, из которого стало известно, что вместо ликвидируемых отделов «будут назначены советники» («Сегодня» от 28.5. 1934). Из этого же номера газеты можно было узнать, что министр образования Л. Адамович поместил в латышской газете программную статью, в которой он говорил, что необходимо освободиться от влияния чужих культур, которые «угрожают латышизму».

Кабинет министров вскоре принял соответствующий новый закон о народном образовании, который предусматривал, что при министерстве образования будут должности референтов по меньшинственным просветительным делам, назначаемые министром, компетенция которых будет определена специальной инструкцией («Сегодня» от 13.7. 1934). Затем русское население узнало, что все

служащие Русского отдела уволены и что «референтом по русским делам» назначен бывш. депутат Сейма И.С.Трофимов («Сегодня» от 26.7. 1934).<sup>7</sup>

После опубликования закона о народном образовании министр образования Л.Адамович издал специальную инструкцию об определении национальности учащихся, которая в значительной степени ограничивала права родителей посылать детей в меньшинственные школы в случаях смешанных браков. Так, например, если в семье отец был латыш, но женат на русской, даже если разговорный язык дома был русский, родители не имели права определить детей в русскую школу, а обязаны были посылать их в школу с латышским языком преподавания («Сегодня» от 17.8. 1934).

Также и в сфере хозяйственной мероприятия правительства Ульманиса были целеустремленно направлены на латышизацию экономики страны, в которой, как упоминалось, меньшинственные предприятия играли немаловажную роль. Одним из могущественных орудий его политики при этом был основанный в 1936 г. Латвийский Кредитный Банк. Он перенимал в свою собственность предприятия, попавшие будто бы в платежные затруднения или отчуждавшиеся за известное, произвольно им назначаемое вознаграждение под видом покупки, причем для такой сделки нередко не испрашивалось согласия их владельцев или акционеров. Таким образом создан был ряд крупных государственных предприятий в главных отраслях экономики страны и положено начало государственному капитализму.

Подобными мероприятиями, с одной стороны, ослаблялось или вовсе исключалось влияние меньшинств на хозяйственную жизнь страны, а с другой — подрывалась их экономическая независимость и возможность предоставлять работу своим сорочичам. Для русских, немцев и евреев всё труднее было устраиваться на работу в новых латышских предприятиях, придерживавшихся практики предоставлять работу преимущественно лицам латышской национальности. То же самое происходило в области свободных профессий, доступ в которые постепенно затруднялся для нелатышей.

Чинимые затруднения и создававшиеся препятствия при поступлении на работу особенно ощущались молодым меньшинственным поколением, кончавшим Латвийский университет, так как доступ в некоторые профессии, как, например, в адвокатуру, был чрезвычайно затруднен негласно введенной процентной нормой.

В результате более чем пятилетних усилий правительства Ульманиса создать «латышскую Латвию» ее жители нелатыши все меньше чувствовали себя полноправными гражданами, и они почти повсюду испытывали то, что по современной терминологии называется дискриминацией. В ретроспекте это подтверждает в своей книге А. Шильде. Он говорит, что Ульманис, любивший выступать от имени «народа», вождем которого его величали, под народом понимал не всех жителей Латвии, а только латышей. Это, по мнению автора, «составляло у части инородцев представление о том, что латвийские подданные разделяются на граждан двух разрядов».

Несмотря на угрожающую международную обстановку, сложившуюся к концу 1930-х годов, русофобские настроения, против которых владыка Иоанн неоднократно выступал еще в 20-х годах, теперь стали находить выражение гораздо более ощутимым образом в виде разного рода ущемлений прав русского населения, против которых оно было бессильно сопротивляться. К таким фактам относятся закрытие русских периодических изданий (совершенно аполитичных), как, например, журнал «Закон и Суд», запрет издания которого последовал в 1938 г. Подобные мероприятия ясно указывали на намерение планомерного подавления культурной самостоятельности русских и удручающе на них действовали. Об этих чувствах свидетельствует письмо видного русского

<sup>7</sup> Сергей Иванович Трофимов во время сов. оккупации Латвии в 1940—1941 гг. был арестован и расстрелян. Его тело было найдено в братской могиле недалеко от Риги.

юриста и основателя журнала, председателя Русского Национального Союза в Латвии, П. Н. Якоби. В письме, адресованном одному из сотрудников журнала, профессору А. В. Маклецову, Якоби писал: «Мы не могли предполагать, что шовинистическая власть посягнет на научную мысль. А вот подите же, мегаломания и шовинистический обскурантизм пресек нашу деятельность»<sup>8</sup>.

Последовательная политика вытеснения нелатышских элементов из всех областей государственной, культурной и хозяйственной жизни страны, которую неукоснительно проводил Ульманис, дала ощутимые результаты. Однако выразить успехи латышизации в точных цифровых данных можно только приблизительно, поскольку всенародная перепись населения Латвии была произведена в 1935 г., т.е. через сравнительно короткое время после установления режима диктатуры. В первую очередь усилия по расширению сферы латышства должны были сказаться на населении Латгалии, часть жителей которой тяготела в сторону русской или польской народной стихии. Немецкий исследователь этого вопроса говорит, что «воздействие новой латышской национальной политики сказалось уже при переписи 1935 г.», причем он указывает на тот факт, что численный рост русского населения, выявленный при переписи, отнюдь не соответствовал его естественному приросту. Автор замечает по этому поводу: «Очевидно, часть русских объявила себя латышами или были к таковым причислены счетчиками».

Тревогу среди русских вызывало постоянное сокращение сети русских школ и количества учащихся русской национальности. Такая тенденция обнаружилась уже в 1934 г., когда оказалось, что в 1933/34 учебн. году осталось только 187 основных школ (вместо 215 в предыдущем) и что число учащихся в них сократилось на тысячу. Постепенно сокращалось и число средних русских школ. В 1933/34 учебн. г. еще действовали 5 государственных, 1 городская и 4 частные средние школы, а к моменту вступления в страну советских войск остались лишь две (государственные) средние школы: в Риге и Режице. За тот же период времени все больше сокращалась сеть русских основных школ в Латгалии за счет так называемых «смешанных» школ, с латышским языком преподавания.

О том, что националистическая политика Ульманиса за сравнительно короткий (пятилетний) срок его влывания привела к заметным результатам и успела сильно изменить атмосферу в стране, и в частности лицо старой Риги, есть свидетельства не только местных русских и немцев, но и авторитетных наблюдателей со стороны.

Так, например, Джордж Кеннан, начавший свою дипломатическую карьеру в Прибалтике и служивший в американском посольстве в Риге (имея также заданием в совершенстве изучить русский язык), вспоминает в своих мемуарах Ригу 1920-х годов, которая понравилась ему своей «многообразной и чрезвычайной космополитической культурной жизнью». И дальше он пишет, что господствующие в стране латыши, «становясь все больше шовинистами . . . заботились о том, чтобы положить конец всему этому космополитизму как можно скорее и, в конечном счете, преуспели в этом в 1939 г., лишив город значительной доли его привлекательности».

А другой американец, знаток послеверсальской Восточной Европы, Мальбон Грэхэм, писал, что лично может засвидетельствовать, что авторитарный режим Ульманиса, «применяя антидемократическую тактику, все больше и больше приближался по своему темпу и по своим тенденциям к практике нацистов».

Объективность, однако, требует внести в это суждение, во многом справедливое, известную поправку. Если по своим целям и тенденциям, по крикливости и лживости своей пропаганды режим Ульманиса и носил черты, сближавшие его с национал-социализмом, то по методам, применявшимся им для достижения поставленных задач, он несопоставим ни с германским, ни с коммунистическим

<sup>8</sup> Копия письма есть в моем архиве Петр Николаевич Якоби во время сов. оккупации Латвии в 1940—1941 гг. был арестован, вывезен и погиб в СССР.

тоталитаризмом с их безжалостным отношением к людям и с их кровавыми расправами.

Неизвестно, конечно, к каким способам подавления прибег бы Ульманис, если бы в стране проявилось активное сопротивление его режиму. Но фактом остается, что, поскольку такие попытки не производились и обнаружилось отсутствие гражданского мужества у ведущих слоев латышского общества и полная пассивность населения, диктатору не пришлось за время своего господства прибегать к жестоким расправам и репрессиям, применявшимся его тоталитарным соседом. После переворота 1934 г. было арестовано свыше 2000 человек, которых содержали в тюрьмах и в концентрационном лагере в Либаве. Однако в течение года большинство арестованных было освобождено и только сравнительно немногие были приговорены к тюремному заключению на несколько лет. Вот почему латышская писательница Зента Мауриня, известная своими литературно-критическими статьями и книгами также и за пределами Латвии и не раз критиковавшая порядки при режиме Ульманиса, в конце своей автобиографической книги имела основание заметить: «И к чести нашего президента надо сказать, что за время своего правления он не приговорил ни одного человека к смертной казни».

Поэтому, после того как над Прибалтикой пронеслись сперва кровавый год коммунистического террора, а потом события второй мировой войны, обошедшие ее население в десятки тысяч человеческих жизней, психологически понятно, что в памяти некоторых русских латвийцев постепенно побледнели обстоятельства из жизни в последнее пятилетие независимой Латвии. Пережитые ими **тогда** несправедливости, бесправие и национальная приниженность заслоняются **воспоминаниями** более отрадными. Они обычно связываются с тем первоначальным периодом независимости Латвии, когда по ней еще не раздавалось **навязчивое** и подобострастное славословие мудрости «народного вождя», **самовольно** распоряжавшегося жизнью страны, и когда еще казался прочно **установленным** правопорядок молодой республики, при котором ее русские граждане могли себя чувствовать как дома, сохраняя свой язык и национально-культурную самобытность.

**Савелий ДУДАКОВ**  
(Иерусалим)

## О «ПРОТОКОЛАХ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ»

1

Неожиданные сообщения приходят в последнее время из Советского Союза. Например, внезапно возник общественный интерес к знаменитым «Протоколам сионских мудрецов»: их печатают, распространяют на съезде российских писателей и некоторых других форумах; на одной дискуссии в Москве небезызвестный Дм. Васильев намекал на подлинность «Протоколов» и упрасивал «кого-то» сказать «всю правду»: мол, и сам Ленин верил в подлинность «Протоколов»!

Экземпляр этой книги действительно хранится в личной библиотеке В. Ленина, однако утверждать на этом основании, что В. Ленин верил ее фантастическому содержанию, — все равно, что, скажем, обвинять нас в доверии к словам г-на Васильева (мы ведь тоже держим его выступление среди наших материалов). Но в чем Дм. Васильев прав безусловно — широкая публика в Советском Союзе пока что почти ничего не знает о «Протоколах», их замалчивали многие десятилетия. Почему?

«Протоколы сионских мудрецов» были сочинены в аппарате Заграничной агентуры (ЗАГ) Департамента МВД, по заказу заведующего этой агентурой Петра Рачковского. Сергей Нилус, первый официальный издатель «Протоколов», не скрывал, что получил их через начальника ЗАГа, так что полицейское происхождение оригинала не является для науки секретом. Напротив, долгое время именно этот факт усиливал в определенных кругах доверие к содержанию книги: кто же другой, кроме всепроникающей тайной агентуры, мог похитить и предать гласности «сверхсекретный еврейский документ»?

И все-таки в первые годы «Протоколы» не привлекали особого внимания в России — возможно потому, что в этой стране все, связанное с охранкой, изначально выглядело не слишком авторитетным. Зато переводы их, сделанные после первой мировой войны, вызвали многочисленные отклики. В Германии «Протоколы» всячески популяризировались Альфредом Розенбергом и кругом его последователей; во Франции ими увлеклись традиционно антимасонские крайне правые круги, по преимуществу клерикальные, — типа «Аксён франсез». В Англии «Протоколы» обсуждались печатью, особенно в «Морнинг пост», и даже авторитетнейшая «Таймс» в мае 1920 г. потребовала расследования содержащихся в них обвинений.

Но именно популярность «Протоколов» оказалась для них роковой: текст запомнили в публике, и летом 1921 года корреспондент той же «Таймс» случайно обнаружил — любопытно, что совсем в «стороне», в Стамбуле, на букинистическом лотке — памфлет французского писателя Мориса Жоли (1829—1878) против Наполеона III, памфлет, который в значительной части текста буквально совпал с текстом «Протоколов», якобы написанных тридцатью годами позднее: так был найден первый источник, которым пользовались полицейские авторы из круга Рачковского. Возможно, дата и место составления фальшивки (примерно первая половина 90-х годов, Париж) означают, что Рачковский и его хозяева из департамента полиции (в частности, генерал Ожаровский) приказали изготовить такой «документ», чтобы подбросить его «антидрейфусам» во Франции в разгар дела Дрейфуса. Может быть, готовился некий «русский вклад» в дрейфусиаду? Поражение «дрейфусаров» в 1895 году сделало текст «неактуальным», и его выход в свет был отложен на какое-то время...

После того как платиат у Жоли был доказан бесспорно, исследователи, — и, в частности, русские исследователи: историк П. Милюков, журналисты Вл. Бурцев и Ю. Делевский, — занялись дальнейшим изучением, так сказать, «текстологии» сего сочинения. В частности, было установлено, что в «Протоколах» плагиаторы использовали отрывок из романа «сэра Джона Редклифа» «Биарриц», а именно главу «Еврейское кладбище в Праге» (в русском переводе, опубликованном еще в 1872 г., она носила название «Еврейское кладбище в Праге и совет представитель двенадцати колен Израилевых»). На самом деле никакого «сэра Джона» не существовало, этот псевдоним принадлежал полицейскому агенту — что-то эту категорию лиц постоянно тянуло к «жидомасонским сюжетам» — некоему Герману Гёдше (1815—1878). Были обнаружены также небольшие заимствования из сочинений французских антисемитов XIX века — Гужена де Муссо, Дрюмона и др. Павел Милюков подсчитал, что из памфлета Жоли плагиаторы заимствовали до 40% текста «Протоколов». Я считаю, что еще около 20% текста заимствовано из других иностранных источников.

Относительно слабая популярность «Протоколов» даже в правых кругах Российской империи, возможно, объяснялась тем, что иностранные предшественники этого вымысла отличались помимо антисемитизма еще и злобной русофобией. Например, роман Гёдше-Редклифа «Севастополь» был запрещен весьма либеральной иностранной цензурой Российской империи именно из-за русофобских выпадов! Что касается собственно русских поклонников «Протоколов», то, например, один из самых пламенных их пропагандистов, некий Демченко, автор книги «Еврейское равноправие или русское порабощение?», изданной в Киеве в 1906 г., заявлял в своих «трудах»: «О розге уже давно вопиет вся Россия», восхвалял самосуд как верхнейшее средство против воров, с одобрением цитировал тургеневского персонажа, что «русский народ раб и никогда ничего не приобретает, он обречен тащиться позади Европы», а русскую деревню именовал пропившейся и уголовной. По его мнению, главным злом являлась отмена крепостного права — раньше-то именно розга останавливала пьянство и воровство!

Неудивительно, что подобное соединение антисемитизма с русофобией в какой-то степени ослабляло влияние «Протоколов» в самой России, но одновременно оно же создавало им дополнительную популярность в клерикальных и крайне правых кругах Европы, по традиции боявшихся и ненавидевших Россию. Когда антисемиты убедились, что плагиат у Жоли несомненный для всякого непредвзятого текстолога, они обвинили в этом плагиате Герцля, автора «Еврейского государства». Вот относительно недавний пример из «Советской культуры» (статья принадлежит известному антисиионисту Евсееву): «В свое время на многолюдном книжном развале в Каире мне удалось приобрести редкое брюссельское издание так называемых «Женевских диалогов»... Многие мысли, изложенные в книге, показались мне знакомыми... На память пришла книжца сионистского «пророка» Герцля «Еврейское государство». Я сравнил тексты этих двух публикаций... и тогда выяснились прелюбопытные вещи: «пророк» Герцль просто переписал работу французз Жоли». Это из номера от 26. 1. 1979 г. Мне показалась крайне подозрительной ссылка на «многолюдный книжный базар в Каире»: что-то я там такого не припомню! Не знаю, бывал ли Евсеев в Каире вообще, не знаю, читал ли он вообще «Женевские диалоги» и «Еврейское государство», но для меня лично несомненно, что он читал еженедельник «Мировая служба» за первую неделю августа 1943 г., выпускавший ведомством Розенберга или Геббельса. Во всяком случае, текстовые данные (прежде всего, ссылка именно на брюссельское издание «Диалогов» Жоли) заставляют думать, что Евсеев украл эту идею у Розенберга из его брошюры «Конгресс мировых заговорщиков», 1927 г. Розенберг тоже ссылался не на женевское, самое известное, а именно на более редкое, брюссельское издание «Диалогов»! Но, повторяю, я лично думаю, что Евсеев читал даже не Розенберга, а изложение его идей в статье оберштурмбаннфюрера СС и кавалера нацистских знаков отличия г. В. Шварца, писавшего под псевдонимом «Бостунич», которого гитлеровский печатный орган «Вельт-Динст» характеризовал как «известного знатока еврейского вопроса... выдающегося борца с иудейской мировой опасностью, неутомимо предостерегавшего германский народ в годы демократического засилья и настойчиво указывавшего на евреев как на его опаснейших врагов». Именно перу Шварца-Бостунича, писавшего по-русски, принадлежит статья «Современные результаты исследования вопроса о происхождении «Протоколов сионских мудрецов», опубликованная в нацистском еженедельнике «Мировая служба», где и цитировалась идея шефа Шварца-Бостунича — Альфреда Розенберга о влиянии Жоли на Герцля — идея, которую в свое время и позаимствовал у нацистского юдофоба и русофоба господин Евсеев и подсунил ее редакции «Советской культуры», пользуясь тем, что нацистские источники принадлежат в СССР к числу закрытых и никто в редакции не мог, если бы даже и хотел, обнаружить родник евсеевского вдохновения, уличить новейшего плагиатора.

Прошло более 80 лет со дня опубликования первого, так называемого «нилусовского» издания «Протоколов сионских мудрецов». За это время на Западе появилась обширная литература, исследующая различные аспекты этого сочинения. В научном мире убеждены, что «Протоколы» были инспирированы российской тайной полицией. Видимо поэтому советские историки вообще не касаются данной темы. Вместе с тем в новейшей антиссионистской литературе нередко воскрешаются домыслы дореволюционных антисемитов и вновь цитируются «идеи» присяжных юдофобов вроде А.Селянинова и А.Шмакова, а заодно (в модернизированном виде) трактуется старый миф о «всемирном еврейском заговоре». На значительные заимствования авторов (или автора) «Протоколов» из «писаний» западных антисемитов (Гужена де Муссо, Дрюмона, Гедше и др.) указывали многие исследователи. Однако возможные использования **собственно русских** источников, близких по духу «Протоколам», отмечены не были. Напомним, что к 80-м годам XIX века в архивах тайной полиции уже хранился значительный материал по «еврейско-масонскому мировому заговору» в виде докладных записок на имя императора. Вот почему русские источники «Протоколов» представляют предмет специального исследования.

Впервые идея «всемирного заговора», легшая в основу «Протоколов», появляется в России в начале XIX века — в так называемой антимасонской литературе. Любопытно при этом, что уже тогда в некоторых антимасонских сочинениях появляются параллельные антиеврейские мотивы. В этой связи интересны два рапорта, поданные по начальству полковником В.И.Дибичем. Сочинив донос в форме диалога между масонами, он обвинил их в стремлении к мировому господству, цинизме при достижении поставленной цели и использовании человеческих слабостей в корыстных целях тайного общества. Среди видных деятелей масонства В.Дибич назвал еврея — профессора Фесслера.

Особенного внимания заслуживает донос знаменитого мраморбеса Магницкого, едва не уничтожившего Казанский университет при Александре I. Уличенный впоследствии в хищении казенных денег, он был сослан в Ревель и там, видимо, решил поправить свою рухнувшую карьеру новым доносом — Николаю I на масонство, проникшее якобы во все поры Российской империи. Ударной силой масонства объявлялись якобинцы, а важнейшим его элементом — еврейство. Все тот же «профессор еврейского языка Фесслер» объявлялся главным масоном, передавшим перстень — знак масонской власти над российскими ложами — М.Сперанскому, могущественному министру Александра I, а потом Николаю I. Тот же Фесслер обвинялся в ниспровержении христианской веры и замены ее иллюминатством: «Он . . . представлял Спасителя сыном Ессеянина, обманывавшим народ для утверждения своего учения. «Как же вознесся он при пятистах очевидных свидетелях?» — возразил Магницкий. «Это очень просто, — отвечал Фесслер, — он стоял на горе и мог уйти за камень».

Магницкий обвинил в пропаганде «иллюминатских идей» о всемирном заговоре с целью «освобождения народов от государей, дворянства и духовенства» также международные центры, в том числе «жидка Мендельсона», отравлявшего всех через «Всемирную германскую библиотеку» «ядом иллюминатства», в частности Россию, где начался рост книгопечатания; другой центр мирового заговора находился в Лондоне, где учрежден «светский университет», в котором не изучается христианская теология, а студентами являются «жиды». Крамола таилась и в ланкастерских школах взаимного обучения, а также в «народном иллюминатстве», распространяющем опасные иудейские ереси: евреи обвинялись в том, что «издают под видом молитвенных книг разные возмутительные книги против народов и правительств христианских . . .»

Именно здесь Магницкий впервые представил еврейство как понятие собирательное, отрицательное, непосредственно связанное с посольствами: «Через разъезжающих под разными видами адептов и нарочных людей сего рода в Россию приезжают, по большей части могут под именем приказчиков торговых

домов, от коих и действительно, для закрытия себя, легко иметь им некоторые поручения наших произведений и проч., ибо нынче капиталы всей Европы переведены уже в руки жидов (четыре брата Ротшильда)».

Представляется очевидным, что вся эта обширная антимасонская литература, проникнутая антиеврейскими настроениями, послужила той питательной средой, в которой российские антисемиты искали подтверждения писаниям своих западных коллег.

## II

Автором «Разоблачения великой тайны франкмасонства» стал О.А. Пржецлавский, одна из загадочных фигур в пантеоне русского антисемитизма.

О.А. Пржецлавский родился в 1799 г. в местечке Ружаны Слонимского уезда Гродненской губернии, в старинной дворянской семье. Образование получил в Виленском университете, где учился вместе с А.Мицкевичем и был с ним в дружбе. Вероятно, Пржецлавский участвовал в кружке польских студентов, известном под именем «филареты». Став масоном в молодые годы, он был одним из основателей масонской ложи в Слониме. По семейным обстоятельствам в 1822 г. Пржецлавский переехал в Петербург и поступил на службу в Министерство внутренних дел. На него обратил внимание М.М. Сперанский (Пржецлавский знал много языков) и сделал его сотрудником Кодификационной комиссии. Издавая на польском языке правительственную газету «Петербургский тыгодник», Пржецлавский был долгие годы членом цензурного комитета. За свою коллаборационистскую антипольскую деятельность он был заочно приговорен польским революционным трибуналом к смертной казни. Вместе с тем надо отметить, что Пржецлавский покровительствовал деятелю революционного «жонда» Огрызко и, будучи куратором журнала «Современнику», способствовал появлению в печати романа Н.Г.Чернышевского «Что делать?» в тот момент, когда автор романа сидел в Петропавловской крепости, а также других революционно-демократических материалов.

По своим взглядам О.А.Пржецлавский был убежденным антисемитом. Из его воспоминаний, опубликованных в 70—80-е гг. XIX в. в журналах «Русский архив» и «Русская старина», явствует, что Пржецлавский не только утверждал существование ритуальных убийств у евреев, но и был экспертом при создании пресловутого «Розыскания о ритуальных убийствах», вышедшего ограниченным тиражом при Министерстве внутренних дел в 1844 г.

В литературном, научном и политическом ежемесячнике «Век» (1882—1884), издаваемом писателем М. А. Филипповым (1828—1886)<sup>1</sup>, в 1882 г. появился труд О. А. Пржецлавского «Разоблачение Великой тайны франкмасонов» с подзаголовком «Посмертные записки Ф-ова»<sup>2</sup> и с двухстрочным примечанием от редакции «Из посмертных бумаг О. Пржецлавского». Спустя четверть века сын Пржецлавского, А. О. Пржецлавский, издал «Разоблачения...» отдельной книгой, предпослав ей собственное предисловие.

Высказав убеждение, что революцию, разрушающую «исконные начала русской государственности», удастся остановить, А. О. Пржецлавский подчеркивал строго научный характер данной рукописи о деятельности «зловредной еврейской секты саддукеев», направленной на уничтожение всех христианских религий.

Еще при своей жизни О. А. Пржецлавский ознакомил с этой рукописью начальника 3-го отделения и шефа жандармов генерала А. Р. Дрентельна<sup>3</sup>, а сын (А. О. Пржецлавский) давал читать ее писателю-славянофилу Т. И. Филиппову.

«Разоблачение Великой тайны франкмасонов» состояло из восьми глав. Используя частично аргументацию славянофилов, автор рассмотрел историю России, подвергающуюся разлагающему влиянию Запада, и осудил деятельность Петра I, способствовавшего «утилитарному развитию» в ущерб национальному духу страны. Вместе с тем реформам Александра II была противопоставлена николаевская эпоха: по словам автора, Николай I подвергся европейской критике

за «крепкую и честную охрану им того объединяющего и скрепляющего государственные основы монархического начала, от которого завистливую Европу бросало в лихорадку». Поэтому тех, кто критиковал «покойного Императора за прямотдушную рыцарскую охрану им того государственного строя, которым упрочилось для России ее могущество», автор назвал предателями. После «предательской» Крымской войны эпоха Александра II обнаружила деморализацию общества — измену, продажность, казнокрадство, бездарность и интригу, презрение закона, отсутствие всякого нравственного и патриотического чувства», и главной причиной, по мнению автора, является проникновение тайной революционной пропаганды во все поры государства. Поэтому в следующей главе рассказывается о Великой французской революции с точки зрения **масонского заговора**, поскольку историки слишком поверхностно оценили ту роль, которую на протяжении 400 лет играл масонский орден в больших и малых революциях. Естественно, что с этой точки зрения польские восстания и революционная борьба в России предстали как плод внутренней связи революционеров с франкмасонским движением.

В сноске О. А. Пржецлавский подчеркнул, что сведения о масонском заговоре, приведшем к уничтожению королевской династии во Франции, содержатся в историческом романе, дополняющем научное знание<sup>1</sup>.

Упомянув, что в сентябре прошлого года он ездил в Париж, автор «Разоблачения...» останавливается на событиях 1863 г. в Польше, где поляки и евреи действовали «рука об руку», а последние «даже мечтали создать из Белоруссии свою колонию, наподобие Ост-Индии». При этом «в печати раздавался хвалебный хор евреям, а голос критики заглушался журнальной бранью»<sup>2</sup>. Пикантные воспоминания О. А. Пржецлавского о будто бы имевших место его встречах с Марксом делают мемуариста по крайней мере соавтором рукописи. Глава I Интернационала в беседе с Пржецлавским якобы хвалился, что «имеет под своим началом 8 миллионов бойцов», и, утверждая, что Парижская коммуна — детище «Интернационала», мечтал о 2 миллионах бойцов, которых будто бы надеялся завербовать в России для достижения полной победы<sup>3</sup>. О. А. Пржецлавский приводит фантастическое высказывание К. Маркса о будущности победителей: «Мы только разрушители, мы ничего не создаем, и когда совершенно уничтожим то, что ныне существует и что уже принуждено к уничтожению, то вы, г. г. философы-филантропы, вольны будете создать, что захотите, если мы это разрешим...» Следует авторское резюме: осуществление Великой тайны франкмасонства близко. На обломках христианских государств масоны построят «иудейскую патриархию», ибо «иудеи уже не прежний забитый и ничтожный народец, а воскresшая и сильная по уму нация... она успела на пространстве всего мира незаметно овладеть в виде торговли и финансов главнейшими жизненными органами всех наций».

В последней главе, изложив отчасти историю масонства на Западе и в России, автор подчеркнул, что Великая французская революция была апофеозом франкмасонства. Из логики сего «труда» вытекало, что современное революционное движение, достигнув своих целей, станет апофеозом еврейства.

Несомненно, «разоблачение Великой тайны франкмасонства» — самое крупное и обстоятельное сочинение, основные положения которого (тайное правительство, сверхдержава, иудаистские ценности, еврейские цели и средства) были отсюда заимствованы авторами «Протоколов сионских мудрецов», чья «печатная» история вызывает особый интерес.

### III

В 1895 г. отставной майор А. Н. Сухотин передал прокурору Московской синодальной конторы камергеру Ф. П. Степанову рукописный экземпляр «Протоколов сионских мудрецов». По утверждению А. Н. Сухотина, некая госпожа К.

выкрала «оригинал» (на французском языке) у высших масонских кругов в Париже, собственноручно перевела его на русский язык и доставила в Россию. Кем же была эта загадочная «госпожа К.»? Как было давно установлено, ею являлась Юстина Глинка, дочь генерала, авантюристка, чьи связи с полицией известны с 1882—1883 гг.<sup>7</sup> Ю. Глинка была в Париже в 1889—1890 годах, где с ней познакомился С. А. Нилус, впоследствии ставший ее любовником.

В тот же год, когда была получена рукопись «Протоколов», по всей видимости Ф. П. Степанов отпечатал ее на гектографе в количестве 100 экземпляров<sup>8</sup>. Из-за плохого качества печати он решил повторить издание. Действуя через своего друга, А. И. Келеповского, чиновника по особым поручениям при великом князе Сергее Александровиче, Ф. П. Степанов отпечатал «Протоколы» (100 экземпляров без указания года и места печати) в Московской губернской типографии<sup>9</sup>.

На «степановское» издание «Протоколов» обратил внимание новоремесленский критик и публицист, известный антисемит М. О. Меньшиков: в газете «Новое время» в 1901—1902 гг. он прокомментировал «Протоколы» в своих «Письмах к ближним».

В 1903 г. в девяти номерах газеты «Знамя» (с 28 августа по 7 сентября), издаваемой организатором кишиневского погрома Крушеваном, «Протоколы» были напечатаны под названием «Программа завоевания мира евреями».

Спустя два года «Протоколы» издал С. А. Нилус, а в 1907 г. их переиздал один из основателей и член главного Совета «Союза русского народа» Г. В. Бутми де-Кацман под заголовком «Обличительные речи. Враги рода человеческого». Нумерация «протоколов» в издании Бутми была несколько иной, чем у Нилуса.

Как засвидетельствовал С. А. Нилус, Ю. Глинка получила «Протоколы» из рук начальника Заграничной агентуры департамента полиции генерала П. И. Рачковского<sup>10</sup>, который добыл их «из масонского архива» и много сделал для того, чтобы, как писалось тогда, «вырвать жало у врагов Христовых». Однако С. А. Нилус не знал, что в создании подлога принимал участие и генерал П. В. Ожаровский (1839—1897), бывший с 1882 по 1887 г. товарищем министра внутренних дел и командиром корпуса жандармов. Таким образом, изготовление «документа» может быть отнесено к этому периоду или даже к более раннему: полицейские компиляторы 80-х гг. уже «могли использовать все главные источники подлога» (В. Л. Бурцев).

В. Бурцев и Ю. Делевский указали на заимствование творцов «Протоколов» из французских авторов Жоли, Гёдше, де Муссо, Дрюмона<sup>11</sup>. Использование же отечественных «трудов» доморожденных антисемитов — работ, хранившихся в архивах охраны, было тогда скрыто за якобы «иностранным» происхождением «Протоколов сионских мудрецов», благодаря которому жителям Российской империи демонстрировалась «научная объективность» обвинений евреев в «мировом заговоре». Но подлог, сфабрикованный для использования его против любой оппозиции существующему режиму, приобрел в годину больших и малых революций мировую известность. Вот почему имя издателя С. А. Нилуса, отпечатавшего в 1911 г. повторный тираж «Протоколов» и накануне Февральской революции включившего «Сионских мудрецов» в книгу «Оно здесь у наших дверей», стало своеобразным синонимом «Протоколов».

Кто же такой С. Нилус, имя которого неразрывно связано с этой фальшивкой?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нам придется — и отнюдь не в виде отступления — включить в число персонажей этой статьи русского философа Владимира Соловьева.

#### IV

Филосемитизм Владимира Соловьева (1853—1900) общеизвестен. Это обстоятельство порождало самые разнообразные предположения, вплоть до утверждения о его еврейском происхождении<sup>12</sup>. Но, конечно, дело было не в этом. Вдумчивый религиозный философ должен был рано или поздно остановиться перед мировой загадкой: еврейством. Поэтому уже в зрелом возрасте Соловьев

стал изучать древнееврейский язык под руководством Файвеля Меера Бенцеловича Геца (1853—?). По словам учителя, В. Соловьев не только занимался этимологией и грамматикой, но и интересовался объяснениями и толкованиями талмудических и раввинских комментаторов. Он прочел трактаты «Авот», «Авода Зара», «Йома», «Сукка». В 1886 г. Владимир Сергеевич извещает М. Геца: «Еврейское чтение продолжаю. Кроме Торы и исторических книг прочел всех пророков и начал псалмы . . . Теперь, слава Богу, я могу хотя отчасти исполнять свой долг религиозной учтивости, присоединяя к своим ежедневным молитвам и еврейские фразы». Вне всякого сомнения, изучение еврейского вероучения отразилось на взглядах Соловьева. Это утверждает большая часть биографов В. Соловьева.

Но, в отличие от многих идеалистов, В. Соловьев искал возможности помочь еврейству практически в многострадальной погромной эпохе 80-х гг., пытаясь собрать подписи общественных деятелей России. В. Соловьеву принадлежит роль первого русского, открыто прочитавшего публичную лекцию в Санкт-Петербургском университете об историческом значении еврейства. Лекция была прочитана 18 февраля (по старому стилю) 1882 г. и представляет собой одну из первых апологий еврейства на русском языке. Что же касается протеста против антисемитизма, то Соловьев собрал под протестом 66 подписей в Москве и чуть более 50 в Петербурге. Но по тогдашним обстоятельствам весьма умеренное обращение не нашло себе места в печати. Профессор В. Сперанский в своих воспоминаниях утверждает, что Александру III обер-прокурор Синода К. Победоносцев донес о том, что «безумный Соловьев» собирал особый митинг в защиту угнетенного еврейства. Александр III против фамилии Соловьева изволил написать: «чистейший психопат». Вообще В. Соловьев неоднократно старался перевести еврейский вопрос из области теоретической в область практическую и в этом не останавливался перед высокопоставленными именами. Так, в разговоре с Сергеем Юльевичем Витте он прибег к аргументации, что «беды и несчастья различных государств находятся в некоторой зависимости от той степени озлобленности и несправедливости, которые эти государства проявляют к еврейству: преследование нации, на коей лежит перст Божий, не может не вызвать высшего возмездия». Понятно, такая филиппика не могла не найти отклика в сердце Витте, последовательного филосемита, но не в его силах было слышать реакционеров . . .

Интересовался Владимир Соловьев и сионизмом. Книга Теодора Герцля «Юденштадт» («Еврейское государство») произвела на него сильное впечатление. Однако религиозный философ расхождался с политическим сионизмом в самом существенном. Сочувствуя возрождению еврейского государства, Соловьев его иначе не представлял, как в форме теократического, во главе с царем-помазанником из дома Давидова или, на худой конец, в виде общины, руководимой первосвященником и Синедррионом. Благодарность еврейского народа В. Соловьев заслужил и выступлениями против известного юдофоба С. Я. Диминского. Вообще большинство филосемитских статей философа неоднократно переиздавалось до революции и в последнее время (см., например: «Владимир Сергеевич Соловьев. «Статьи о еврействе», Иерусалим, 1979).

Как свидетельствуют воспоминания современников, Соловьев, умирая, молился за еврейский народ<sup>13</sup>. Последнее обстоятельство, как ни странно, вызывало уважение к В. Соловьеву даже со стороны лиц противоположного лагеря. Так, черносотенец М. О. Меньшиков, расстрелянный большевиками за погромную деятельность, писал: «Владимир Соловьев не мог не любить евреев уже как поэт и мыслитель; слишком уж волшебна по продолжительности и судьбе история этого народа, слишком центральна его роль в жизни нашего духа, слишком трагичен (выделено М. О. Меньшиковым.— С. Д.) его удел. Но не только этим держалась тесная связь его с еврейством. Сколько я понимаю Соловьева, он сам — в благородном смысле этого слова — был еврей, по тайному, так сказать,

тексту своей души, по ее священным напевам. Мягкая славянская душа в нем была существовенно преобразована библейскими началами христианства, и он мог назваться иудеем, может быть в большей степени, нежели многие современные евреи».

Еврейство России с горечью оплакало преждевременную смерть своего защитника. 12 ноября (старого стиля) 1900 г. на собрании «Общества распространения просвещения между евреями» в синагоге была совершена панихида по умершему почетному члену Общества. Раввин, д-р философии А. Н. Драбкин, произнес речь, посвященную памяти усопшего. Речь держали также Н. И. Бакст и М. И. Кулишер. Последний напомнил, что, принимая звание почетного члена Общества, Владимир Соловьев заявил депутации: «И настанет день, когда все народы пойдут за Израилем». Для увековечения памяти В. С. Соловьева было решено учредить при училище 4 стипендии его имени и повесить портрет усопшего в рекреационном зале училища.

Удивительно при этом, что одно из произведений В. Соловьева сыграло исключительную роль для становления мифа о жидомасонском заговоре! Речь идет о «Трех разговорах», а точнее, о повести об Антихристе, включенной в «Три разговора». Весной 1899 г. Соловьев приступил к работе, которую закончил предисловием, написанным в Светлое воскресенье 1900 г. Это было последнее произведение Владимира Соловьева. Пафос повести направлен против толстовства как учения псевдохристианского, расцветшего, по мнению Соловьева, как раз накануне пришествия Антихриста.

Издатель «Протоколов сионских мудрецов» Сергей Александрович Нилус, считая себя учеником Владимира Соловьева, не только ссылается на «Три разговора», но и обширно цитирует его. Теперь самое время несколько подробнее остановиться на биографии издателя и пропагандиста «Протоколов сионских мудрецов», ибо сведения о его жизни весьма скудные и противоречивы<sup>14</sup>.

С. Нилус родился 25 августа (ст. ст.) 1862 г., себя он называл сыном состоятельного орловского помещика. Состав его семьи неизвестен: имеются лишь сведения о его брате, Дмитрии Александровиче, председателе Московского окружного суда. Оба брата закончили в Москве гимназию и юридический факультет Московского университета. По утверждению С. Нилуса, он происходил по отцовской линии от пленного шведа времен Петра Великого, а по матери вел свой род от Малюты Скуратова, чем очень гордился. В зрелые годы Нилус отстаивал крепостное право и был ярким защитником Ивана Грозного. Понятно, что либерал Дмитрий Александрович считал брата душевнобольным.

Короткое время С. Нилус работал по судебному ведомству в Закавказье, но по неуживчивости характера должен был покинуть службу. Он пытался, по его же словам, заняться сельским хозяйством, но по непрактичности вынужден был бросить и это предприятие. Как водится, на остаток своего состояния он жил за границей, в основном в Биаррице, где познакомился с Юстиной Глиной негласным русским агентом, следящим за политическими эмигрантами. С того дня, как генерал П. Рачковский передал Нилусу прелюбовые «Протоколы сионских мудрецов», он стал пламенным пропагандистом идеи жидомасонского заговора. По свидетельству близко знавшего его Дю Шайла, С. Нилус знал в совершенстве западные языки, был начитан в современной иностранной литературе, увлекался апокалиптическими произведениями В. Соловьева и Дм. Мережковского. Он был женат на фрейлине императрицы Александры Федоровны Елене Александровне, урожденной Озеровой, дочери гофмейстера Озерова бывшего посланника в Афинах. Ее брат, генерал-майор Давид Александрович Озеров, был управляющим Аничкиным дворцом. Эти придворные связи позволили С. Нилусу издать «Протоколы» в 1905 г. Следующее издание он предпринял на средства одного козельского старообрядца-купца в 1911 г. Надо добавить, что Нилус вообще с большим интересом относился к старообрядчеству, что, как мы увидим, нашло отражение в его «творчестве». Как ни странно, революционик

и гражданскую войну С. Нилус пережил в России, никуда не эмигрировав, и даже умер в своей постели 1 января 1930 г., по некоторым сведениям, в Москве, накануне дня Преподобного Серафима Саровского.

Утверждение, что большевики не знали, кто он,— необоснованное. Его неоднократно арестовывали, но отпускали из-за очевидной невменяемости. В одних воспоминаниях рассказывается, что в 1926 г. в камере московской тюрьмы сидел С. Нилус, о котором было известно, что он «автор» «Протоколов сионских мудрецов». Автор воспоминаний — еврей-сионист — как раз на Пасху получил от еврейской общины пасхальную передачу и поделился ею с сокамерниками, в том числе предložил и Нилусу, не преминув заметить последнему о наличии в маце христианской крови . . .

В. Соловьев был увлечен апокалиптическими идеями, нашедшими отражение в его «Трех разговорах». Совершенно неожиданно в рассказе об Антихристе появляется масонская нота. Причем появление ее ничем не предваряется: «Вскоре . . . должно было происходить в Берлине международное учредительное собрание союза европейских государств. Союз этот, установленный после ряда внешних и внутренних войн . . . значительно изменивших карту Европы, подвергался опасности от столкновений — теперь уже не между нациями, а между политическими и социальными партиями. Заправили общей европейской политики, принадлежавшие к могущественному братству франкмасонства, чувствовали недостаток общей исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете или всемирной управе (Comite permanent universal<sup>13</sup>) не было единодушия, так как не все места удалось занять настоящими, посвященными в дело масонами . . . Тогда «посвященные» решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член ордена — «грядущий человек» . . . Грядущий человек (разрядка В. Соловьева. — С. Д.) был выбран почти единогласно в пожизненные президенты европейских соединенных штатов . . .»

Нилус в своей книге «Великое в малом. Близ грядущий Антихрист и царство Дявола на земле», вышедшей в начале 1911 г., 8-ю главу полностью посвящает анализу «Трех разговоров». Глава имеет важное заглавие: «В. Соловьев о кончине мира и об Антихристе. В. Л. Величко о В. С. Соловьеве». Нилус приходит к выводу о том, что В. Соловьев пробил «огромный пролом в стене, скрывавшей великую тайну беззакония . . .». В этой же главе, в сноске, Нилус указывает на масонский характер Испанской и Португальской революций. В главе 10-й С. Нилус объединил замысел В. Соловьева с идеями «Протоколов» и дал ему свое выражение, но уже в оглавлении: «Мировое предчувствие явления Антихриста. Мировое воплощение Бога Слова. В. Соловьев об образе пришествия Антихриста. «Протоколы собраний сионских мудрецов» и первое появление их в книге «Великое в малом». Краткий обзор содержания «Протоколов» и их значение. Зрелость времен».

Нетрудно понять, что В. Соловьев для С. Нилуса стал трамплином, с которого ему было удобно перейти к содержанию «Протоколов». Нилус цитирует В. Соловьева по поводу наличия масонского заговора и сразу же рассказывает о получении им в 1901 г. «Протоколов». Нельзя сказать, что С. Нилус был полностью удовлетворен С. Соловьевым. Ибо ответ, данный русским философом на появление Антихриста, по С. Нилусу, «предположительный и не вполне ясный ответ». Безусловно, С. Нилус считал, что генеалогия Антихриста у В. Соловьева недостаточно четко изложена. По церковной традиции, Антихрист, «происходя от крови еврейской, станет царем и владыкой всей земли, Мессией от дома Давола того Израиля, на ком лежит кровь Мессии Истинного, и судьбы которого доселе еще управляются фарисейством и книжничеством», должен быть «заклятым на жизнь и смерть врагом всего нееврейского мира»<sup>16</sup>. Действительно, о происхождении Антихриста у Соловьева говорится весьма неясно,

а о том, что он из «дома Данова», вообще ничего не сказано. Что же касается евреев, то они поначалу поддержали Антихриста, обещавшего им установить всемирное владычество Израиля, и признали его Мессией. Однако их восторженное преклонение и преданность внезапно были повержены, когда евреи, считавшие вселенского императора «кровным и совершенным израильянином», обнаружили, что он даже не обрезан. И евреи восстали, «дыша гневом и мстью». Понятно, что это никак не устраивало С. Нилуса, заимствовавшего у В. Соловьева ненависть к толстовству (об этом много говорится в книге Нилуса) и саму идею появления Антихриста. Не могла устроить С. Нилуса в «Трех разговорах» и сноска, косвенно осуждающая антирейфусаров, надеющихся устроить Варфоломеевскую ночь для франкмасонов и евреев.

Как бы то ни было, авторитет Владимира Соловьева сыграл несомненную роль в утверждении в сознании русской интеллигенции мифа о жидомасонском заговоре. Грегор Шварц-Бостунич, как само собой разумеющееся, отмечал, что в повести об Антихристе «гениальный русский провидец», «один из величайших философов мира» предвидел создание Лиги Наций как «венца масонских происков по закабалению всего мира». И писал, что спустя три месяца после выхода «Трех разговоров» масоны «отравили» В. Соловьева. О значении В. Соловьева говорит и князь Жевахов со ссылкой на книгу А. П. Роговича «Всемирный Тайный заговор».

Но надо сказать, что и Сергей Александрович Нилус не был ordinарным антисемитом. В своей книге «Великое в малом» он предупреждает читателя: «Для моего христианского чувства долга довольно будет и того, если я, по милости Божией, достиг **важнейшей для меня цели — предупреждения братий моих — христиан о близгрядущей смертельной опасности и не возбудил в чьем-либо сердце вражды к ослепленному до времени еврейскому народу в своей пламенно, хотя и ложно верующей массе, неповинному в сатанинском грехе своих руководителей — книжников и фарисеев, уже не раз погубивших Израиля**» (выделено С. Нилусом.— С. Д.). Антисемиты последующих времен такой оговорки никогда не делали. Что же касается В. Соловьева и его мрачной апокалиптической фантазии, способствовавшей утверждению и распространению мифа о жидомасонском заговоре, то верна старая мысль: творения художников зачастую живут своей автономной, независимой от воли авторов жизнью.

Злой дух, выпущенный из бутылки, был неуправляем.

В 1917 г. (по другим сведениям — в 1919 г.) «Протоколы» в издании С. А. Нилуса были переведены на немецкий язык Г. фон Беком (псевдоним М. фон Хаузена, председателя «Союза против засилья евреев»). Этим было положено начало мировой известности «Протоколов» и их издателя С. А. Нилуса. Но теперь история повторялась: доказывая «научную объективность» обвинений евреев во «всемирном заговоре», идеолог германского фашизма А. Розенберг ссылался на авторитетность «русских документов» («Протоколов»), как в свое время русские издатели ссылались на «французские источники», и «разоблачал» мировое еврейство, уже давно выдвинувшее, по словам А. Розенберга, генеральный план нападения на «неиудейские народы».

Вместе с тем история русского антисемитизма, в основе которого лежали антимаасонские доносы и «труды» Пржецлавских, использованные царской охранкой для диффамации **революционного** движения в России, не завершилась на «Протоколах сионских мудрецов». Антисемитские работы Л. Корнеева, В. Евсеева, Л. Кичко, В. Бегуна и других авторов и сегодня используют миф о «всемирном еврейском заговоре» в тех же шовинистических и ретроградных целях. Заимствуя «фантастические воображения» у иностранных авторов, компиляторы политического сыска в России фабриковали (и фабрикуют) подлоги якобы «научно доказанных» идей. Однако исторические фальсификации опасны не только сокрытием истины. Их саморазоблачительные свойства нередко опасны жалаят само государство, хотя это уже не наша забота.

## Примечания

1. М. А. Филиппов опубликовал «Разоблачение...» из-за сенсационности его содержания, ради тиража своего журнала. Сам он между тем писал на эти темы довольно объективно. Сын редактора «Веха», доктор Гейдельбергского университета М. М. Филиппов (1858—1903) был защитником евреев, автором не потерявшей научной ценности статьи «Ритуальные убийства и половая психология» («Будущность», № 50, 1900 г.).

2. Вследствии А. О. Пржецлавский снял подзаголовок с титульного листа отдельного издания, но в своем предисловии сослался на письмо В. Д. Философова (статс-секретаря, члена Государственного совета, действительного тайного советника) от 7 ноября 1873 г. с просьбой к О. А. Пржецлавскому опубликовать «Разоблачение...», из чего «следует думать, что автором... был именно... Александр Дмитриевич Философов» («Разоблачение...», 1909, с. 3)

3. **А. Р. Дрентельн** (1820—1888) с сентября 1878 г. по февраль 1880 г. был начальником 3-го отделения и шефом жандармов. В 1880 г. был назначен одесским генерал-губернатором, а в 1881 г. переведен на тот же пост в Киев. В еврейском вопросе занимал крайне антисемитскую позицию.

4. Речь идет о романе А. Дюма-отца «Записки врача» («Жозеф Бальзамо»). Граф Калиостро, он же Великий кофт (копт), основатель и верховный начальник общества, на тайном собрании иллюминатов (высших масонов) открывает план свержения всех монархий в Европе. На совещании присутствуют представители почти всех стран Старого и Нового Света, в том числе и представитель России и Польши — некий Сиефорт (в «сойкинском» издании — Зиффорт), который оказался предателем и был убит по приказу ордена.

5. А. О. Пржецлавский в 1909 г. в своей сноске утверждал, что евреи и полуевреи (крещеные) проникли в государственный аппарат и служат иудаизму.

6. В 1869—1870 г. А. О. Пржецлавский был следователем по делу Нечаева. Поэтому рассказ отца (О. А. Пржецлавского) вызвал у сына сентенцию о родстве мыслей Маркса с программой Нечаева...

7. Свидетельство Б. И. Николаевского. См.: В. Л. Бурцев. «Протоколы сионских мудрецов» — доказанный подлог. — Париж, 1938, с. 129. Известно, что Ю. Глинка принимала участие в переговорах «Народной воли» со «Священной дружиной» по поводу освобождения Н. Г. Чернышевского, и она приписывает себе решающую роль в его переводе из Сибири в Астрахань. О своих «заслугах» перед революционным движением она рассказала в 1904 г. в газете «Наша жизнь».

8. Живя в Югославии, Ф. П. Степанов в 1928 г. юридически засвидетельствовал время получения рукописи — 1895 г., что подтвердила его дочь — В. Ф. Голицына. «Сионистская» версия происхождения «Протоколов», предложенная юдофобом Ф. Б. Винбергом, несостоятельна. (Суть его выдумок такова: Осенью 1897 г. русский агент добыл тайный отчет сионистского съезда в Базеле. Имена еврейских деятелей, упоминаемые Ф. Б. Винбергом, — Ахад Гаама и Нахума Соколова, по мысли юдофоба, предавали его выдумке «доказательности». Выкраденный якобы отчет съезда и был «Протоколом».)

9. Свидетельские показания Ф. П. Степанова и В. Ф. Голицыной доказывают полицейское происхождение «Протоколов».

10. **П. И. Рачковский** — виднейший деятель политического сыска. В 1867 г. начал службу младшим сортировщиком в киевской почтовой конторе. Затем, быстро продвигаясь по службе, работал в канцеляриях одесского градоначальника и киевского и черниговского губернаторов. В 1877 г. стал судебным следователем по Архангельской губернии. Здесь его карьера внезапно обрывается. В апреле 1879 г. он согласился быть редактором только что возникшего журнала «Русский еврей» (!) и в студенческих кругах приобрел репутацию «выдающегося революционера». Вскоре полиция арестовала Рачковского, и он выразил желание сотрудничать с царской охранкой. С 1884 г. Рачковский стал работать заведующим русской заграничной сетью и преуспел на этом поприще, получив потомственное дворянство и чин действительного статского советника.

11. **Герман Гёдше** (1815—1878), бывший полицейский агент, как писатель приобрел известность под псевдонимом «Сэр Джон Редклиф». Отверк из романа «Биарриц» (в этом городе произошла «кровавая» встреча С. А. Нилуса и Ю. Глинки) под названием «Еврейское кладбище в Праге» и совет представителей двенадцати колен Израилевых» впервые в русском переводе появился в журнале Н. С. Львова в 1872 г. Некоторые книги Редклифа были запрещены в России не только из-за порнографии, но главным образом за русофобию — например, роман «Севастополь».

12. В «Историческом вестнике» за 1912 г. (№ 12, с. 130) были опубликованы воспоминания «С. У.» под названием «Мозаика (Из старых записных книжек)», где рассказывается о попытке В. Соловьева собрать подписи под петицией за предоставление евреям гражданского равноправия. Автор утверждает, что Владимир Соловьев происходил по матери «из еврейского племени». В «Еврейской старине» за 1915 г. (т. 3) воспроизведен этот текст. Автор, скрывшийся под псевдонимом «С. У.» — Сергей Игнатьевич Уманец (1895—после 1915), журналист, историк, этнограф, в 90-е гг. чиновник Главного управления по делам печати, — был лично знаком с В. Соловьевым. Это утверждение С. Уманца находится в противоречии с фактами, известными сегодня. Биограф В. Соловьева, его племянник С. М. Соловьев, подчеркивает славянское происхождение дяди, даже «кто славянской кровью» (С. М. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977). Однако по материнской линии Владимир Соловьев происходил из семьи украинско-польской, бабушка его, урожденная Бржесская, или, как писалось, Бжесская. Кстати, как пишет С. Соловьев, знаменитый философ Григорий Сковорода приходился матери философа двоюродным дедом или прадедом». Приблизительно то же сообщает Сигизмунд Либрович в своей книге «Нерусская кровь в русских писателях» (СПб, 1908). Возможно, Уманец имел в виду польскую линию Бжесских. Как известно, польское дворянство было достаточно семитичным.

13. Владимир Сергеевич Соловьев скончался 31 июля (ст. ст.) 1900 г. в подмосковном имении своего друга князя Петра Николаевича Трубецкого. Княгиня Прасковья Владимировна Трубецкая рассказывала, что Соловьев просил ее: «Не дай мне засыпать... Заставляйте меня молиться за израильский народ... Мы так виноваты перед ним». И стал громко и отчетливо читать псалмы по-еврейски...

14. Большинство биографических данных, сообщаемых нами, почерпнуты из двух источников: кн. Н. Д. Жевахов. Сергей Александрович Нилус. Краткий очерк жизни и деятельности, 1936; А. Дю Шайла. Воспоминания о С. А. Нилусе и сионских протоколах (1909—1920). «Еврейская трибуна», № 72, от 14 мая 1922 г. К сожалению, оба источника страдают серьезными недостатками. Книга кн. Н. Жевахова, бывшего товарищем обер-прокурора Синода, апологетична. Но не это главное. Сам Жевахов почти не знал Нилуса. Второй недостаток книги — это недобросовестность. Напр., он утверждает, что брак Нилуса с Озеровой не носил плотской основы, так как они поженились в возрасте 60 лет или около этого. Известно, что они обвенчались в конце 1905 или в начале 1906 г., когда Нилусу было всего 43—44 года. Тяжкие ялпусов разброшено в книге достаточно. Что же касается Дю Шайлы, то, в строгом смысле слова, он не писал биографии Нилуса, зная Сергея Александровича всего 10 месяцев на протяжении 1910 г. Прежнюю жизнь Нилуса он мог знать лишь приблизительно. О ней он высказывает досужие слухи, вроде эмиграции автора «Протоколов» в Германию. Вместе с тем при рассмотрении биографии С. Нилуса возникает множество вопросов. Так, например, утверждение, что он потомок шведского военнопленного и Малюты Скуратова, носит несколько апокрифический характер. В русской истории известен Александр Александрович Нильский (1840—1899), актер императорских театров, настоящая фамилия которого — Нилус. Не является ли он отцом Сергея Александровича? По возрасту это вполне возможно, тем паче, что актер Нильский — уроженец Москвы. В какой-то степени родства находится к Сергею Александровичу вполне порядочный человек и хороший художник Петр Александрович Нилус (1869—1943), кстати, друг и почитатель И. А. Бунина, женатый на еврейке Берте Соломоновне. П. А. (в отличие от С. А.) родился на юге (дер. Бушены Подольской губернии) и образование получил в Одесской рисовальной школе. Не является ли он братом нашего героя? Любопытно утверждение Г. В. Шварца-Бостунича (1921) о том, что в молодости С. А. Нилус был соблазнен Теодором Герцлем и посвящен в масонство. Правда, в последующих писаниях Бостунича это утверждение исчезло. Кстати говоря, Бостунич довольно долго обвинял Нилуса в кликушестве и даже в литературной недобросовестности. Лишь во время второй мировой войны Бостунич с большим пиететом писал о Нилусе в своем нацистском листке «Мировая служба».

Третьим источником информации послужила статья М. В. Орловой-Смирновой, выступившей в самиздате с воспоминаниями о С. Нилусе. К сожалению (если это не апокриф), она содержит мало фактов, кроме известных, и много ошибок и нелепостей. Год смерти Нилуса указан 1928, число — 1 января по ст. ст., накануне дня Преп. Серафима Саровского.

15. Постоянный мировой комитет. (Примечание В. Соловьева.— С. Д.)

16. Нилус, с. 211. То, что Антихрист должен быть из колена Дана, подтверждается характеристикой Дана у Якова: «Змей на дороге и аспид в пути, уязвляющий ногу коня» (Быт. 9:16-17). Дан — один из двадцати сыновей Якова от служанки Валлы. Его потомки отличались хитростью и коварством, но из них выходили замечательные творцы. Так, строителем храма Соломона был знаменитый художник и архитектор Хирам, происходящий по материнской линии из колена Данава. Таким образом, масонская легенда об Адонираме (Хираме) тесно переплетается с легендой об Антихристе С. Нилус, увлекавшийся старообрядчеством, вне всякого сомнения знал староверскую легенду — сказание «Об Антихристе, еже есть Петр I». Суть ее сводится к тому, что благочестивого царя Петра Алексеевича, выехавшего за море и пропавшего без вести, заменил принявший образ Петра «жидовин от колена Данава, сиречь Антихрист, и когда он приехал в Русское царство, царицу заточил в монастырь, царевича убил, а сам женился на немке и немцами всю Россию наполнил, патриарха уничтожил; вместо его жидовский сиондирон учредил...» (Мельников-Печерский. О раскольниках при императорах Николае I и Александре I. Лейпциг, 1872).

Борис РАВДИН

## РЕПУТАЦИЯ ПОПА ГАПОНА

Если собрать впечатления современников о Георгии Аполлоновиче Гапоне (1870—1906), то может сложиться убеждение, что значительная часть мемуаристов, публицистов, фельетонистов, не сговариваясь, поставила перед собою цель создать энциклопедию не то классовых, не то групповых, не то наиболее известных в истории человеческих пороков. Доказать, что носителем большинства из них не только в скрытой, латентной форме, но и в открытом для обозрения виде являлся организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» отец Георгий Гапон. Среди мемуаристов и публицистов представители разных направлений: эсеры, большевики, меньшевики, либералы, монархисты, охранители... Но все они, как правило, едины в своем отношении к Гапону. Полярностью оценок того или иного поступка, слова Гапона можно пренебречь, поскольку и слова и поступки возводятся к одному и тому же пороку. Разве что существует отличие в интонации. У большевиков и охранителей преобладает негодующая, презрительная, уничижительная. У либералов, отчасти эсеров и меньшевиков — снисходительная. Вся гамма представлена

воспоминаниями бывших гапоновцев: иные из них выходят и за рамки спектра, поскольку воспринимают инвективы в адрес Гапона как обвинение в свой адрес и адрес той формы рабочего движения, с которой сами были связаны и за пределы которой пытались выйти.

Основоположником этой формы рабочего движения, известной в истории под названием «полицейский социализм», или «зубатовщина», считают полковника С. В. Зубатова, в 1880-х годах примыкавшего к революционному народничеству, в конце 1890-х начальника Московского охранного отделения, с 1902 года занимавшего в Петербурге должность начальника особого отделения Департамента полиции. В своей борьбе с революционным движением Зубатов считал необходимым помимо сугубо полицейских мер противопоставить разрушительной пропаганде рабочее движение чисто экономического характера, где взаимно противоречивые интересы рабочего и предпринимателя регулировались бы внесловным и внепартийным инструментом — монархией. Рабочие союзы должны были контролировать исполнение существующего трудового законодательства, стимулировать совершенствование законодательства, демонстрировать «капиталу» необходимость изменения условий труда, отдыха, заработной платы. Контроль над рабочими союзами возлагался на государство, в частности — на внутреннюю полицию.

Правительство колебалось, опасаясь, что движение может выйти из-под контроля, но в итоге решилось на эксперимент, полагая, что в случае опасности оно найдет способы воздействия на рабочих. В 1901 году в Москве под эгидой полиции было создано первое такое общество, затем открылось еще несколько в Москве и других городах. Союз рабочих с охранным отделением был отмечен некоторыми успехами «труда» в борьбе с «капиталом», с мелкими предпринимателями.

Программа Зубатова широкого развития не получила. Деятельность зубатовских организаций не могла быть поддержана революционными партиями: организованные полицией союзы даже не походили на прототип пресловутых английских тред-юнионов и никак не напоминали проект профсоюзов, выросших в горниле революционной борьбы. Активно сопротивлялась зубатовским идеям и мероприятиям крупная буржуазия; правительственная политика не отличалась ни гибкостью, ни твердостью; интеллигенция чуралась программы, разработанной полицией; рабочее движение выплескивалось за рамки отведенных форм. «Правые» настаивали на том, что «зубатовщина есть насаждение социализма в народе за счет святой церкви и государства».

Революционное брожение начала девяностых годов, партия социалистов-революционеров с ее методом террористической борьбы, активизация социал-демократов, неспособность полиции к абсолютному контролю над созданными ею же рабочими союзами испугали правительство, и оно прибегло к традиционному способу решения рабочего вопроса — карательному. Попытки Зубатова настоять на разумном сочетании карательных и превентивных мер привели в 1903 году к его падению. Но еще до того, как Зубатов был удален в ссылку во Владимир, в Петербурге при его поддержке была начата работа по созданию «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Идеологическим и организационным центром «Собрания» стал Г. Гапон, тогда священник Петербургской пересыльной тюрьмы, недавний выпускник Петербургской духовной академии, уже несколько лет занимавшийся созданием просветительских, попечительских обществ, внимание которых было обращено на рабочих, люмпенов, сирот и т. д.

«Собрание» прошло довольно длительный подготовительный период, организационно оформилось в феврале 1904 года. Первоначально оно жило относительно незаметной жизнью: совместные чаепития, лекции, читальня, касса взаимопомощи, кружки, вечера. Ему тихо покровительствовала полиция, открыто — градоначальник.

Положение политических партий по отношению к «Собранию» было достаточно сложным. Отказаться от участия в нем — потерять возможность воздействия на рабочих. Поддержать Гапона — прикоснуться к полицейской игре. Гапон облегчил революционным партиям задачу — старался не допускать чужих, а если кто из них и доходил до трибуны, его могли прервать, вывести вон. С другой стороны, Гапон стремился уменьшить, даже ликвидировать контролирующую роль полиции в движении, что ему, с уходом Зубатова, в значительной степени и удалось. Вероятно, Гапон хотел бы видеть «Собрание» независимым как от радикальных партий, так и от полиции.

И полиция, и радикалы не простили Гапону этой попытки обретения независимости.

Одна из примет общественно-активной эпохи — взаимное недоверие и подозрительность. Серьезные обвинения чередуются с бездоказательными, но «очевидными» для всех. Основания для взаимной подозрительности черпаются из практики эпохи и интуиции. Напомним широко известное: Е. Ф. Азев, руководитель Боевой организации социалистов-революционеров, более 15 лет находился на службе тайной полиции; Р. В. Малиновский, член ЦК РСДРП, председатель думской фракции большевиков, — сотрудник того же учреждения, что и Азев, но с меньшим стажем. Из рядовых эпизодов: Б. В. Савинков, сменивший Азефа в Боевой организации, высылает на улицы города под видом извозчиков группу своих людей. Выясняется, что один из них — агент охранки. Подозрение падает на «А». Затем на «Б». Впоследствии оказывается, что провокатором являлся как «А», так и «Б». А еще и «В». С другой стороны, служащие тайной полиции оказывали услуги революционерам.

Обвинение в сотрудничестве с охранкой — один из неудержимых приемов дискредитации личности или движения. Иногда достаточно дышать с полицией одним воздухом, порой — контактировать с ней, бывает, что и требуется выяснить предмет контакта. В случае с Гапоном ситуация беспроегрешная. Ведь он и сам не отрицал сношений с полицией. Когда пришло время, возникла соответствующая формулировка: полицейский агент, пытавшийся противопоставить истинно рабочему движению ложное, сеявший монархические иллюзии среди угнетенных и обездоленных. Эта точка зрения, основная для советской исторической науки, существовала в партийной историографии всегда, за исключением какой-то части 1905 года, когда РСДРП наряду с другими партиями и группировками стремилась использовать имя Гапона для развития революционного движения и роста авторитета партии среди рабочих. И хотя сестра В. И. Ленина М. И. Ульянова-Елизарова протестовала против включения в биографию Ленина факта его знакомства с Гапоном, как малозначющего, очевидно, что не всегда общение с полицией препятствовало сближению с оппозицией. Особенно если речь идет о Гапоне, не без оснований претендовавшем после событий 9 января на право называться вождем рабочих масс.

Суть основных обвинений в адрес Гапона со стороны охранителей наиболее отчетливо представлена в докладной записке «наверх» отставного жандармского генерала В. А. Новицкого. Впрочем, существенную помощь ему оказал сам Гапон, построивший свои надиктованные записки по образцу житийной литературы.

Путь его был предначертан. От отца ему достались критический склад ума и презрение к живущим за счет народа (вслед коляска одного из им подобных он еще в детстве кинул камень), от матери он унаследовал поэтический и религиозный склад души. Толстой и его последователи разъяснили ему отличие между истинным служением Христу и формальным обрядом. Священники, приносящие «святые дары в нетрезвом виде»; певчие, балагурящие в церкви; обитель, полная ленивых и сладострастных монахов; лишенные благодати высшие чиновники Синода и модные проповедники — все это приводило его, Гапона, или к воспалению мозга или к убеждению, что православная церковь «лишена жизнеспособности и превращена в религиозно-бюрократический депар-

тамент», что «русские попы просто чиновники охранного отделения». Смерть любимой жены, благословившей его на служение, поклонение мощам Сергия Радонежского и неожиданная встреча в Кремле с колоколом новгородского веча — вот те знаки, которые он распознал в своем движении к судьбе предстателя за сирых, угнетенных и обиженных. В воспоминаниях мы находим рассказ о начальных проектах и попытках Гапона облегчить страдания обездоленных, о толпах, стекавшихся на его беседы и проповеди, о встречах с Зубатовым, в замыслах которого он вскоре распознал «хитрую ловушку, организованную полицией для того, чтобы отделить рабочий класс от интеллигенции и таким образом убить рабочее движение». Притворно согласившись с идеями Зубатова, он принял решение делать вид, что поддерживает зубатовские союзы, а в действительности стремился оказать на них такое давление, «которое совершенно парализовало бы усилия тайной полиции использовать их как опору самодержавия и направить их на другой путь».

Нужны ли были генералу еще какие-либо доказательства изначально преступных намерений Гапона, его явных и тайных связей с революционерами? В число последних Новицкий включает и Зубатова, который видится ему главной фигурой революционного движения, непосредственным организатором покушений, создателем заговорщических организаций под видом рабочих союзов.

Поверить в то, что рабочие своим умом и чувством пришли к выкрику: «Так дальше жить нельзя!», было не под силу ни радикалам, ни полиции. Эсеры, меньшевики, большевики стремились записать народный подъем в свой актив. Большевикам удалось отнести его на свой счет, отделив 9 января от 10, создав в истории партии представление, что чуть ли не на следующий после «Кровавого воскресенья» день стихийное народное монархическое движение вошло силами партии в организованное русло классовой борьбы.

Полиция стремилась отыскать в «Собрании» подстрекателей: социалистов, интеллигентов, студентов, евреев, поляков, на худой конец — финнов, где-то невдалеке маячили японцы, будто бы выделившие из тайных сумм своего казначейства десятки миллионов йен на организацию революции, потирала руки Англия, радуясь успеху своих козней. Правительство вскоре от поиска подстрекателей отказалось.

Но на крайний фланг общества 9 января стремились представить как гигантскую провокацию. Слово «provokator» в отношении к Гапону и стоявших за ним первоначально, после «воскресенья», найдено было его противниками «справа»: рабочих вывели на улицы с одной целью — дискредитировать царя, монархию, развязать руки и голоса государственным преступникам и ворам, грабителям и убийцам. Противная сторона первоначально о Гапоне: смелый, глубоко искренний, страстный, честный, молодой, могучая фигура, позднее: шестие было организовано Гапоном по наущению своры царских приспешников, жаждущих преподать кровавый урок рабочим, которые выступили с минимальными требованиями — облегчить свое положение. В крайнем случае Гапон рассматривался как бессознательный участник провокации, человек, использованный тайной полицией в качестве марионетки.

Мы говорим о полярных точках зрения, но параллельно с ними всегда существовал исторический взгляд на ситуацию. Колонны двигались к Зимнему дворцу, вооруженные петицией, честь составления которой отстаивали разные политические группировки. Петиция выдвигала требования свободы союзов, стачек, созыва Учредительного собрания, отделения церкви от государства и т. д. Она возникла в пору массовых заявлений общественности о необходимости перемен, недоверия правительству в обстановке военных неудач России в войне с Японией. Традиционные формы заявлений общественности: печать, обед, тост, резолюция, депутация. Гапоновское «Собрание» искало такую форму обращения, которая сочетала бы в себе и массовость, и традиционность, и определенное давление, и послушание, и, учитывая сан Гапона, религиозность. В итоге возникло

шествие по образцу крестного хода во главе с Гапоном-священником, отчасти напоминавшее относительно недавнее (1902) паломничество 50-тысячной толпы к памятнику Александру II Освободителю. Уже тогда по поводу массового и локального во времени и пространстве выражения верноподданических чувств шествие было произнесено: хорошо, но больше такого не надо.

Гапоновская петиция была составлена в пренебрежении к традиционному жанру обращения к императору, передача ее прямо в руки царю исключалась как по ее содержанию, так и по этическим особенностям. Уже задним (как правило) числом виделся простой выход: рабочие выходят на Дворцовую площадь — появляется флигель-адъютант императора — принимает петицию — все расходятся. Но еще в первые дни января властям казалось, что сложившееся (у них) представление о Гапоне, тесная связь Гапона с градоначальством, определенные отношения с полицией, контроль епархиального ведомства, наконец облачение священника служат гарантией невозможности шествия или в крайнем случае его незначительности. Да и сам Гапон не верил, не предвидел, каким массовым окажется движение рабочих к царю. Остановить его он был уже не в силах, как не в силах были остановить колонны рабочих увещевания командовавших солдатами офицеров. «К царю идем, за милостью! Как могут не пускать!»

Не будь у собравшихся столь мистической веры в царя и Гапона, а у властей чрезмерных опасений, что шествием воспользуются революционные партии, события 1905 года (и последующие?) наверняка обрели бы несколько иной характер. Поспешность принятых мер и приказ не допускать шествие ко дворцу привели к катастрофическим последствиям для самодержавия, на улицах Петербурга пролилась кровь.

Число жертв «Кровавого воскресенья» и сегодня продолжает оставаться не столько историческим вопросом, сколько агитационным приемом. Вскоре после событий упоминаемое в листовках и воззваниях число одних только убитых доходило до трех и более тысяч. Принятая сегодня цифра более тысячи. Похоже, что наиболее близки к действительным данные, обнародованные правительством и названные в докладе царю: 130 убитых, 299 раненых. Учитывая, что полиция могла не иметь точных сведений, особенно относительно легко раненых и не обращавшихся в больницы, в двадцатые годы полагали: от 150 до 200 убитых, от 450 до 800 раненых.

Насколько широки возможности сторон в оценке событий 9 января, можно проиллюстрировать на примере эпизода в Александровском саду, где выстрелами были поражены несколько человек (в том числе и подростки), взобравшиеся на деревья и решетку сада из любопытства. Для части свидетелей и историков очевидно: солдаты, по крайней мере часть из них, стреляли поверх голов, и пули поразили оказавшихся под прицелом. Иная трактовка: царские сапраны отдавали приказ вести прицельный огонь даже по детям. Некоторые из защитников монархии вообще отрицали, что в тот день пострадали дети. А собравшиеся у ворот больниц люди были убеждены, что администрация скрывает истинное число убитых, что большая часть трупов сокрыта в тайниках или вывезена воинскими эшелонами. Но в любом случае одним из основных виновников жертв 9 января числили, или впоследствии стали числить, Гапона. Помимо обвинений в связях с тайной полицией, революционными кругами, в организованной им 9 января провокации, был найден и один из основных мотивов его деятельности — честолюбие. Вот Гапон застывает перед витриной, в которой выставлен его портрет. Произносит: «Я буду Наполеоном или меня не будет». Делится с собеседниками своими представлениями о том, как ему виделось завершение шествия: царь выходит на балкон, рядом с ним он, Гапон. Почти все мемуаристы отмечают его непомерное честолюбие. Эта характеристика стала сопровождать Гапона не сразу, а спустя несколько месяцев после его бегства из России и тесного общения с представителями радикальных движений. Их искреннее ли,

вынужденное ли восхищение Гапоном на первых порах, внимание к его предложениям и речам, в которых часто звучало: «зверь-царь», «проклятому народом царю и всему его змеиную отродью», «отомстим», «бомба», «народное восстание», «террор»— вскоре сменилось попыткой предложить ему место ученика и ширмы, из-за которой будет вещать истину те, кто в действительности ее знает. Нельзя сказать, что подобная роль назначалась Гапону впервые. И полиция стремилась использовать его в этом амплуа. Но и в том и в другом случае Гапон сумел отказаться от роли, причем за границей, уже примерив тогу вождя, он сделал это с оскорбительной для многих легкостью. Вероятно, Гапон и от природы не был обделен честолюбием, но его короткий успех в некоторых петербургских гостиных, лесть Зубатова, внимавшее каждому его слову собрание рабочих способствовали развитию природных задатков. Вынесенный событиями на поверхность истории, он попытался продолжить свое движение в эпохе, не желая понимать, что отведенное ему место и время локальны. Попытка доказать обратное обернулась обвинением в честолюбии и тщеславии, хотя русская революционная и либеральная верхушка, западноевропейская печать на первых порах пребывания Гапона за границей немало сделали, чтобы развить в нем эти качества, оберегая его имя от любой критики, гордясь членством Гапона то в РСДРП, то в партии социалистов-революционеров. «Но к лету мы его раскусили»,— отметил мемуарист.

Гапон как будто примирился с поражением в состязании с партийными лидерами, обвинив своих бывших союзников в словоблудии, тщеславии, в том, что они «салом смазаны», в непонимании ими духа народа. Эти обвинения, а он их несколько не скрывал, придали ему в глазах эмиграции, а затем и в России черты честолюбивой почти что ничтожности. Поприщин — вот медаль, которой в итоге был награжден Гапон.

Инквизиторское прозвание Игнатия Лойолы Гапон заслужил, когда осенью 1905 года по издании Манифеста 17 октября, ограничивавшего самодержавие, он вернулся в Россию, попытался вступить в игру с правительством, намереваясь начать все сначала: восстановить рабочий союз, создать истинно народное движение. Игра была принята. Партнером выступил председатель совета министров С. Ю. Витте. В обмен на обещания вновь открыть отделы «Собрания» Гапону были предложены тезисы его будущих интервью, письма к рабочим (изданного впоследствии на деньги казны). Гапон должен был поддержать новую правительственную программу, призвать рабочих отказаться от насилия, убедить рабочих вообще приостановить движение как бы с целью закрепить и удержать за собой завоеванные позиции. Гапону были выданы деньги для отъезда (временного) за границу, налажена с ним связь. Позднее им было составлено и нечто вроде покаянного письма в достойных тонах.

Гапон, вероятно, не находил ничего предосудительного в своих контактах с правительством, они могли видаться ему полезными и для России в целом, и для восстановления «Собрания». Отвечая в декабре 1905 года на обвинения французских социалистов в предательстве, он заявил, что речь идет только об изменении тактических приемов, что он остается «революционером, которому дороги принципы международного социализма». Гапон не чувствовал себя связанным с революционной этикой, запрещавшей без санкции «генералов» входить в какие бы то ни было отношения с властями. А если и чувствовал, то считал себя достаточно «полным» генералом, чтобы не спрашивать у кого бы то ни было разрешения на переговоры и отчитываться в них. Гапону революционные партии должны были поставить эти контакты в вину, поскольку «в сердце» по-прежнему продолжали числить его среди «наших», хотя заявляли о том, что давно не имеют с ним никаких связей. Но, в общем-то, ему должно было быть понятно, что ни председатель совета министров Витте, ни министр внутренних дел Дурново не могут вернуть его на место главы «Собрания». Если обывателю еще можно было объяснить амнистию Гапона великодушием царя, то

как растолковать целесообразность возвращения Гапона в «Собрание»? Даже принеси он покаяние, вряд ли у Синода была бы возможность посадить его на приход пускай куда-нибудь в захолустье, разве что отправить в монастырь. Гапон, достаточно открыто пошедший на соглашение с правительством, видимо, не понимал, что занять свое прежнее официальное положение при «Собрании» ему не дано. Хотя — полученное им одновременно с обещанием открыть отделы «Собрания» настоятельное предложение временно покинуть Россию «ввиду тревожного времени», явно вызванное опасением властей относительно непредсказуемых действий и воззваний Гапона в сложной для государства ситуации, могло бы подсказать ему, как в дальнейшем будет развиваться его взаимоотношения с верхами.

Доверия не заслуживает, может быть использован только на подсобных ролях. Приблизительно такой вердикт был вынесен ему и революционерами, и властью, совместными усилиями выпестовавшими младенца.

Какие еще пороки числятся за Гапоном? Как, впрочем, почти за каждым лицом, которое так или иначе попадает в дискредитационное поле. Конечно — корысть, со всеми приводящими обстоятельствами. Тему желательнее развить во времени, начать с небольших сумм, довести, если позволяет статус лица, о котором идет речь, эти суммы до астрономических.

Когда-то Гапон служил в приюте, а вслед за его уходом оттуда в правление стали поступать давние счета, которые считались уже оплаченными. Покупал по счетам Гапон. В рассказах о нем часто возникает эта ранняя история, хотя никто, кажется, и не пытался выяснить, в какой степени она соответствует действительности.

На революцию из разных источников поступали деньги. Стоило Гапону замешкаться при ответе на вопрос, где 50 000 франков, выданных ему через посредника, как факт сокрытия им денег становится для всех очевидным, как очевиден и факт финансирования 9 января и всей революции в целом японской разведкой, иногда вкуче с английской, или же американскими миллионерами-сионистами (в литературе встречаются и попытки убедить читателя в том, что Гапон — выкрест, или цыган, или потомок забредшего вместе с Наполеоном в Россию итальянца).

Вот еще одна финансовая операция, связанная с «Собранием». Правительство, не то действительно осенью 1905 года собиравшееся восстановить отделы в противовес образовавшемуся Петербургскому Совету рабочих депутатов, не то стремившееся убедить в этом Гапона, — выдало его представителю, журналисту Матюшенскому, 30 000 рублей в покрытие убытков, понесенных «Собранием» в связи с его ликвидацией в начале года. Матюшенский 7 тысяч передал по назначению, а с остальными деньгами скрылся в Саратов, где был достигнут гапоновцами совместно с полицией. Оправдываясь перед общественностью, Матюшенский объяснил, что для нужд «Собрания» ему было выдано только 7 тысяч, а остальные деньги правительство определило на активизацию контрреволюционных сил, «черной сотни» — через посредство его, Матюшенского. Отнюдь не собираясь использовать оставшиеся 23 тысячи по правительственному назначению, он все-таки эти деньги взял. И вот почему. Лежит на нем вина перед русским народом. Ведь именно он составил ту январскую петицию, которая позвала за собой рабочих. Да и составляя ее, знал, что прольется кровь, что женщины, старики, дети . . . Тогда ему мнилось — чтобы разбудить народ, показать ему истинное лицо царя, эта жертва необходима. Народ пробудился, но не весь. Миллионы крестьян все еще чтут царя, идеалы самодержавия. Нужно лишить царя ореола божьего помазанника. Именно для этой цели он и предназначил 23 тысячи государственных денег. С их помощью, словом и людьми, он должен был внедрить в сознание все еще неразбуженной части народа представление о том, что истинный Николай II еще в детстве был похищен и подменен царскими вельможами. На троне восседает антихрист! Явным доказательством

чего является не только расправа 9 января, но и «звериное число» 666, заключенное в имени Николай II Александров, если заменить каждую букву имени ее числовым обозначением.

Мы не нашли обвинений в адрес Гапона в том, что деньги были похищены Матюшенским в сговоре с ним. Видимо, плохо искали.

Зубатов рассказал историю о том, что помимо разных сумм, выдаваемых им лично Гапону, тот получал еще ежемесячно по 100 рублей от лица, поручившего Гапону собирать сведения о нем, Зубатове. Можно ли верить опальному полковнику? Даже если сведения, сообщенные им, верны, то следовало бы выяснить, на что шли эти деньги? Не на «Собрание» ли, что оправдывало бы Гапона в его собственных глазах; да к тому же не могла не тешить его в этом случае мысль — как ловко он морочит полицию. И в своих «Записках», и в беседах с разными людьми Гапон и сам касался вопроса о деньгах, принятых им от Зубатова. Почему? Потому ли, что скрывать этот факт было невозможно? Или потому, что грех он брал на душу во имя «Собрания»?

А как обойтись без обвинений Гапона в сладострастии? Полумрак. Опять возникает приют для девочек, дортуар, иногда меблированные комнаты. Опекуны с суровыми лицами, не желающие более испытывать судьбу своих крошек, одна из которых (что верно) вскоре станет гражданской женой Гапона. Дальнейшее повествование ни на шаг не отступает от канона: злодей приживает с ней ребенка, а затем выбрасывает на улицу без всяких средств к существованию. Мелькают тени великосветских дам, просящих благословения, возносящих исповедника. Чувствуется знакомство мемуаристов с историей Григория Распутина, но реального материала маловато, а уйти от искушения невозможно, потому-то и мелькают не дамы, а тени. Другой эпизод: романтическая героиня, эсерка. Читателя не напугают во мнении: он сам должен оценить ситуацию — ее жертва на алтарь народа и революции, воплощенный в Гапоне, или покорность Гапону, не без садизма унижающему покорную ему девушку.

Среди дежурных обвинений и трусость. Окружает себя телохранителями. Бегит с улиц, на которых слышны выстрелы. Боясь быть узанным, соглашается прибегнуть к ножницам и лишается части волос, бороды и усов. Вскрикивает ночью с криком: «Меня убьют!» Неспособен встретить заслуженную смерть достойно.

Свой последний шаг к смерти Гапон начал с предложения, сделанного им в феврале 1906 года П.М.Рутенбергу, который когда-то был назначен к нему куратором от эсеров.

Что предлагал Гапон? Сделать вид, что Рутенберг за большое вознаграждение готов выдать секретной полиции Боевую организацию партии эсеров (БО), график покушений. А террористов предупредить вовремя, чтобы они сумели скрыться. Если кто-то и попадет в руки полиции, не страшно: лес рубят — щепки летят. Второй пункт предложений: организовать ряд настоящих покушений, скажем, на Витте, Дурново или Трепова, ведущих чинов полиции, например Рачковского. Вероятно, замыслы Гапона должны были приводиться в движение в зависимости от того, насколько успешно будет реализовываться его основная цель — восстановление «Собрания» и своего места при нем. С одной стороны, он готовил для правительства доказательство своей лояльности, с другой — не вынашивал план возмездия правительственным чиновникам, давшим обещание реально возродить отделы и не исполнившим его, не то собирался восстановить свой авторитет, существенно пошатнувшийся в связи с раскрытием его тайных взаимоотношений с правительством и скандалом вокруг 30 тысяч.

Рутенберг извещал о своих разговорах с Гапоном некоторых членов ЦК, других авторитетных в партии лиц, которые пришли к неожиданному определенному выводу: заслуживает смерти. В этом не было сомнений ни для В.Чернова, ни для Савинкова. Азеф тоже одобрительно кивнул. Нет, в отличие от будущих историков ВКП(б), никто из них не собирался делать из Гапона мелкого

доносчика, сексота по кличке «Гапошка». Может лишь показаться, что основное обвинение, выдвинутое эсерами против него,— собрался «сдать» полиции БО. Но об этом лишь вскользь упоминает в своих воспоминаниях Савинков, не считает даже нужным говорить в очерке о Гапоне Чернов. Все мемуаристы и известные участники заочного суда говорят об иной, почти что мистической вине Гапона: он предал 9 января. Предательство, если вернуться на землю, видимо, заключалось в уже известных всем сношениях Гапона с правительством, его признании событий 9 января «роковым недоразумением», его приведшим в ярость Дурново заявлению, что личность императора всегда была для него священна и неприкосновенна. В совокупности, с учетом отягчающих обстоятельств (ведущая роль в «Кровавом воскресеньи», сохранившийся авторитет среди значительной части рабочих): смертная казнь.

Исполнение приговора было поручено Рутенбергу. Вообще-то Рутенберг в партии человек относительно новый (чуть более года), членом БО фактически не состоял, в терактах участия не принимал. Можно ли было поручать ему эту роль? Но другой «наживки» одновременно и на Гапона, и на Рачковского, предложившего Гапону завербовать Рутенберга, не было. Совместное присутствие Гапона, Рачковского и Рутенберга на месте теракта должно было свидетельствовать об очевидной для всех роли Гапона-provokatora (хотя не очень понятно, кто был главной мишенью эсеров: Рачковский или Гапон?). На Рутенберге к тому же ответственность за Гапона, ведь именно он в то памятное воскресенье увел его с улицы из-под выстрелов, нашел убежище, помог бежать из России, привел к эсерам, наконец — постриг. Кому как не ему осуществлять возмездие! Учтем еще, что БО к этому времени была почти разгромлена, новых людей было немного, а в Варшаве планировалась еще одна расправа — с provokatorом Татаровым. Двойным ударом БО заявляла о своей жизнеспособности, открывала новую серию актов, прекращенных было в условиях неопределенности с реализацией установок Манифеста 17 октября и разлада внутри партии по вопросу об эффективности террора.

Полагаем, что одновременно, и это, быть может, наиболее существенно отразилось на судьбе Гапона, у эсеров могло возникнуть искушение как бы переиграть заново, новым составом давнюю историю 1883 года. Тогда С. Дегаев, член «Народной воли» и одновременно агент инспектора Петербургского охранного отделения Г.П.Судейкина, получил право отчасти искупить свою вину и сохранить себе жизнь убийством «шефа». Судейкин был убит в доме Дегаева, вскоре навсегда покинувшего Россию.

Этот эпизод из истории «Народной воли» оставил внутри движения чувство неудовлетворенности. Полагали, что правильнее было бы, чтобы и осведомитель, provokator тоже разделил участь искусителя, инспектора охраны. Случай с Гапоном, кажется, предоставлял возможность исправить допущенную давеча оплошность, тем более, что «патрон» Гапона — Рачковский — являлся наследником Судейкина не только по методам работы, но и прямым учеником. Не тяготей над эсерами та давняя история, Дегаев — Судейкин, возможно, и не случилось бы посягательства на жизнь Гапона, разве что он сам, в назидание «клеветникам», покончил бы с собой, оставив пространную предсмертную записку.

Но осуществить задуманное двойное возмездие по плану, названному впоследствии Савинковым «дикой затеей», не удалось. Рачковский не слишком доверял Гапону, на свидание с Рутенбергом не являлся, на приманку не шел. Рутенберг, не ощущавший на себе давления поэтических фигур народовольческой истории, видимо, не очень понимал, почему приговоренных к смертной казни нельзя ликвидировать поэтапно. Он обратился за санкциями к Азефу, и, как утверждал впоследствии, получил их. Известная версия — Азеф дал согласие потому, что опасался, как бы одновременные контакты Гапона с полицией и Рутенбергом не привели к раскрытию его, Азефа, роли в охранном отделении. Версия сомнительная. Скорее могла существовать опасность, что через Гапона

полиции станет известно о той роли, которую Азеф в последние несколько лет оказался вынужденным исполнять на посту главы Боевой организации. Или — Азеф увидел в Гапоне своего двойника (не конкурента), беспомощного и бесперспективного, обреченного на гибель, способного опорочить, ополшить, дискредитировать тот рисунок игры, который с таким мастерством вел он, Азеф. Вид двойника, да еще с такой очевидностью спешащего на глазах публики не то к падению, не то к смерти, мог быть ему отвратителен. И он мог дать Рутенбергу понять, что у ЦК нет возражений против ликвидации Гапона в индивидуальном порядке.

Убийством Гапона эсеры на тот момент не приобрели никаких дивидендов и вынуждены были отказаться от ответственности за акцию, что случилось с ними не однажды. Эсеры молчали, опасаясь обвинений в некорректных, мягко говоря, методах ведения следствия, в использовании провокативных приемов, в том, что убили Гапона, приревновав его к рабочим. На фоне многочисленных газетных фельетонов о Гапоне эсеровская акция по жанру тоже напоминала фельетон, только с саморазвивающейся развязкой. Создать эталон возмездия не удалось, посредственным режиссером и исполнителем эсеры выглядеть не могли; Рутенберг, который вдруг стал отстаивать свою личную честь, забыв о партии, был отдан на растерзание журналистам.

Приговор революционного военно-полевого трибунала, кажется, не вызвал возмущения у рядовых участников революции. Да, Гапон не называл полиции имен, явок, дат и маршрутов. Он предал только идею, что в глазах и рядовых, и «генералов» революции было высшей степенью предательства. Конечно, в истории освободительного движения такие случаи бывали. Например, Л.А.Тихомиров, член Исполнительного комитета «Народной воли», ставший убежденным сторонником и защитником монархии. Но Тихомиров сделал это открыто, без «непоняток», без игр с полицией и своими бывшими товарищами. (Смерть Гапона как бы в назидание и ему, ренегату.)

И никого не интересовало, что Гапон, как видится, только «понарошку» собирався открыть полиции БО (игру Гапона поспешили признать за реальность), что перед судьями стоял последовательный, переменчивый, импульсивный субъект, неспособный оценить ни своих, ни чужих сил, зависящий от ситуации, задаваемой ему людьми, обстоятельствами, историей. Не то болтливый, не то простодушный в своей хитрости. Открыт почти перед всеми и в ближних и в дальних замыслах, не скрывает своих связей ни с полицией, ни с революцией. А тут еще модный галстук, франтоватая одежда, верховая езда, стрельба, богатый стол, нарушение обязательного для священника-вдовца безбрачия, крепкие выражения, игра в рулетку. Редкий мемуарист опустит эти детали в рассказе о Гапоне. И не потому обязательно, что так уж хочет снизить его образ, а потому еще, что хорошо ложится Гапон на клише, литературный или исторический персонаж, тем более, что и сам Гапон не был чужд игре, работал образ. Вот и предстает перед нами одновременно: тайный агент, революционер, второй Азеф, Лойюла, предшественник Распутина, Хлестаков, Поприщин, новоявленный Минин, Гермоген, митрополит Филипп, когда-то восхищавший Гапона своей способностью к самопожертвованию во имя Бога и России. Чуть появившись при Гапоне сани, их немедленно преображают в розвальни — и вот уже перед читателем не то «Боярыня Морозова», не то Аввакум или митрополит Филарет. Или безумец, «сумасшедший поп», романтик, который еще тридцатилетним мужем завершал письма отрывком из полюбившегося стихотворения, а тридцатипятилетним часто видел себя положившим жизнь «за други своя».

Конечно, ризы Гапона запытаны. Но не только им одним. Свой след оставили на его облачении и полиция, и революция. Ведь Гапон их общее дитя, но никто не хочет признавать себя крестным отцом.

На похорнах Гапона полиция насчитала около двухсот человек. 9 января за ним шло около 150 тысяч.

## Оглянись без гнева

Воспоминания П. Лапайниса (1897—1990) занимают около полутора ста страниц. Они были записаны «афганцем» Я. Кушкисом и журналистом А. Мейерсом весной прошлого года. Перевод был просмотрен автором, в русский текст им были внесены некоторые дополнительные уточнения. Вот несколько эпизодов, связанных с хорошо знакомыми событиями 1917—1918 гг. и участием в них латышских стрелков. Эмоциональная память, неординарность впечатлений и оценок мемуариста, надеемся, будут оценены читателем.

Я служил в учебной команде 2-го Латышского стрелкового полка, когда началась Февральская революция. В газете «Яунакас зиняс» объявление — все титулы отменены, никаких там «благородий» больше нет. Я как раз дежурным был, и мне первому довелось генерала господином назвать! У меня губы дрожали, но мы с ребятами заранее сговорились, что я обращаюсь к нему: «Господин . . .» Мне передавали, что тот генерал сказал потом начальнику нашей команды: «В глаза-то мне плюнул, зато отчеканил как!» . . .

\* \* \*

В августе мы стали от Риги отходить. Немножко повоюем, поспротивляемся, и опять отступаем. Так дошли до Лигатне, и там у нас как-то ночью Октябрьская революция получилась. Мы со взводом в ту ночь спали на хуторе «Чаури». Поутру просыпаемся, прибежал кто-то — в штабе, говорит, что-то происходит: один офицер сам застрелился, другого прикончили. Штаб неподалеку, пошел разведать . . . А там Янковский лежит мертвый, толковый командир роты был, кажется, пятой. Волосы густые, красивые, в луже крови лежит. Ну и объясняют, значит: Октябрьская революция . . .

\* \* \*

Подступила зима. Немцы потихоньку продвигались вперед и заняли Валмиеру. И двадцать третьего февраля цвет стрелков переменялся! А куда денешься? И Курземе вся, и Земгале, и почти вся Видземе под немцами! Пойдешь к ним сдаваться? Говорили, они на шахты гонят, есть не дают. Если бы мои родные места, Плявиняс, ну, скажем, Гостыни, были еще не заняты немцами, то куда мне до всех этих дел, до красной идеи! Хотя от идеи этой голова могла закружиться. Много о политике размышлять у нас и времени-то не было, да и закон желудка. Ну я и выбрал: в Красную Армию. И вместе со своим вторым полком пошел в сторону Москвы . . .

\* \* \*

В пути слух прошел, что в Москве голод, житья там никакого нету. Решили обойти Москву и двигаться туда где повольготней. Скажем, на юг, там вроде и белого хлеба можно поесть, и барашка нарезать, и вообще . . . Курс на Воронеж, где чернозем этот! Как-то раз просыпаемся: все тихо-мирно — вагоны отцеплены, паровоз отогнали, нас загнали в тупик. Рязань, оказывается. Из Москвы приказ поступил — дальше нас не пускать. Если согласны, нас в тех же вагонах отвезут в Москву. А если нет, оставайтесь в Рязани.

Пошли мы город осматривать. Чайная. Одни женщины сидят, ж-ж-ж-ж-ж, полна изба, двойные чайники на столе, друг на дружке, у всех женщин толстые, в обмотках ноги . . . Звать этих женщин — Баба Рязанская — так мне объяснили. И не по вкусу нам ни та Рязанская Баба, ни сам город Рязань.

Попался нам один шустрый мальчик. «В Москве,— говорит,— не так уж и плохо. За кусок сахара любая девчонка, позови только, с тобой пойдет!» Да ну?! Решили, голосованием конечно,— в Москву! Забрались в вагоны, паровоз гудит... едем...

\* \* \*

В Москву прибыли, кажется на Казанский. Вылезаем — нас оркестром встречают! Выходит кто-то навстречу, держит речь: «Латыши, мы вас ждем! Разместим по возможности получше...»

Оказывается, встречающие и есть советская власть в Москве. В городе ни одного русского полка, все по домам отправились, по России. А мы... наш дом не там.

Нас сотни четыре было: построились в колонну по четыре, четыре наших офицера впереди. Шагаем лихо, маршировать умеем! И оркестр впереди, и мы по Москве впервые в жизни идем! Часть Тверской была выложена булыжником, а часть дубовыми плахами, торцовая мостовая — звук удивительный, когда рота по ней или лихачи.

В бывшем Александровском военном училище, на Арбатской площади, чудно: столовая, кухня, спальни с кроватями! Хоромы! Там и расположились. В доме напротив, говорили, раньше Гоголь жил, на четвертом, кажется, этаже.

Назавтра, еще толком умыться не успел, приносят мне ребятя утреннюю газету. И в этой газете — «Утренняя заря» — заголовок: «Вчера Москву заняли латышские стрелки». Приносят еще одну, а там: «Вчера вестниками перехода к советской власти...» Правительство еще нет в Москве, большевистское правительство пока еще в Петрограде, в Петербурге! «В Москве появились латышские стрелки, это гвардия советской власти...» А дальше расписывают, как шли «... офицеры с револьверами и шашками, а штыки стальными линиями повисли над головами. Сила внушительная!» Четыреста человек всего — и вот как расписали. Да! «Это гвардия советской власти...» Да никакая мы не гвардия, мы просто толпа... Снова созывают нас на собрание, будем выбирать командира полка — из тех самых четырех офицеров, что у нас есть. Поступает предложение — не командира полка выбирать, а полковую коллегию из трех человек — пусть уж несколькими достанется эта честь. Ну и мне перепадает нехитрая должностишка: командира третьего взвода второй роты.

\* \* \*

У русских про нас хорошее словцо было; когда после второй мировой войны мы рядом в лагере оказались, они мне напомнили: «Теперь мы освободили вас, а было время, когда вы освободили нас».

«Освободили» — это слово надо поставить в кавычки! В обоих случаях! Да, в обоих... Еще в лагере говорили, что всех нас освободили от витамина «О»: маслО, салО, молокО...

\* \* \*

Через пару дней должен был состояться Всероссийский съезд рабочих, крестьян, безземельных крестьян и солдат. Мне с моим взводом нужно было тот съезд охранять. Представили меня Моисееву, коменданту Московского Совета. Отправились мы с ним в Господский клуб — Дом благородного собрания. Мы со своим взводом свое дело сделали честь по чести... и Моисеев обращается ко мне: «Петр Иванович!» Я-то Петерис, сын Яниса, я ему просто свое имя на русский перевел. Должен был сказать — Янович. Но мой отец, когда по-русски говорил, всегда назывался Иваном... Я и сейчас еще считаюсь «Иванович» — по-латышски в мой паспорт вписано «сын Ивана». Вреда от этого никакого... но это не про меня...

\* \* \*

Из полка я ушел, уговорили в Совдеп: «Все, что лучшее есть в Москве, для вас будет. Мы с вами как топор с руковицей жить будем». И вот для одного взвода в Совдепе такую жизнь устроили! На Скобелевской площади, в доме московского губернатора! Еда — ну какая она могла в то время быть у русских — была и в самом деле довольно хороша по тем временам. Но — заявляется Екаб Петерс, заместитель Дзержинского: «Ага, вы, стало быть, здесь! Ну-ну, ну-ну . . . У меня к вам разговор будет . . .» Квартира у него была при Лубянке, при тюрьме. Жил он, ей-богу, как . . . С нашими ребятами говорил по-латышски, и у него было достаточно приверженцев. Ему нужны были люди, и он стал звать нас по ночам на акции, он называл это акциями. Искали тех, кто считался противником большевиков. Большею частью старые женщины, испуганные, руки трясутся, почти у каждой на коленях узелок — драгоценности, деньги, что у кого было.

В Москве я Роберта Лиепиньша встретил. Он, когда нас в 1916-м из Орла в Ригу переводили, в одном белье ехал, так как одежду свою продал. Когда меня взяли начальником охраны в Совдеп, Роберт этот записался к нам. На акции ходил с удовольствием, даже с большой радостью. По-русски не говорил — то ли языка не знал, то ли по строптивости . . . У него всегда что-нибудь к рукам прилипало. Ходил он на эти акции каждую ночь, да таким улыбчивым становился, таким важным, что со мной не очень-то и разговаривать хотел. А как-то утром вытаскивает из-за голенища золотое распятие, спрашивает: «Сколько бы это могло стоить?» Я говорю: «Это, Роберт, стоит очень дорого, но в первую очередь это стоит твоей головы. Екаб знает об этом?»—«А за него не бойся! . . .» И сапоги на Роберте уже хромовые, офицерские, есть у него и синие галифе. По виду настоящий офицер! Правда, лицо рябоватое, да это ничего! Где ему еще дело найдется? Рыскали они по особнякам подмосковным, где богатые люди жили, бывшие офицеры прятались. В Москве было столько добра — богатые купцы, богатые монастыри. Ходили они туда, реквизиции делали, и казалось это им чрезвычайно важным делом.

Петерс захакивал к нам ножами все чаще и чаще, и я почувствовал, что мне там уже не продохнуть. Сказал, если Петерс будет развращать моих людей, то я уйду. А Моисеев ответил, что он не в силах против него. По-моему, Петерс стал или был садистом — он только на руки смотрел: есть мозоли трудовые или нет, а иногда и без мозолей забирал . . . Его расстреляли, он заслужил расстрел.

\* \* \*

Правительство в Москве охранял Первый особый латышский коммунистический отряд, потом он стал называться 9-м латышским полком, кремлевским. Там я и оказался, уйдя из-под Петерса, там меня и Ленин чуть ли не каждый день за пуговицу теребил. Когда я приводил караульного к дверям ленинской квартиры, я обязан был позвонить, чтобы вышел сам Ленин или хоть Крупская. Они должны были караульного знать в лицо, чтобы кто-нибудь чужой к ним не вошел: три раза в день — под нового часового — звонить надо было. Тут-то он и вступал с нами в разговоры. Возьмет за пуговицу и рассказывает — горожанину ли, крестьянину — всем обещал разные блага. Он не раз мне и моим часовым говорил: «Если вы поможете нам удержаться и победить этих контрреволюционных генералов, мы позволим вам основать собственное государство». Не знаю, что он говорил в официальных речах, но нам — именно это. Вот про тех, кто царя расстрелял, он вроде ничего официально не заявлял. А когда его спросили среди своих, что делать с теми, кто расстреливал — судить? — он будто бы на заседании ответил: «Не судить, а наградить».

\* \* \*

Да, 6 июля латышские стрелки выступили на стороне Ленина. А куда нам, латышам, было податься? Это русские солдаты могли по домам разойтись и разошлись, а нам куда?

Спиридонову арестовали и поместили в Тронный зал Большого дворца. Она сидела там одна, была спокойна, и было даже удивительно, как женщина может спокойно себя чувствовать в такой ситуации . . . Тогда в зале еще стоял трон, рядом стулья для всей царской семьи . . . Опасались, что она будет пытаться бежать, но она и не собиралась, у нее была абсолютная уверенность, что она по-прежнему как бы правая рука Ленина, чего ей опасаться — ведь, за ней крестьянская партия.

Когда я менял караул, то должен был заходить к Спиридоновой, спрашивать, нет ли жалоб, пожеланий. Нам случалось и поговорить, так, несколько фраз — ведь она находилась под арестом, и я должен был относиться к ней с определенной строгостью. Она обращалась ко мне на «вы», причем скорее не ко мне лично, а имея в виду стрелков: «Вы будете раскаиваться в содеянном, в том, что случилось». Троцкого называла мальчишкой, осуждающих слов о Ленине от нее я не слышал, только: «Он никогда не поймет латышского мужика, латышского крестьянина. Никогда».

Жаль, что я не познакомился с нею раньше. Не много надо было, чтобы помочь ей. Не 6 июля, конечно, а раньше. Скажем, не коалиция большевиков с левыми эсерами, а наоборот — коалиция левых эсеров с большевиками. Может, и колхозов бы тогда не было, и кутерьмы всей этой.

Меня не было при аресте Спиридоновой, я только слышал, что Ленин сказал: «Глядите, охраняйте, чтобы никто не причинил ей зла . . .» Был у нас в Кремле такой Павлик, за коменданта, он больше за хозяйство отвечал. Настоящим комендантом мы считали Берзиньша, я его сына в 46-м или 47-м на Красноярской пересылке встретил. Стоим, разговариваем, он в стороне. Я спросил его: откуда? Он ответил: «Я — Берзиньш». — «Если ты Берзиньш, почему не говоришь по-латышски?» — «Я не умею по-латышски».

А Павлик был из моряков. Павлик Мальков . . . Мы боялись, как бы он к Спиридоновой не проник, он вполне мог ее застрелить, без спросу, он этим занимался, и он же расстрелял ту еврейку, которая Ленина ранила.

\* \* \*

Я видел, как это было. Я разведал караул, поставил двух человек в одном конце Больших Спасских ворот, двух — в другом. Вернулся в караульное помещение. Идет Павлик с пистолетом. Рядом женщина, молодая. Черные волосы, красивая, глаза немного выпуклые. Еврейки, когда они молодые, очень красивые бывают. Я не знал, что это Каплан. Но Павлика я знаю. Говорю — оставь, что она тебе? Он только рукой махнул. Я пошел за ним. Кажется, никого больше с Мальковым не было . . . Иначе он из моего караула свободных людей взял бы, но чтобы это было так, что-то не помню. Каплан что-то говорила, но не умоляла, нет. Я думаю, она знала, куда он ее ведет. Мальков загнал ее в ворота, такие неживые, немые ворота были, они только с одной стороны выглядели, как ворота. Специального места для расстрелов в Кремле не было. Он выстрелил, раза два. Я сразу ушел, как увидел, что она убита. Я думаю, Мальков расстрелял ее сам, без суда, а документы потом оформили. Он ее получил, должен был, наверное, отвезти куда-то, а вместо этого расстрелял. Говорят, ей было около тридцати. Нет, она молодая была. Я же ее видел, она мимо меня проходила, а потом я сзади шел. Было это, чтоб не соврать, летом. После обеда . . .

## ЕЩЕ О ФИЛОСОФИИ БЛАТНОГО ЯЗЫКА

В ноябрьской книжке «Даугавы» за прошлый год напечатана работа Сергея Снегова «Философия блатного языка». Разрешу себе сделать несколько замечаний и добавлений к этому сочинению.

Прежде всего — не знаю, кто прикрылся псевдонимом «Снегов». Мне, отбывшему срок в Норильлаге, ясно, что автор тоже был в этом же лагере и в том же втором лагерном отделении, где я пребывал два с лишним года, работая врачом-хирургом в амбулатории, а потом заведую стационаром на 45 коек. Начальника лаборатории с фамилией Снегов там не было. Почему я утверждаю, что автор находился именно во втором отделении? Он привел пример сочинения Льва Гумилева «История отпадения Нидерландов от Испании», а Гумилев также содержался во втором лаготделении, работая в кернохранилище бурового цеха геологического управления. Я Гумилева уже не застал. Его увезли раньше. Но в память о его пребывании в так называемой «геологической палатке» (общезитии геологов) осталась не только эта история, но и переложение на воровской жаргон «Истории Государства Российского от Гостомысла до Тимашова». А.Толстого великолепным слогом и стилем! К сожалению, у меня не сохранилось экземпляра, а память уже подводит.

Автор статьи упоминает знаменитого вора по кличке Сашка. Настоящая фамилия его — Гущин Александр. Его мне тоже пришлось не раз освидетельствовать. Надо сказать, что Семафор был личностью неординарной. Во-первых, невероятный «авторитет» в воровской среде, который ничто не могло поколебать, несмотря на явную связь Семафора с охранкой. Этот Семафор имел несколько побегов, причем едва ли неудачных. Его ловили, один раз уже в другом городе, в аэропорту, куда он сумел долететь из Красноярска. В дальнейшем он, несмотря на наличие судимостей за побег, был расконвоирован и работал как экспедитор, оставаясь непререкаемым авторитетом у воров. Он был отличным психологом. При всех попытках его обвинить и устроить ему «качаловку» приходил в воровской барак, приносил с собой топор. Клял голову на край нар и предлагал голову рубить, если перестали верить. Эффект неожиданности такого поступка всегда был беспроигрышным. «Да что ты, Саша, да мы, да разве» и т.д., и т.п. Он тут же поворачивался и уходил. Важен был эффект внезапности.

Но каким же образом этому заядлому бегуну удалось попасть на работу с материальной ответственностью? Да еще и стать бесконвойным? Многим из нас это казалось загадкой. Но позже, при изучении всяких обстоятельств, выяснилось следующее. Одно время начальником 2-го лаготделения был некто Николай Захарович Панцырный. Любопытная личность. Небольшого роста, с отталкивающим лицом. Судя по карикатурам Бориса Ефимова, такое лицо было у Геббельса. Почти точная копия! Он имел срок за какое-то хозяйственное преступление. И в лагере его не приняли ни интеллигенция, ни воровской мир. Для тех и других он был чужак. И оказался парией, всеми гонимый и презираемый. Тут за него

и вступился Семафор. Сумел угадать, что это будет полезно. И когда Панцырный вышел на свободу и остался служить в этой системе, то повсюду за собой водил Сашку Семафора. Помогал ему в направлении на хорошую работу, выхлопотал постоянный пропуск. Не знаю их дальнейшей судьбы и отношений, но слышал, что Панцырный снова попался и был опять осужден, уже после моего отъезда из Норильска.

Вернусь к содержанию статьи Снегова. Автор правильно оценивает духовную сущность блатного мира, как стремление подчинить и унижить других. Как пример такой «духовности» приведу существующую «систему» определения национальностей в лагере. По мнению блатных, все национальности обитателей лагеря делятся так. Главная группа — русские и нерусские. Затем хохлы. «Звери» — это все кавказские и закавказские народы. Юрки — татары. И еще жиды. Очень просто, так и общаются. И нужно сказать, что в воровской среде, как нигде, развит прямо звериный антисемитизм. Причем этот антисемитизм никак не распространяется на тех «королей» воровского мира, кто еврей. Помню таких «героев»: Ковбой — Гохбойм, Монгол — Майнгольд, Венгровер — все имели от 125 до 180 лет неотбытого срока каждый. И были «в авторитете».

Хотя много лет у нас отрицалась теория Ломброзо, но, по моим наблюдениям, а я осмотрел тысячи блатных, почти на 100% у всех у них есть дефекты в телосложении и разные врожденные ненормальности в организме. А уж примитивность их ума даже удивляет иногда. Действительно, реакция, понимание необходимости быстрого действия у них бывает просто молниеносная. А вот такие вещи, как жалость, сочувствие, либо вовсе отсутствуют, либо они фальшивые.

Почему-то, когда говорят о воровском мире, больше подразумевают мужчин. Но ведь и женщины не такую уже малую часть воровского мира составляют. И должен сказать, что, по моим наблюдениям, у женщин гораздо быстрее, чем у мужчин, расслабляются тормозящие центры психики. Ни в одном мужском бараке не увидишь и не услышишь такого цинизма и грязи в словах и поступках, как в женских бараках.

Теперь немного о воровском жаргоне. По исследованиям криминалистов, с годами этот жаргон меняется. Вероятно, с изменением условий быта, ростом техники, изменением форм промышленности и, следовательно, появлением новых объектов промысла. Даже если почитать издававшийся в прошлом веке роман Крестовского «Петербургские трущобы», где в речи персонажей густо слышится этот жаргон, видно, насколько он отличается от бывшего в ходу сорок лет назад, когда я был в Норильске. Прилагаю несколько добавлений к словарю Снегова, собранных мною в Норильске.

**Павел ЧЕБУРКИН,**  
ветеран войны, ветеран Норильлага (г.Щекино Тульской обл.)

## **ДОБАВЛЕНИЕ К «ТОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ БЛАТНОГО ЛАГЕРНОГО ЖАРГОНА»**

### **Авторитет**

признак принадлежности к «высшему рангу» воровского мира. Право решать спорные вопросы среди «братьев по классу».

### **Атас**

предупреждение об опасности.

### **Будка**

широкое, толстое лицо.

### **Голубой**

гомосексуалист.

### **Замочить**

убить.

### **Испуг**

перспектива смертного приговора или замена его. «Получить червонец с испугом», то есть заменили казнь на 10 лет.

### **Керогаз**

револьвер, пистолет.

### **Колотушки**

игральные карты.

<b>Маяк</b>	знак опасности или знак привлечения внимания.
<b>Мбра</b>	цыган.
<b>Отец</b>	презрительная кличка осужденного за изнасилование дочери или внучки.
<b>Остаться без никому</b>	неосуществление задуманного.
<b>Рвануть когти</b>	совершить побег с этапа, из вагона или с пересылки.
<b>Рвануть очко</b>	изнасиловать мальчика, мужчину, лишив его «невинности».
<b>Сделать покупку</b>	украсть из кармана.
<b>Тля-тля</b>	прозвище всех шепелявых или не произносящих «р» и «л».
<b>Упираться рогами</b>	добросовестно работать.
<b>Ударить в туза</b>	совершить половой акт с женщиной.
<b>Чебоксар</b>	прозвище мордвина или чуваша.
<b>Юрок</b>	на блатном наречии так именуется татарин.

## СЛОВЕСНЫЙ КАМУФЛЯЖ? И НЕ ТОЛЬКО!

В журнале «Даугава» (1990 г., № 11) была опубликована статья С.Снегова «Философия блатного языка», которая, надо полагать, нашла широкую аудиторию, ибо была перепечатана дайджестом «24 часа» (1990 г., № 51). В порядке дискуссии предлагаю иной взгляд на проблему.

В статье С.Снегова выражается довольно распространенное мнение о бедности и убогости воровского языка. Кстати, еще в тридцатые годы Д.С.Лихачев назвал этот взгляд «обычным обывательским мнением»<sup>1</sup>. Идеи о первобытном примитивизме «блатной музыки», подобном языку дикарей, были популярны в начале века. Несомненно, сторонники данной точки зрения могут привести множество доказательств. Но попробуем посмотреть на воровской жаргон не «извне», а «изнутри» и увидим, что он не так уж и прост.

С.Снегов отдает предпочтение лагерному варианту «блатной музыки», который, по его мнению, более содержателен, изобретателен, остроумен. Однако не стоит забывать, что основу любого лагерного языка составляет собственно «блатная музыка», которая на зоне лишь пополняется словами, связанными с тюремно-лагерным бытом и привычками заключенных. Вероятно, уместно вспомнить и древнейшее происхождение арг (первые упоминания о котором относятся к XIII — XV вв.), тогда как тюремно-лагерный жаргон в его современном понимании имеет относительно недолгую историю.

По данным ученых, современное арг на 70% состоит из старой «блатной музыки»<sup>2</sup>. Кстати, это иллюстрирует и составленный С.Снеговым словарь, где, за исключением немногого, представлена обычная «феня». Вероятно, предпочитая лагерный вариант, С. Снегов учитывает специфику советских лагерей, где в течение десятилетий «хранились» самые светлые умы России. Однако не стоит уповать на интеллектуальность этих людей, ибо если они употребляли арг, то, вероятнее всего, «ботали по фене» с определенными поправками на лагерную, а не воровскую жизнь. И не может быть более или менее интеллектуальной «блатной музыки», как не может быть, на мой взгляд, более или менее интеллектуальной жизни в воровских притонах и сталинских лагерях.

Однако так ли уж примитивен язык блатных и зеков? С.Снегов пишет: «Блатной язык применяет метод наивный и примитивный — он переиначивает слова». Что понимает автор под «переиначиванием»?

Вероятно, это прежде всего метафора. Представляется любопытным замечание В.Розанова в «Опавших листьях»: «Я до времени не беспокоил ваше благородие по тому самому, что мне хотелось накрыть их тепленькими. Этот фольклор мне нравится. Я думаю, что в воровском и полицейском языке есть нечто художественное». Но можно ли верить на слово художнику? А вот что говорит И.А.Бодуэн де Куртене в предисловии к словарю В.Ф.Трахтенберга «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы» (Спб., 1908): «Предлагаемый здесь сборник содержит в себе богатый материал для исследователей «поэтического», т.е. созерцательного, не аналитического, воспринимания того, что существует и происходит как в нас самих, так и в предположительно в так называемом «внешнем мире».

И уж коли метафора — душа не только поэзии, но и «блатной музыки» (по данным ученых 52,8%)<sup>3</sup>, то противоречивым представляется утверждение С.Снегова: «Мышление невозможно без абстракции, без обобщения конкретности, без подъема над конкретностью. Именно это отсутствует в блатном жаргоне». Противоречиво, ибо метафора, по словам Ш.Балли, — это не что иное, как сравнение, в котором разум под влиянием тенденции сближать абстрактное понятие и конкретный предмет сочетает их в одном слове<sup>4</sup>. Всякая метафора — это образ того, что ум человека (и не только представителя блатного мира) не может постичь в чисто абстрактной форме.

Несомненно, «блатная музыка» — язык по-своему привлекательный. Именно это заставляет С.Снегова так любовно составлять толковый словарь лагерно-воровского языка. Однако если с собиранием дела обстоят более или менее успешно, то с толкованием слов все гораздо сложнее. Оказывается, не так-то просто «перевести» воровское слово на литературный язык. Подавляющее большинство арготизмов С.Снегов толкует путем подбора целого ряда синонимов (**фанера** «дурак, глупый, недотепа») или прибегает к расплывчатым и обширным оборотам (**лява** «она же оторва. Блядь, но плохая. Женщина — хуже некуда»; **падло** «что-то среднее между падалью и подледом»). Весьма примечателен тот факт, что при толковании С.Снегов использует слова «блатной музыки» (**фитиль** «доходяга»; **простычка** «честная давалка»; **бобр** «зажиточный фраер на воле. Завидный объект для облапошивания»).

Очевидно, воровской жаргон не так уж прост, ибо слов литературного языка недостаточно, чтобы передать точное значение воровского слова. Часто арготизмы настолько яркие, образны и «непереводимы», что органично и эффективно вливаются в обыденную речь самого предвзятого интеллектуала (ср. некогда воровские слова и выражения: дать дуба, дать фору, свой в доску, смекнуть, блат, тянуть резину, под шумок, пижон, валять Ваньку и др.), и там уже не кажутся убогими и примитивными.

Убедительным доказательством убогости арго считается то, что на этом языке невозможно формулировать мысли высокие, философские. Не стоит забывать, что это язык профессиональный, функционально ограниченный. Предъявлять подобные требования к нему — ждать, когда созреют ананасы на акации.

Впрочем, многие ассоциации в значении воровских слов вполне остроумны и удивительно точны. Пресловутые Иван Иванович, ставшее нарицательным, в арго означает и «прокурор», и «главарь преступной группы, скрывающий свою фамилию», а в разговорной речи — «человек всемогущий, при имени которого открываются все двери». Так ли различны ассоциативные ряды этих значений? Интересную интерпретацию в арго получило слово «колхоз» в значении «преступная группа». Так ли уж кощунственно выглядит это значение на фоне современных знаний о путях создания и сути этого явления? А разве не адекватны значения воровских слов **живодер** «врач» и **живопырка** «столовая» нашим

системам здравоохранения и общественного питания в их самых печальных проявлениях?

Взгляд на «блатную музыку» с интеллектуальных вершин не позволяет увидеть многих интересных, удивляющих своей сложностью и неординарностью ассоциативно-логических связей арго и реальной жизни. Конечно, мировоззренческие ценности блатных во многом специфичны, однако и в «блатной музыке» ассоциации в значениях часто совпадают со взглядами порядочного человека: **грязь** «сплетни, клевета»; **законный** «заслуживающий уважения»; **железный нос** «политработник ИТК»; **животное** «вымогатель» и пр. С оттенком одобрения существует в воровском языке оборот «метла работает нищак» со значением «способность человека решать спорные вопросы не силой, а словом», где явно отдается предпочтение уму, а не физической силе.

Не стоит говорить, что воровской язык, переживший века, может претендовать на более уважительное к нему отношение, особенно тех, кто изучает его. Кстати, воровскую речь исследовали замечательные наши ученые И.А.Бодуэн де Куртене, Е.Д.Поливанов, Б.А.Ларин, Д.С.Лихачев. При рассмотрении «блатной музыки» необходимо учитывать ее древнее происхождение, ибо уже не раз отмечалось, что воровской язык имеет историческую традицию и развивается в процессе прогрессивной эволюции, как и язык литературный.

Хотим мы того или не хотим, но «блатная музыка» и все с ней связанное — это тоже наша история. В «Истории России» С.Соловьева находим целые страницы, посвященные грабегам, конокрадству и другим темным делам в Древней Руси. История сохранила жизнь и «подвиги» знаменитого разбойника Ваньки-Каина (в современном понимании — социально опасного элемента), а песни, автором которых он считается, едва ли уступают в художественном отношении лучшим образцам фольклора.

Конечно, чего проще заклеить блатной мир (а заодно и язык, которым он пользуется), однако в очередной раз не могу удержаться от цитирования И. А. Бодуэна де Куртене: «Да и вообще где грань между «преступным» и «непреступным» миром? С одной стороны, «преступления» «блатных», и с другой же стороны — не считаемые вовсе преступлениями массовые убийства, погромы, бесконечные истребления целых психических миров, массовые грабежи и разбои, грандиозные хищения, властные поджоги и истребления имущества, властные насилия и прочия надругательства! На которую же сторону склоняются весы вашей этики?»

Совершенно очевидно, что в «блатной музыке» отражается мировоззрение ее носителей, которое отрицает все, что считается порядочным в так называемом приличном обществе. Но, увы, воровской жаргон — это отнюдь не кривое зеркало, каковым принято его считать. Именно это заставляет порядочных так яростно клеймить арго и его носителей, ибо уж больно неприглядной оказывается жизнь «с изнанки». «Блатная музыка», а точнее, идеалы, отраженные в ней, обнажают всю степень нашего коллективного падения, доводя ее до абсурда и не желая замечать, что «даже в области балета мы впереди планеты всей». Она выводит на поверхность кичевый маразм нашего бытия, скрытый за духовностью литературного языка; разрушает стереотип наших представлений о человеке, нарушает правила игры в порядочность и добродетель. А мы, подобно страусам, закапываем голову в литературный язык, чтобы не видеть того, что видеть не хочется.

Представляется, что «блатная музыка» имеет много общего с народной эстетикой смеха, с древней смеховой культурой, где функция смеха, по словам Д. С. Лихачева, обнажать, обнаруживать правду, снимать с реальности покровы этикета, церемониальности, искусственного неравенства и т. п. — всей сложной знаковой системы данного общества.<sup>5</sup> В «блатной музыке» представлен современный «антимир» (по Д. С. Лихачеву) или «изнаночный» (по М. М. Бахтину) мир нашего бытия. Носитель арго, как и герой средневекового смехового мира,

богоулен, безроден, бесстыден, неприличен, ибо выступает против всего, что считается святым, благочестивым, почетным.

Средневековый смех делит мир, создает бесчисленные пары, дублирует его, механизуя и оглупляя: кабак изображается как церковь, монастырь — как кабак, воровство — как церковная служба.

Подобное дублирование мира, приводящее к ложности, фальшивости, абсурду, находим в арго. В воровском языке начала века дублируется идея брака и суда: **венчаться** «судиться», **шафер** «присяжный заседатель», **дьячок** «судебный пристав», **митрополит** «председательствующий». В современном арго — религия и воровская жизнь: **носить крест** «принадлежать к преступному миру»; **библия** «игральные карты»; **молитва** «правила, лекция, доклад»; **крест** «освобождение от работ в лагере»; искусство и реалии блатного мира: **балерина** «отмычка»; **композитор** «чифир»; **мелодия** «отдел внутренних дел»; **артист** «мошенник высокой квалификации»; **гравер** «фальшивомонетчик».

Вероятно, употребление слов **Дворец бракосочетания** в значении «туалет, где встречаются гомосексуалисты» заставит содрогнуться целомудренного читателя. Однако не отражает ли это падение величия христианского брака, утерю лучших традиций и превращение некогда священного обряда в трагикомедию с эпиграфом: «Брачующиеся, сойдите с ковра!»?

А когда блатные любое собрание называют «брехаловкой», не приходят ли на ум каждому из нас нескончаемые съезды, митинги, речи, которые сложно назвать иначе?

Конечно, подобное выворачивание не только и не столько анархический протест, сколько попытка блатных оправдать свое существование. И если народная эстетика смеха позволяет посмотреть на себя со стороны тем, кто считал себя порядочным, то в «блатной музыке» это больше голое отрицание и неприкрытый цинизм. Однако несомненно одно: слова блатных не расходятся с их делами, чему не мешает поучиться многим из нас.

Так посмотрите на честного и начестного со стороны! Вот нечестный — блатной воруа, который самым примитивным языком своим говорит: «Я вор, потому и ворую». И, заметьте, ворует, а не милосердствует. А вот честный — депутат, который кричит о милосердии, цитируя Сервантеса, а в свободное от милосердия время тащит домой заморское подавание для блокадников и сирот. И, заметьте, не милосердствует, а ворует, но никто не называет это воровством.

Так что не стоит обвинять воровской жаргон в простоте, ибо не так уж он прост. Кстати, и гениальное часто бывает простым. А посему вслед за классиком воскликнем: «Вникните, сообразите, а потом выносите приговор!»

Светлана ШЛЯХОВА

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Лихачев Д. С. Арготические слова профессиональной речи // Развитие грамматики и лексики современного рус. яз. М., 1964, с.312.

<sup>2</sup> Виноградов Н. И. Условный язык заключенных соловецких лагерей особого назначения // Соловецк. Общество краеведения. Материалы, вып. XVII.

<sup>3</sup> Грачев М. А. Русское дореволюционное арго. 1861—1917, АКФ, Горький, 1986.

<sup>4</sup> Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.

<sup>5</sup> Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.

В № 9 вашего журнала (за 1990 г.) напечатана статья Ю. Абызова и Р. Тименчика «История одной мистификации», рассказывающая о новых фактах и лицах из литературного прошлого.

Читая, я невольно обратила внимание на такие слова: «... А. М. Перфильев писал фельетоны, юмористические стишки, подтекстовки к музыкальным сочинениям (так, на самом деле ему, а не О. Строку принадлежит все тексты танго последнего, включая знаменитое «О, эти черные глаза»: Строк просто покупал у него авторство)...».

Хотелось бы знать, чем подтверждается эта подробность (и подтверждается ли)? Как-то подспудно не хочется, чтобы такой прекрасный мелодист, многие вещи которого любимы и известны по сей час, оказался мелким мошенником, но что мы о нем знаем? Неплохо было бы прочесть об О. Строке — подробнее — в «Даугаве», ведь он принадлежит вашей (да и нашей) культуре.

С уважением

Вайнер Л. А., г. Харьков

## ЧЬИ ЖЕ СЛОВА?

Долгие годы, пока Александр Вертинский пел в эмиграции, на всех его пластинках и нотах можно было увидеть: «Бразильский крейсер» — слова А. Вертинского, «У высокого берега» — слова А. Вертинского, «Чужие города» — слова А. Вертинского. И только когда пластинки с песнями Вертинского принялась выпускать наша фирма «Мелодия», пришлось вспомнить об авторском праве. Оказалось, что «Бразильский крейсер» написал Игорь Северянин, «У высокого берега» — Александр Блок, а «Чужие города» — Раиса Блох.

Мир песенной эстрады сродни Дикому Западу, а уж песенной эстрады эмигрантской и вовсе не знал никакого закона.

Принесла случайная молва  
Милые, ненужные слова... —

это из «Чужих городов».

Так что же принесла «случайная молва», о чем она пыталась уверить в беседе Т. Турчиной с Константином Сокольским, напечатанной в газете «Советская молодежь» от 8. 3. 90?

Темой беседы был «король танго» Оскар Строк. Надо ли говорить, что любой рассказ очевидца-старожила всегда воспринимается нами с благодарностью: вот еще горсточка фактов и деталей, которые уже не исчезнут, а будут кем-то и когда-то использованы для воспроизведения эпохи.

Хотя, как известно, истину поверяют здоровым сомнением, от чего — если она действительно истина — она ничуть не страдает.

Что ж, попробуем усомниться и поделиться своими сомнениями.

К. Сокольский рассказывает:

«Как он сочинял? Он бегал пальцами по клавишам, и рождались какие-то фрагменты мелодии... Потом приходили слова. Строк был тогда чуть ли не единственным композитором, сочинявшим и тексты к своим мелодиям. Я как-то спросил: «А почему ты сам пишешь слова к своим танго? Ведь можно взять готовые понравившиеся стихи и написать к ним музыку? Так делают все». Он пришурисал на меня и сказал: «Ты, конечно, прав, но я не хочу, чтобы моя музыка просто иллюстрировала чужую мысль. Мне нужно, чтобы слова и музыка исходили из одного источника, чтобы одно влияло на другое».

Был ли такой разговор? Сочинял ли О. Строк слова? Первое просто сомнительно, а второе — абсолютно не соответствует действительности.

Наблюдение за современной и прежней практикой рождения песенных текстов приводит только к одному выводу: поэты могут рождать хотя бы незамысловатую мелодию на свои стихи (А. Галич, Б. Окуджава, Н. Матвеева, Ю. Ким, В. Высоцкий), а вот профессиональные авторы мелодий еще ни разу не сочинили ни одного приличного текста.

Практика эстрадных композиторов показывает, что в подавляющем большинстве случаев сначала рождается мелодия, к которой композитор просит поэта написать текст, предлагая в качестве исходного материала так наз. «рыбу», то есть набор слов, отчетливо ритмизованных и фразово выпуклых. По этой «рыбе» поэт-песенник и «делает текст», руководствуясь наказом сделать «раздумчивее» или «умственнее».

Наивно полагать, что можно взять любой поэтический текст и написать по нему танго, в котором диктат принадлежит мелодии.

Тексты всех танго О. Строка никак не дают оснований считать, что в первооснове их лежала какая-то самобытно-оригинальная «мысль», как утверждает К. Сокольский: мысль, требующая непременно именно такого вот музыкального выражения.

Лучше не надо говорить о мысли. Достаточно, если будет хотя бы чувство.

Насколько бывают глухи и нечутки к слову эстрадные певцы, аранжировщики и кустарные издатели шлягеров, говорить не приходится.

Сейчас уже мало кто помнит популярную в 20-х годах песенку «Бублички», завезенную из Советской России и в Ригу, где ее лихо исполнял «Савой-бэнд» в прославленной «Альгамбре». Воспринята она была со слуха и вот так напечатана в издании К. Рейнгольда:

... Не плачай Феничка  
Сказал мне Сеничка  
Пожди маленечка  
Мы в ЗАГС пойдем.  
И жду я с мукою  
Тоской и скукою  
По переулочкам  
Пока ж брожу...

Год у хозяина  
Проклятье Каина  
Потом на улице  
Меня прогнал  
Кормилась дряню  
Считалась нянею  
У одиночки ж я  
Да кустаря...

Ни рифмы, ни грамматики, ни пунктуации, ни элементарной грамотности... И никто на это не обращал внимания. Достаточно, что бойкая мелодия и хорошо танцуется.

Могут сказать, что это единичный случай. Да нет, это печаталось и перепечатывалось. Вот окончание тех же «Бубличков» в песеннике «Золотые песни» (изд. «Ориент», 1930):

... Кормилась дряню,  
Считалась нянею  
Во одиночке я  
До кустаря...

Как говорится, «маразм крепчал» — бессмыслица достигает предела.

Но вернемся к О. Строку. Мало кто знает, что Строк в 20-е годы, когда в Риге царил издательский бум, основал свое издательство и выпускал сразу несколько журналов. Казалось бы, по этой печатной продукции мы могли бы прикоснуться к слову Оскара Строка, написанному его собственной рукой. Но увы, ни одного слова за его подписью не существует, поскольку композитор был человек коммерческий, но не литературный. Все издания, вышедшие под маркой его издательства, были перепечатками старых книг. А журналы — безгонорарные! — представляли собою коллаж с использованием выдирок из разных популярно-иллюстрированных изданий. Причем делалось это чужими руками. Весь этот материал подбирали и монтировали В. Гадалин и А. Перфильев (запомним это имя!). Оскар Строк просто не владел искусством слова. Ему важен был не смысл слов, а чтобы они артикулировались, чтобы их можно было песенно исторгнуть.

Как иллюстрацию отношения к песенному слову в его печатном фиксировании можно взять сборник «О. Строк. Наши песни» (Рига, изд. «Логос», 1938).

Вынесение имени над названием сборника как бы дает понять, что если не все, то во всяком случае большинство этих избранных «песен, романсов, танго и фокстротов» является сочинением О. Строка. Хотя . . . «Вечерний звон», «Выхожу один я на дорогу», «Вниз по матушке по Волге . . .» Нет, на этом Строк не настаивает . . . «Ах, да, это правда, это точно Загоскина; а есть еще другой «Юрий Милославский», так тот уж мой».

Но чей бы текст ни был, отношение к нему самое неряшливое и беззаботное . . .

По берегу синего моря  
(Должно бы быть: «Вчера я с тобою гулял»)   
С тобой мы вчера гуляли.  
(Должно быть: «И сердце, ах, бедное сердце»)   
Сердца, ах, бедное сердце,  
(Должно быть: «Гуляя с тобой, потерял»)   
Гуляя, я с тобой потерял . . .

Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Ведь улыбка — это свет корабля.  
Капитан, капитан — покоритесь . . .

Из-за острова на стержень . . .

Лучше всех был раджа из Кашмира  
Что прислал золотых паразитов  
(Должно быть «парадизов»!)

Можно ли при таком отношении к песенному слову считать, что человек, объявляющий себя автором, действительно способен создавать тексты? Вряд ли.

Впрочем, все это лишь соображения, косвенные доказательства. Между тем имеется свидетельство, раз и навсегда перечеркивающее «авторство» О. Строка.

Писательница Ирина Сабурова, жившая в 20—30-х годах в Риге и в конце войны эмигрировавшая в Германию, выпустила там книгу стихов своего бывшего мужа поэта Александра Перфильева (Мюнхен, 1976), в предисловии к которой пишет:

«Помимо газетно-журнальной работы А. Перфильев был всегда тесно связан с нотными издательствами и артистами малой сцены, которых было тогда немало в Риге. Он писал тексты для нескольких реву, скетчей, всевозможных музыкальных номеров и бесчисленное множество русских текстов для наиболее популярных фокстротов, танго и т. п., исполнявшихся или выходивших в нотных издательствах, — как иностранных, так и местных композиторов, из которых крупнейшим (из местных) был Оскар Строк.

Русский текст всех нот, вышедших в издательстве Оскара Строка в Риге, написан Ал. Мих. Перфильевым (несмотря на то, что на них значится: «Слова и музыка Оскара Строка»), в том числе пользовавшееся почему-то невероятной популярностью «О, эти черные глаза». А. Перфильев считал это занятие «халтурой», исключительно ради заработка (очень небольшого, кстати), и поэтому упоминает его как автора текстов — ниже своего достоинства.

Думается, что после такого свидетельства вопрос об «авторстве» можно окончательно снять с обсуждения. Что отнюдь не означает умаления Оскара Строка как «короля танго». Я лично человек, тяготеющий к «ретро», люблю эти мелодии, порожденные талантом, но никак не связываю их с тем, что Строку не принадлежит (хотя и было куплено).

Кесарю кесарево, а слесарю — слесарево.

**Юрий АБЫЗОВ**

Уважаемая редакция!

В газете «Либавское русское слово» (1924, 3 февраля) мне попался фельетон Л. Аркадского «На почте». Обычно считают, что жизнь фельетона коротка. Позвольте с этим не согласиться.

С уважением А. Пиккерина, стажер, г. Новороссийск.

## НА ПОЧТЕ

— Примите письмо.

— Заказное? В Ленинбург? Нельзя.

— Почему нельзя?

— Не дойдет.

— Как так — не дойдет?

— Очень просто. Сегодня там Ленинбург, завтра Троцкиград, послезавтра Зиновьевка, что же, письмо по всей России будет бегать разыскивать что ли . . .

— Что же мне делать?

— Пошлите телеграмму через Стеклово.

— Виноват, это что же такое, на юге где-нибудь?

— Бывшая Москва, Радековской губернии, Либкнехтовского уезда.

— А телеграмма дойдет?

— А кто же ее знает. Посмотрите только в газетах, как теперь называется Россия, и пишите адрес.

— Кажется, СССР, если не ошибаюсь . . .

— У вас сведения на первую половину января, а сегодня 2 февраля . . . Я и сам теперь забыл, как она теперь называется — не то Великое Княжество Комминтернское, не то Компартияндия, знаю только, что смешно, а как — не помню . . .

— А может, совсем название отменено? Так, какой-нибудь партийный псевдоним у страны?

— Может, и так — не интересовался.

— Послушайте, может так можно адресок составить: «Бывшая Россия, бывший Петербург, бывш. Невский проспект, быв. дом N 7, быв. профессору Семену Кукляеву». А?

— А сверху приписочку: быв. заказное.

— Так можно?

— Давайте. Мое дело маленькое — принять могу, а уж дойдет или нет — не ручаюсь: трудное это дело, господин. Вот еще вчера на Украину два письма принял — в Махновку и Петлюркино, а какое из них — Одесса, а какое — Киев, и сам до сих пор не могу разобраться.

**Л. Аркадский**

---

**Примечание редакции.** Газета издавалась в г. Либаве (нынче Лиепая) в 1919—1934 гг., значительную часть ее материалов составляли перепечатки. Л. Аркадский — псевдоним А.С. Бухова.

# ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА

Цветочные магазины — специализир. магазины по реализации цветов.

Энциклопедия «Рига»\*

Энциклопедия «Рига» — книга серьезная, почти кожаная. Это что-то такое вроде: «не было ни гроша, да вдруг алтын»: за последние пятьдесят лет это почти первая — из нехудожественных — книга о Риге на русском языке. Да, было несколько изданий об архитектуре города (напр. Ю.М. Васильева в 1971; «Стиль модерн в архитектуре Риги» Я. Крастыньша в 1988), несколько крайние условных планов города, две-три книжки для туристов, какое-то число справочников с адресами предприятий различного общественного назначения, несколько сборников «Слово в нашей речи» и вот и все — за все пятьдесят лет советской власти, которой энциклопедия «Рига», собственно, и посвящена.

«Посвящена» вообще-то выглядит здесь слишком слабо — говорить, пожалуй, следует о реализации оной власти в отдельно взятой книге: ведь если всерьез, то подобный энциклопедический проект является невероятной лакомым куском для его участников — это какой-то сверхжанр, позволяющий безо всяких условностей и беллетристики по-своему распорядиться целым городом — в данном случае. Не в идеологии даже дело: выбрать слова, вещи, события, факты, которые следует растолковать, людей, о которых надо сказать, добавить свое отношение к общеизвестному — это ведь почти что устроить рай в родном городе, увы, в одиночку не осуществимый. Подобные проекты реально изменяют окружающую среду — и энциклопедия «Рига», конечно, из их числа: удачно для нас, она изменила ее очень интересно — сняла с города пласт очень липкой ерунды; значение книжки не столько этнографически-городоведческое, сколько именно идеологическое: она расширила до границ города рай красного уголка, которого, благодаря ей, теперь уже точно не будет. Своевременность этой книги удивительна: она возникла ровно в момент окончания эпохи, в ней отразившейся: точно сил этой эпохи достало именно на то, чтобы родить эту книгу и умереть.

О чем весь этот предыдущий абзац? О том, что некоторые ритуально-символические действия на деле оказываются единственной реальностью, которую способна породить некая идеологическая система — этот ритуал практикующая. Учитывая, впрочем, что и фанерным мечом можно тоже очень даже неплохо треснуть по шее. Вышедшая в 89 году книга суть памятник непрекрасной эпохе и содержит в себе город Ригу, каким его эта эпоха очень хотела видеть.

Мероприятие было довольно безнадежное: город у нас с характером, и сколько его мысленно и явно ни преобразуй в Комсомольск-на-Даугаве с жилыми массивами, промзонами и этнографическими — на пользу юношеству — уголками (как жили наши предки при проклятом феодализме), толка не будет. Зато самим попыткам присуща какая-то мультипликационная атмосфера про Незнайку в Солнечном городе: это книга, которая описывает процесс согласованной жизнедеятельности винтиков-шпунтиков: уютный такой городочек, где все ко всеобщему благу, и картинки разные красивые, в общем — ордена Ленина город Образцового Бытового Обслуживания Населения.

\* Энциклопедия «Рига» / Гл. ред. П.П.Еран.— Рига: Главная редакция энциклопедий, 1989.—880 с., ил.— Тираж 60 000 экз.

Методика превращения сведений о хорошем городе в бумажный монумент очень проста: хорошо красить мрамор масляной краской — и гигиенично, и глаз радует, и чувство личного участия в судьбах города место имеет. Потому что многие разделы энциклопедии составлены серьезными людьми и хорошими редакциями — хотя бы описания улиц города, исторических реалий. И, на самом деле, внутри этой объемистой (примерно 1,47 литра) книги содержится несколько книжек очень хороших: о тех же улицах, например, а если бы к сведениям обо всех улицах добавить еще и описания некоторых отдельных зданий, и подробный план города, а еще и репринты старых городских планов — что за чудесная книжка бы получилась.

Красить мрамор, в общем-то, нетрудно, также красиво под масло и дубовую резьбу — там такие щелочки, и краска туда сама затечет, и все станет окончательно красиво. Уж и не говоря о том, как здорово красить зеленым маслом чугунное литье. Или составить энциклопедию «Рига», в которой можно прочитать, что «гроб с забальзамированным телом В.И.Ленина помещен в Мавзолей на Красной площади Москвы у Кремлевской стены», что цветочные магазины реализуют цветы, что «Дни искусства — традиционный праздник с широким комплексом культурных мероприятий» и «являются одной из наиболее ярких и значит. форм пропаганды иск-ва», что «на доски почета районов Риги помещают фотографии победителей соцсоревнования», что в репертуаре ансамбля «Угунтыня» «Русский танец», «Молдавский танец», «Руцавиетис», «Возочек», «Наденем яркий золотой пояс», танцы совр. тематики «Школьный вальс», «Пионерский танец», а «Великая Октябрьская социалистическая революция — первая победившая соц.революция в истории человечества».

С эпохой, действительно, вышло как-то странно: чем более она приближалась к своему окончанию, тем более энциклопедий и энциклопедических словарей стало вдруг выпускать государство — от вполне оправданных, казалось бы, нормальных, профессиональных (впрочем, рецензент лишь дважды раскрывал литературоведческий словарь — тут же закрывая) до каких-то не то чтобы загадочных, но все-таки загадочных: революционных деятелей, гражданской войны и т. п. — эпоха, то есть, к своему концу наконец-то образумилась, определив свои настоящие смысл и назначение, — эх, занималась бы она этим почти платоническим вымышлением жизни с самого начала: ведь лучшей в энциклопедической серии оказалась энциклопедия «Мифы народов мира», а все остальное можно рассматривать как факультативные приложения к этому блистательному труду.\*

До мифов приложения, конечно же, недотягивали. Тем более от них далека энциклопедия «Рига» — то ли сам город против этого сильно возразил, то ли сил у редколлегии не хватило, или метод все-таки не сработал, и получилось всего-то небольшое провинциальное благополучие: завод по производству того-то выпускает то-то, причем награжден таким-то орденом. Это хорошо, завод по выпуску того-то это-то и выпускает, сходитя, ура! Но это ни на какой, на небольшой даже Город Солнца не тянет, а просто толстое послание в традиционном жанре «Отчет о проделанной работе» — что особенно видно по тем же производственным достижениям, интонация рассказа о которых естественно распространяется и на события, казалось бы, располагающиеся вне пределов досягаемости составителей, а вот нет — и Альберт весь этот город устраивал только ради того, чтобы именем Кирова были названы парк и улица.

Вся эта досада — не за город: подобное издание он переживет. Досадно за многих участников проекта — они честно и хорошо сделали свое дело и не заслужили ни малейшего упрека за участие в этом каком-то советском футболе, где главным критерием игры является количество тактико-технических действий, выполненных игроком. Что и говорить, работа проведена изрядная, только все

\* Многих нужных сведений в этом сонме энциклопедий не найти — не включены по идеологическим соображениям; а потому — не издать ли наконец Антисоветскую энциклопедию! — Прим. ред.

равно непонятно, почему человеку важно знать, что трест прачечных включа в себя именно столько-то прачечных? Ну ладно, были бы указаны их адрес и расписание работы, так ведь нет, зато — «объем реализованных бытовых услуг в 1987 году — 6,9 миллиона рублей».

Вот такая арифметика: десять процентов тупой информации и девяносто нормальной дадут в сумме то, что надо любителям этих десяти процентов. И, разумеется, для подобных мероприятий жанр энциклопедии приспособлен максимально: вот даже странно, почему его не эксплуатировали раньше — зачем тогда бы весь соцреализм с мучительными усилиями по части светлого будущего, когда смешался с явью в указанной пропорции — и все в порядке. Каждый год — очередная, обновленная громада, и ничего кроме. Впрочем, это ведь уже Оруэлл — кажется, его советам следовать сообразили только в самом конце. Всегда у нас было неблагополучно с перениманием западного опыта. Полная победа дураков невозможна потому, что они дураки. Так природа спасает себя.

Цветочные магазины все реализуют и не могут реализовать свои цветы; ансамбль «Угунтыня» навеки танцует «Пионерский танец»; шествует головой под облака завод «Саркана звайгзне» с орденом Почета на лацкане: в этой люминесцентной вечности и живут те, кому адресуются подобные послания: Ленин — в Мавзолею на Красной площади, завод по изготовлению сенокосилок изготавливает сенокосилки, писатель такой-то является тем-то и отразил то-то, за что в таком-то году был возвышен Государственной премией. Если это и не мифология, то уж эпос во всяком случае: на плане местности, впоследствии занятой городом, за 10 тысяч лет до нашей эры уже обозначены городские районы — «Территория Риги во время Иольдиевского моря», вот как это называется.

Это все их проблемы — у монументов свои, возможно — общие воззрения на жизнь, и пусть они себе переговариваются своими высокими голосами, а так, вообще-то, трудно понять, зачем они нужны: зачем нужна, например, энциклопедия «Рига»? То есть вопрос уже не риторический, а конкретный, бытовой: зачем, с какой, то есть, она целью? Не справочник, не краткий курс истории города (кстати, когда-то обещанный однотомник по истории Риги на русском — перевод вышедшего лет десять назад трехтомника на латышском — так и не появился). Не сборник социологических материалов — социологии здесь и близко нет. Даже не приблизительная культурология — слишком много пробелов. Странно, как не быть цельным труду, включающему в себя нечто связанное с отдельно взятым городом. Тем более — придуманным.

Ну вот, теперь этот придуманный город с орденом Ленина на лацкане своего строгого пиджака уходит куда-то насовсем, и что его заменит? Вот почти такой же здоровенный, только не в орденосном пиджаке, а в народной рубашончке с громадной «приветке», скучным рефератам предпочитающий застольные песенки? Это, конечно, куда милее, а только все равно он в кровном родстве с отошедшим в никуда организмом.

Времена не повторяются, даже новые названия улиц, которые не новые, а восстановленные — все равно новые: между ними серьезная разница — была, скажем себе, раньше Тербатас — ну Тербатас и ладно, Дерптская, в ту сторону, в общем, направлялась и всего-то, а теперь — быв. Стучки и чуть ли не примета Третьего Возрождения. И вот еще странно: не восстанавливаются в обиходе русские эквиваленты: Стабу, Матиса, Гертрудес есть, но нет пока еще Столбовой, Матвеевской и даже Гертрудинской. Впрочем, это немножко другая история — исчезла же в шестидесятые Мельничная, хотя Дзирнаву и помиловали.

Если же вести разговор об энциклопедии отвлеченно-критический, с педантическим учетом достоинств и недостатков, то вот: что касается русской Риги — не только бедны и сомнительны персоналии, но крайне мало о русской культуре вообще; понятно: откуда все это могло появиться в книге, которая просто

перевод латышского варианта. И это — отсутствие русской Риги — основное достоинство энциклопедии: мне, например, не очень-то весело было бы прочесть что-нибудь вроде: Николаева Ольга — русская советская поэтесса, в стихах которой отражается и выявляется, и что-нибудь про переводы с латышского и т.п. с точки зрения укрепления дружбы между народами. Впрочем, в любом случае Николаева была от этого ограждена надежно, поскольку живет в Елгаве, да еще и никакой и ничего не лауреат, а только поэт. Это почти полное отсутствие русской Риги очень приятно, рецензент, кажется, только теперь окончательно понял давний мультфильм — отчего разные звери так неодобрительно отнеслись к тому, что козленочек всех их сосчитал.

Если человек не покупает книгу, то эта книга не про него. Дело житейское. Просто и в этом случае (а энциклопедия пока надежно обосновалась на прилавках): вот город, вот книга о городе, в котором живет человек, который эту книгу не читает. Если не набирается во всем городе и 60 тысяч эту книгу читающих, то получается, что книга — не об этом городе. Что, на самом деле, результат очень даже не слабый: надо же суметь сделать из Риги такое, чтобы это оказалось неинтересным горожанам, которые вряд ли так уж к своему городу равнодушны, тем более — учитывая тот почти этнографический факт, что здешние русские уже и порода несколько особая.

Конечно, все это никакие не недоразумения и не случайная неудача: из города вполне сознательно сделали то, что хотели: безобидными подобными мероприятиями не бывают, небезобидность, впрочем, более проявляется в упоминаниях, нежели в упоминаниях корявых. Вот, например: «Заля варна» («Зеленая ворона») — лит.-худож. журнал. Выходил в Риге в 1929 и в апр. 1931. Изд. — об-во художников «Заля варна». Чл. редколлегии в 1929 были писатель А. Чакс, худ. К. Балтгайлис . . . Бурж. издание». Можно усмехнуться по поводу торжественности вердикта, но на этом фоне кого уж удивит отсутствие в энциклопедии архиепископа Иоанна Поммера, например.

Описания у Риги не было давно, а совсем всерьез — не было никогда; но существует, по крайней мере, какое-то ощущение города довоенного: энциклопедия «Рига», несмотря на изрядный труд по нивелировке города в некое абстрактное жилищно-производственное поселение, ничего с этим ощущением не поделала. Впрочем, и не могла, поскольку написана в правилах, по которым напечатанное обязано быть отчужденным от человека — в конечном счете, ради идеологической стерильности; при подобных играх неотчужденная от читателя литература может существовать только в списках. Впрочем, не совсем так: чуть ли не первым шагом в преодолении этой отчужденности оказалось (лет десять назад) рекламное приложение к вечерней газете «Ригас Балсс» — не с брачными объявлениями даже, но об обычной купле-продаже: по сути дела, в первый раз на страницах государственной печати появились конкретные частные лица, которые конкретно хотели чего-то конкретного, при этом — в частном порядке.

То есть произошла незаметная, но основательная контрреволюция: напечатанное снова оказывается имеющим отношение к человеку, а не к гражданину. Книги начинают возвращать себе конкретный — бытовой хотя бы — смысл, советуют читателю, потакают ему, навязываются даже. Ничего страшного, бульварный роман все равно лучше школьных прописей для взрослых.

В этой длительной отделенности человека от того, что он читает (в частности), кроме скуки образовалось еще вот что: для многих ведь существует только то, о чем можно поговорить с другими. Не в смысле табу или опасаясь репрессий, а просто потому, что существуют темы для разговора. То, о чем принято говорить, становится тем, из чего состоит жизнь. Остальное остается незначительным, незначимым, незамеченным, несуществующим. А тем было довольно мало, канонические: дом, семья, работа, какая-нибудь смутная культура. И внутри каждой из этих основных тем еще какое-то количество своих — соответствующих, в принципе, возможным жизненным обстоятельствам. Такая голая экзистен-

ция — темы вечные и бытовые, а плоха эта бытовая экзистенция именно тем, что кроме нее ничего и нет. С утра и до утра сплошная экзистенция. Государству это удобно, так проще. И чем проще, тем удобнее — тщетоно, разумеется, пытаться отыскать в этой энциклопедии описания каких-нибудь знаменитых рижских кафе, вроде того же кафе Шварца, Птичьего садика, Пушки, Козы, рестораника в Верманском парке и их завсегдатаев. Требовать от подобной книги этого явно абсурдно, то есть вот именно — абсурдно. Впереди еще довольно долгий период оттаивания из общего льда, размораживания — пока горожанин поймет, что тут именно ему интересно и чем именно для него является этот город — слишком мудрый, чтобы жить в нем, не понимая, что он такое.

Но Рига остается без описания и продолжает оставаться непонятно чем — вот и очередная идеология с ней ничего не поделала. Не следует, однако, так уж рассчитывать, что от идеологии свободной окажется следующая попытка. Потому что отчужденное, объективизированное описание его невозможно: это будет обрезка города до границ знания очередных начальников города о его прошлом: сравним ситуацию, например, не то что с Москвой, а даже с Петербургом — каждый период жизни этих городов зафиксирован, благодаря этому и образовалось то, что является этими городами. У нас не так: что такое шведская Рига? польская? ганзейская? вольный город? немецкая? российская? Этих описаний не будет уже никогда, но вся предыдущая история в городе, конечно же, содержится — куда ей было деться?

Извлечь эту историю возможно лишь обращая внимание на то, какие манеры жизни она вызывает: не общераспространенные, что прекрасно испытывает на себе любой русский рижанин в России. Не сводя, разумеется, все дело к вполне приевшемуся сюсюканью над всей этой фонарно-соборной романтикой старой части или его нынешней столичности — куда денешь, наконец, тот двухсотлетний период, во время которого город и стал тем, что он есть.

Но это очень просто: не надо писать, что до такого-то года Ригу обслуживали двухосные трамваи, а с такого-то — четырехосные, а — куда ездили, зачем, как выглядели, какие были сиденья, что за остановки, часто ли ходили. Где было принято гулять по выходным? Что там делали? А летом? А зимой? Сколько стоил билет до Парижа на поезде и до Гамбурга на пароходe, и в самом деле — куда они ездили на трамвае, чего там хотели и как выглядели и прыгивали ли на ходу? А также не из такой далекой истории — когда заасфальтировали центральные улицы, где располагались в Риге стоянки людей с тачками и агрегатов для распилики дров. Про то, как надо было попадать домой после одиннадцати часов, как выглядело кафе «У Айвазовского» или строение под именем «Ибрагим». Какие цветные стеклышки возле номера соответствовали какому маршруту трамвая. Про всяких рижских бродяжек, вроде того, который в пятидесятые любил спать на постаменте памятника Барклаю де Толли. Вообще, о разных рижских умниках, мистиках или хотя бы пройдохах. Про всякую ерунду, вроде тех латунных автоматов в Центральном универмаге, которые за пятнадцать (старых) копеек облагораживали клиента одеколонным облаком. Что такое танцульки в Межапарке в шестидесятые. Какую музыку слушали в семидесятые и что тогда носили, и какие слухи и истории пересказывали — вроде истории с продавщицей из магазина «Сыры». Про наводнение в семидесятом. Про то, каким был раньше Чиекуркалнс, ныне раскурочиваемый. Не забывая также о текущем моменте: как пахнет в центральных кварталах, как на окраинах — в зависимости от времени года и суток. А также — где по ночам покупают водку и сколько она там стоит. И куда делся парный витраж из подворотни дома на Елизаветинской, рядом с магазином грампластинок. Боже ж ты мой, столько всякого было, есть и происходит, а тут... неловко, право же: цветочные магазины — магазины, которые...

# САМИЗДАТ И КОММЕРЦИЯ\*

Вряд ли имеет смысл повторять, что значение слова и высказывания определяется контекстом его конкретного употребления, что «голый человек в бане не равен голому человеку в общественном собрании» и что «наденьте на статусе Аполлона галстук, и она поразит вас своим неприличием» (Ю. М. Лотман).

Примерно то же самое произошло со славным журналом «Третья модернизация». Буквально у нас на глазах ТРМ рождалась, расцветала и, увы, переродилась. Первые номера вышли в 1987 г. тиражом не более 10 экземпляров; затем вышли двоянный четвертый-пятый номер и строенный седьмой-восьмой-девятый (1988 г., тираж — порядка 60 экземпляров), после этого номер 10 — ротопринтный (1989; вероятно, порядка 1000 экземпляров); наконец настоящий рецензируемый номер, изданный типографским способом, но вышедший без опознавательных данных (из компетентных источников знаем — тираж 25 000 экземпляров).

Удивительное дело — алаяватая обложка с аппликациями из значков, колеек, спичечных коробков и булавок, этикеток, упаковок от лекарств, листы копирки вместо бумаги посередине — как все это органично выглядело в № 7, пожалуй, лучшем выпуске журнала. А какие имена открыла читателю «Модернизация»? Ведь именно в ней впервые были «опубликованы» замечательные поэмы Кибирова «Лесная школа» и «Энтропия...», стихи Льва Рубинштейна — классика современной русской альтернативной поэзии.

За три года, отделяющих появление триумфального 7-8-9-го номера от одиннадцатого, духовный климат в стране сильно изменился. В нынешних условиях функция андерграунда как проводника недозвоненной информации практически отмерла и сменить ее может только другая функция — выражение эстетических, социальных и политических вкусов очень узкой группы людей. В конце 1988 г. 60 экземпляров ТРМ как выражение вкусов двух его редакторов — Владимира Линдермана и Александра Сержанта — выглядели вполне уместно и оригинально. Механическое перенесение той же домашней журналистики на новую социальную почву и по европейским меркам почти на массовый тираж не могло не дать достаточно горьких плодов.

Когда перелистываешь 11-й, появляется ощущение полной растерянности: как получилось, что оригинальный журнал, сумевший из глубины «костзейских губерний» привлечь внимание всего мира, превратился в обыкновенный «авангардический» альманах, которых теперь так много, что самим фактом их появления никого не удивишь.

И как будто авторы в номере известные: Геннадий Айги, Пригов, Бартов, Берг, Нарбикова, Елена Шварц, — а ощущение органичности и свежести совершенно испарилось.

Вероятно, «новую литературу» следует издавать, преследуя две цели: во-первых, ознакомительную, но с этой функцией с грехом пополам справляется «Юность» и блестяще — «Родник», и в этом смысле публикации в ТРМ избыточны: стихи Айги, Пригова, Сухотина, проза Нарбиковой и Бартова уже были представлены в официальных журналах. Другая цель — это публикация печатного органа с направлением, как говорили в старину.

Ни намека на «направление» в рецензируемой книжке журнала мы не видим. Перечисленные «классики» соседствуют здесь с никому не ведомыми прозаиками и стихотворцами (Сергей Карсаев, Егор Радов, Саша Рыжий, Игорь Левшин). Концептуализм (по правде говоря, изрядно уже поднадоевший) — Пригов, Бартов, Кибиров, Сухотин — перемежается с серьезными произведениями Айги, Нарбиковой и Берга; пошловатая полупорнография-проза Г. Кацова — с дневниковыми записями... раннего Витгенштейна; выпрениная постструктуралистская

\* «Третья модернизация» (вып. 11, Рига, 1990).

безответственная и абстрактная премудрость А. Драгомощенко соседствует с вполне конструктивным разбором мандельштамовского стихотворения; московская школа стихотворцев «целуется» с враждующей ленинградской. И так далее и так далее. Представьте себе, что под одной обложкой опубликованы «Манифест Коммунистической партии», «Приключения Тома Сойера», «Майн Кампф», «Вопросы легкой и пищевой промышленности», «Евангелие от Матфея», «Винни-Пух и все-все-все» — и тогда вы поймете, что собой представляет 11-й номер ТРМ.

Впрочем, может быть, установка на эклектизм была осознанной волей редактора. На это указывает прежде всего «поэтика сведений об авторах». Так, об одних сообщается вполне адекватная информация (правда, почему-то намеренно суконным языком полуграмотного бухгалтера), о других говорится совершенная нелепица, третьи, похоже, вообще вымышлены. Мистификации такого рода всегда были в духе «Третьей модернизации», но, повторим: то, что приемлемо в бане, совершенно исключено в общественном собрании. Все эти авангардические ухищрения, весь этот «стёб» выглядит неубедительно, неорганично, жалко и вполне провинциально.

Нельзя начать делать коммерцию и при этом оставаться самиздатом. Либо одно, либо другое. ТРМ выбрала коммерцию. Именно поэтому вначале идут «классики» — Айги и Пригов. На них читатель клюнет. А уж потом заодно прочтет и «порнушку» Кацова и высокопарный бред Драгомощенко и размышления о логике раннего Витгенштейна.

Так и хочется сказать: «Не гонялся бы ты, Сержант, за дешевизной».

Возьмем, к примеру, образцовый самиздатовский «Митин журнал». Число его постоянных подписчиков, а соответственно и тираж и в 1985-м, и в 1990-м — равно 20 экземпляров (4 машинистки по 5 закладок). Зато никакие перестройки, никакие застои и экономические кризисы такому журналу не страшны. Бумаги на 20 экземпляров всегда хватит и четырех машинисток всегда можно найти. Что же касается денег — вспомним любовно сделанный 7-й номер ТРМ, вспомним и покачаем головой. Либо самиздат, либо коммерция. Третьего не дано.

Ну что ж. Допустим, перед нами просто авангардистский альманах, каких много. Что можно сказать конкретно о материалах, помещенных в нем? Очень хочется отделаться дежурной фразой типа: «Что-то лучше, что-то хуже, а что-то ребята, у вас совсем не получилось». Да, Геннадий Айги — поэт с мировым именем. Может быть, именно поэтому он дал сюда наименее совершенные стихи. Пригов? Извините, Дмитрий Александрович, но сколько можно одно и то же: Пригов-Пушкин — «милиционер»... Надоело-с!

Что касается Витгенштейна, то просто волосы дыбом встанут: хочется спросить: «Да откуда вы это взяли, ребята, кто вам дал? Это не игрушка, немедленно положите, откуда взяли». Одинаково оскорбительно и недопустимо и для Пригова и для Витгенштейна скучать под одной обложкой, как (извините за повторение) недопустимо и оскорбительно и для Маркса и для Пушкина было бы опубликовать вместе «Критику Готской программы» и «На холмах Грузии лежит ночная мгла».

Пожалуй, наиболее органичен здесь Кибиров. Для коммерции это выстрел без промаха.

Повесть Нарбиковой запоздала. Странно читать ее в ТРМ тем, кто несколько лет назад читал ее в самиздатовском варианте. (Как странно выглядит, например, «Школа для дураков» в журнале «Октябрь»).

Роман М. Берга «Вечный жид» кажется стилистически несамостоятельным. Очень явно видно вторичность по отношению к Саше Соколову, хотя (в принципе Берг — писатель серьезный) по другим его романам этого не скажешь.

Вот, пожалуй, и все. Грустно жить на этом свете, господа, в период перестройки, гласности и перехода к регулируемому рынку.

Вадим РУДНЕВ

## КУЛЬТУРА И СМЕРТЬ

Проблема смерти — одна из важнейших в культуре. Хотя собственная смерть не является событием в жизни человека (Витгенштейн, 1958), смерть другого — одно из самых необъяснимых и удивительных таинств в жизни того, кто остался жить.

С биологической точки зрения смерть — атрибут высокоорганизованного существа; только инфузории, размножаясь, делятся пополам, не оставляя трупа (Шмальгаузен, 1923).

На протяжении развития культуры письменного периода можно наблюдать два противоположных отношения к феномену смерти. Первое — христианское в широком смысле — глубоко позитивно: вся жизнь человека — подготовка к смерти и следующему затем Высшему Суду. Поэтому с христианской точки зрения смерть может быть доброй и дурной. Добрая смерть — далеко не всегда тихая смерть праведника-христианина в своей постели. Это может быть страшной мучительной смертью за веру, такой, как смерть самого Христа, а после него христианских святых и мучеников. Добрая смерть хороша прежде всего по своим последствиям: праведник и мученик после смерти попадают в Рай и обретают Жизнь Бесконечную.

Дурная смерть страшна также по своим последствиям. Такова смерть средневекового доктора Фауста, своеобразного культурного антагониста Иисуса Христа (Жирмунский, 1972; Руднев, 1988).

Противоположный тип отношения к смерти — атеистический, «естественно-научный». С этой точки зрения вместе со смертью прекращается существование живой материи, и это, конечно, — плохо, хотя и естественно. Поскольку бороться с биологической смертью невозможно, то в атеистическом сознании возникает идея борьбы за культурное бессмертие при жизни. Однако атеизм всегда на глубине подразумевает скрытую и извращенную религиозность (Тойнби, 1989; Руднев, 1986), поэтому смерть советских мучеников (Зоя Космодемьянская, Матросов, Карбышев), смерть «за Родину, за Сталина» — генетически родственна христианской мученической смерти за веру.

Пожалуй, самым интересным в культурной «танатологии» является типология отношений к самоубийству. Здесь существовало три основных доктрины.

Первая, условно говоря, — античная. В ней отношение к самоубийству окрашено позитивно — как к акту добровольного выбора, свободного поступка, доказывающего личную веру того, кто это делает, в несущественность смерти, в бессмертие человеческой души. (Так поступали Сократ, Диоген, Сенека, Катон, вплоть до А. Н. Радищева [Лотман, 1978; Руднев, 1986].)

Вторая концепция — христианская. Она глубоко порицает самоубийство, так как, следуя христианской идеологии, человек не принадлежит себе: его жизнь и его смерть — «в воле Божьей», поэтому человек не волен распоряжаться своей жизнью.

Более спокойно, но тоже негативно относился к самоубийству буддизм, считавший насильственное лишение себя жизни не столько греховным, сколько бессмысленным. Лишив себя жизни, человек не разрывал круга рождений

и смертей (круг сансары): покончив с собой, он рождался вновь в более низком воплощении (аватаре). Чтобы обрести блаженство после смерти (нирвану), человек должен был продолжать жить, отказываясь от губительных, привязывающих к жизни страстей при помощи тек называемого восьмеричного, или среднего, пути (правильных желаний, правильных поступков, правильной речи и т. д.).

Ср. во многом сходную с буддистской модель самоубийства, развиваемую знаменитым мыслителем XIX века, на которого сильно повлияли восточные учения:

«Самоубийца именно потому и перестает жить, что не может перестать хотеть, и воля как раз потому подтверждает себя здесь уничтожением своего явления, что иначе подтверждать себя не может. Но так как страдание, которого человек таким образом избегает, только и могло бы, путем умерщвления воли, привести его к самоотречению и спасению, то в этом отношении самоубийца уподобляется больному, не позволяющему окончить начатой операции, которая одна могла бы радикально исцелить его, и предпочитает остаться при своей болезни.

(...)

Человек, прибегающий к самоубийству, доказывает только то, что он не понимает шутки,— что он, как плохой игрок, не умеет спокойно проигрывать и предпочитает, когда к нему придет плохая карта, бросить игру и в досаде встать из-за стола» (Шопенгауэр, 1892: 13,15).

Третья концепция самоубийства — экзистенциалистская. Хрестоматийный образец экзистенциального самоубийцы в художественной литературе — инженер Кириллов из «Бесов» Достоевского, считавший, что человек боится смерти из-за страха боли и расплаты на Страшном суде. Для Кириллова (и впоследствии для Мерсо — «Постороннего» А. Камю) добровольная смерть, во-первых, является актом свободного выбора (что роднит эту концепцию с античной) и, во-вторых, ставит человека выше всех людей, обожествляет его (что негативно соотносится с христианской моделью).

«Если самоубийство дозволено, то все дозволено» (Витгенштейн, 1990)— эта повседневная запись в раннем дневнике Витгенштейна недаром соотносится с формулой Ивана Карамазова (Достоевского Витгенштейн читал по-русски): «Если Бога нет, то все дозволено». Если можно убить себя, то возможно убить и другого. Большинство главных героев Достоевского делится на убийц (Раскольников, Рогожин, Верховенский, Смердяков) и на самоубийц (Свидригайлов, Кириллов, Ставрогин). При этом потенциальный самоубийца готов стать убийцей, и наоборот (Раскольников, Свидригайлов, Ставрогин, Смердяков).

Начиная с 1830-х годов в русской литературе проблема смерти становится одной из самых актуальных. Ей посвящены все «Маленькие трагедии» Пушкина: Сальери отравляет Моцарта, Альберт в «Скупом рыцаре» доводит до смерти отца, Дон Гуан убивает на дуэли дон Карлоса и сам гибнет от руки Командора; весь «Пир во время чумы» — апология смерти.

Разные литературные направления моделируют смерть по-разному: сентиментальный герой кончает с собой («Вертер», «Бедная Лиза»); романтический герой погибает на дуэли (Ленский, Грушницкий) или на войне (Сильвио, Печорин); «реалистический» герой, как правило, либо сходит с ума (Германн, Поприщин, Чартков), либо умирает от болезни (Базаров). Мотив болезни и — шире — физического и психического состояния героя становится актуальным в связи с физиологизацией литературы в 1830—1850 гг., приближением ее к социально-бытовой проблематике. Отношение к смерти в эту эпоху резко меняется. Во времена Пушкина смерти бояться было не принято. «В России страх смерти придумали Толстой и Тургенев» [слова Ю. Н. Тынянова по записи Л. Я. Гинзбург (Гинзбург, 1989)].

В 1850 г. был открыт второй закон термодинамики, в соответствии с которым все живое с необходимостью обречено на постепенное умирание, образующее

равновероятное соединение со средой (Больцман, 1956; Рейхенбах, 1960; Руднев, 1986). Правда, процесс «секуляризации» смерти был недолгим. Уже в конце XIX в. Н. Ф. Федоров, забыв о втором начале термодинамики и апеллируя к первому (закону сохранения энергии), призывает ко всеобщему воскрешению мертвых путем целенаправленных усилий всех людей. В XX в. с легкой руки Р. Вагнера и Ф. Ницше становится популярным миф о вечном возвращении, в соответствии с которым вслед за смертью следует рождение. Острота и болезненность проблемы смерти, которая так характерна для культуры второй половины XIX в. с присущими ей позитивизмом и эволюционизмом, в XX в. редуцируется, подогреваясь лишь небывалыми массовыми смертями первой и второй мировых войн.

---

Проблема смерти всегда чрезвычайно волновала Льва Толстого. В «Севастопольских рассказах» и в первых томах «Войны и мира» он отдает дань «естественно-научному», физиологическому пониманию смерти. Уже в рассказе «Три смерти» отношение к смерти скорее античное: безобразная смерть барыни противопоставлена нейтральной смерти крестьянина и прекрасной смерти дерева. В «Смерти Ивана Ильича» телесно-физиологическое отношение к смерти в сознании героя после ряда мучений просветляется в возвышенное христианско-буддистское понимание смерти как освобождения. В «Хаджи Мурате» Толстой возвращается к романтическому отрицанию смерти во имя жизни.

Концепция смерти в «Анне Карениной» — ортодоксально-христианская. Анна умирает дурной смертью, посланной ей за грехи (подобно Эмме Бовари у Флобера). Однако не людям, а Богу судить ее («Мне отпущение и Аз воздам»). Физиологическая смерть Анны Карениной — дань мистическим увлечениям конца XIX в. Так, в рассказе Эдгара По «Правда о случившемся с мистером Вольдемаром» человек под действием морфия переносит эксперимент над собственной смертью, в романе У. Коллинза «Лунный камень» эксперимент с опиумом возвращает назад время и этим, наоборот, символически зачеркивает смерть.

---

Публикуемое ниже исследование об «Анне Карениной» русского медика-фармаколога М. М. Николаевой интересно прежде всего тем, что оно возрождает забытую традицию изучения литературы с медицинской точки зрения.

В 1920-е гг. в Ленинграде работал институт эвропатологии, то есть патологии гениальности, оставивший поразительно интересные труды, посвященные физиологии и психологии личности Пушкина, Гоголя, Достоевского, а также тому, как это отразилось в их творчестве. Руководство института просило у правительства помощи для создания социальной опеки над гениальными людьми. Однако в конце 1920-х годов институт был закрыт, а гении — выгнаны в Европу, сосланы на Соловки или расстреляны. Проблема смерти перешла в область идеологии, а исследование литературы под углом зрения медицины было объявлено неподходящим с позиций марксизма.

К счастью, времена меняются и мы меняемся вместе с ними.

#### ЛИТЕРАТУРА

Больцман 1956: Больцман Л. Лекции по теории газов.— М.: Изд-во иностр. лит.  
Витгенштейн 1958: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат,— М.: Изд-во иностр. лит.  
Витгенштейн 1990: Витгенштейн Л. Из «Тетрадеи 1914—1916 гг.»—«Третья модернизация», Рига, № 11.  
Гинзбург 1989: Гинзбург Л. Я. Литература в поис-

ках реальности.— Л.: Сов. писатель.  
Жирмунский 1972: Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте.— В кн.: Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л.: Наука.  
Лотман 1977: Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в.— Учен. зап. Тартуского ун-та, вып.411.

Лотман 1980: Лотман Ю. М. Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий; пособие для учителя.— Л.: Просвещение.  
Рейхенбах 1960: Рейхенбах Г. Направление времени:— М.: Изд-во иностр. лит.  
Руднев 1986: Руднев В. Текст и реальность: Направление времени в культуре.— Wiener Slawistischer Almanach, 17.  
Руднев 1988: Руднев В. Поэтика модальности.— «Родник», Рига, № 5—7.

Тойнби 1989: Тойнби А. Дж. Христианство и марксизм — «Даугава», № 4.  
Шмальгаузен 1923: Шмальгаузен И. И. О смерти и бессмертии.— Пг, 1922.  
Шоленгауэр 1892: Шоленгауэр А. Афоризмы и максимы Мысли/ Пер. Ф. В. Черниговца.— Изд.2,— Т.2.— СПб. Изд. Л. С. Суворина.

М. М. НИКОЛАЕВА

## « А Н Н А К А Р Е Н И Н А » Г Л А З А М И В Р А Ч А - Ф А Р М А К О Л О Г А

При анализе знаменитого романа среди различных факторов, определивших жизнь и гибель Анны Карениной, следует указать на один, который мог повлиять на развитие событий и на который Л. Н. Толстой несомненно хотел обратить внимание читателя.

«Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похожи на фиалки,— говорила она, указывая на обои.— Боже мой, боже мой! Когда это кончится? Дайте мне морфину. Доктор! Дайте же морфину».<sup>1</sup>

Так впервые появляется в романе название болеутоляющего средства, упомянутого Толстым без каких-либо сопровождающих слов. Это первое упоминание входит в роман при описании мучительной послеродовой болезни Анны, когда применение морфина может быть объяснено простым стремлением облегчить физические страдания. Но все жестораживает та простота, с которой Толстой называет лекарство, не прибегая к обычным для литературы XIX века перифразам: успокаивающее, снотворное, обезболивающее и наконец просто: лекарство.

Тут возникает вопрос: была ли Анна знакома с действием морфина до своей болезни? Вопрос этот вполне уместен и законен. Ведь вторая половина XIX

<sup>1</sup> Здесь и в дальнейшем цитируется издание. Л. Н. Толстой. Анна Каренина.— М., 1968. Т. I — II.

---

**Николаева** (Горбунова) Мария Михайловна (1892—1973) родилась в Ростове-на-Дону. В 1917 г. окончила Высшие Бестужевские курсы в Петербурге, в 1925 г.— Ленинградский медицинский институт. Работала в Институте физиологии им. Павлова и в Институте экспериментальной медицины (лаборант, младший, затем старший научный сотрудник, заведующий лабораторией). В 1939 г. защитила докторскую диссертацию «Влияние наркотиков и снотворных на центральную нервную систему». С 1943 г. заведовала кафедрой фармакологии в Московском фармакологическом институте. Незадолго до смерти профессор Николаева начала работу над книгой «Лев Толстой и медицина».

---

века — это некоторая мода на препараты подобного типа, которые тогда были вполне доступны.

Однако по-видимому Толстой хотел лишь указать момент первого знакомства Анны с морфином, так как, кроме болеутоляющего действия, Анна несомненно должна была при этом ощутить и влияние морфина на свою нервную систему и настроение.

Дальнейшее течение романа подтверждает это. Проходит время, Анна поправляется. Физических страданий уже нет, а между тем «тема морфина» не исчезает. «Анна между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени неподвижно, с успокоенным и веселым духом вошла в спальню» (т. II, с. 222).

Из этих строк уже ясно, что Анна принимала морфин вполне сознательно и даже была знакома с началом его действия. Очень скоро Толстой подтверждает это. «И также, как прежде, занятиями днем и морфином по ночам она могла заглушить страшные мысли о том, что будет, если он разлюбит ее» (т. II, с. 249).

В этом, а также в следующем упоминании о морфине чувствуется: Толстой хочет дать понять читателю, что дело не в самом морфине, а в трагичности положения героини. Образованная, тонкая, духовно одаренная — Анна умела не только испытывать специфические ощущения, доставляемые морфином, но и умела анализировать их, сопоставляя их с идущими от жизни коллизиями, от которых она хочет отвлечься и забыться. Далее Толстой вкладывает в уста героини печальные слова: «Я ничего не могу поделать, ничего начинать, ничего изменять. Я сдерживаю себя, жду, придумываю себе забавы — семейство англичанина, писание, чтение, но все это только обман, все это тот же морфин» (т. II, с. 289).

Но морфин есть морфин. И наконец Толстой произносит страшное для героини, понятное для медиков и, может быть, малопонятное для рядового читателя слово: обычный (!).

«Теперь было все равно: ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод — все было ненужно. Нужно было одно — наказать его. Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю склянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто» (т. II, с. 340).

Итак, морфин для Анны становится обычным. Но дело идет далее, и на той же странице при описании того же вечера читаем: «Она вернулась к себе и после второго приема опиума заснула к утру тяжелым неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя» (т. II, с. 340).

Существенно указать, что описанный здесь вид сна как раз характерен для морфина. В соответствующей медицинской литературе читаем, что морфинный сон наступает с трудом (обострение органов чувств). У Толстого находим, что только после второго приема опиума она заснула к утру. Медики знают, что такой сон очень чуток (рефлекторная деятельность повышена). У Толстого — она заснула неполным сном, во все время которого она продолжала себя чувствовать.

У рядового читателя может возникнуть вопрос: Толстой говорит то о морфине, то об опиуме. Однако в «Большой медицинской энциклопедии» в статье «Морфинизм» читаем: «... в широкую группу морфинизма может быть также включено злоупотребление опиумом, поскольку его основным действующим началом является морфин».

Более того, об этой слабости Анны знали окружающие. Вронский запрещал ей принимать морфин и относился к этому неодобрительно. При описании возвращения Вронского с выборов мы узнаем, что в его отсутствие Анна была в повышенном нервном состоянии, и он ожидал вспышек, но «вечер прошел

счастливо и весело при княжне Варваре, которая жаловалась ему, что Анна без него принимала морфин». Ответ Анны: «Я не могла иначе . . . мысли мешали».

Собранные воедино эти семь упоминаний о морфине производят большое впечатление на медика, знакомого с эволюционным механизмом действия этого препарата. Разбросанные же в огромном романе, они незаметны. Они были бы совсем незаметны, если бы Толстой пользовался обычными житейскими понятиями: лекарство, болеутоляющее и т. п. Но Толстой последовательно говорит о морфине.

Создается отчетливое впечатление, что эти семь упоминаний далеко не случайны, и терминологическая последовательность автора является ключом к некоторому дополнительному содержанию романа.

Эволюция героини развивается в четкой схеме, характерной для механизма действия морфина:

- 1) при введении морфина для облегчения физических страданий человек знакомится с его воздействием на психическое состояние;
- 2) лекарство принимается уже для облегчения душевных мук;
- 3) лекарство становится повседневным («обычный прием»), т. е. развивается то, что в медицине носит название пристрастия;
- 4) обычный прием уже недостаточен — даже двойная доза почти не дает эффекта, развивается так называемое привыкание;
- 5) описан характерный для морфина сон;
- 6) развивается эмоционально осложненная коммуникативная неадекватность, особенно с близкими людьми: ревность, подозрительность;
- 7) человек может решиться на внезапные, необдуманные заранее, крайние поступки, часто на неожиданные, не поддающиеся контролю действия.

Итак, что же все это значит? Не является ли это развитие болезни основной целью романа, есть ли он лишь художественная история болезни? Разумеется, нет. Толстой показывает всю степень трагического положения Анны, в том числе и попытку найти успокоение в наркотике, который своим страшным действием в итоге ее губит.

Существенно и другое: хотел ли Толстой обратить внимание читателя на возможное влияние наркотика на настроение и поведение Анны? И, во-вторых, был ли Толстой знаком с действием морфина, с эволюционным механизмом его действия?

Можно было думать, что Толстой познакомился с действием морфина во время пребывания в Москве для повторной операции сломанной и неправильно сросшейся руки. Я просмотрела письма Толстого, но упоминаний о морфине не нашла. Однако — вот очень важная для нас деталь. Описывается настроение Стивы Облонского, когда он шел мириться с женой: «Вместо того, чтобы оскорбиться, отречься, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал: его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», подумал Степан Аркадьевич, который любил физиологию) вдруг улыбнулось привычною, добродушною и поэтому глупою улыбкой» (т. I, с. 4). Знакомство со знаменитым и нашумевшим тогда трудом И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» очевидно.

Таким образом, имеются основания полагать, что Толстой, по всей вероятности, сознательно ввел эти семь упоминаний о морфине, с которых мы начали. И, очень ненавязчиво предлагая читателю мысль о возможном влиянии наркотика на психику Анны, он этим помогает понять конец героини; и что самое поразительное, делает это с точностью медика-профессионала.

Публикация Т. М. Николаевой

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Размышления о том, являются ли те или иные мотивы и детали художественного произведения сознательными проявлениями авторской воли, или же писатель вводит их интуитивно, всегда волнуют читателей и историков литературы. Вероятно, проблема эта неразрешима и даже свидетельства самого пишущего здесь мало что дают.

Каждая эпоха и каждый человек читают художественное произведение по-разному, и в этом смысле одного произведения на всех не существует. «Анна Каренина», которую читала петербургская дама в журнале «Русский вестник» конца 1870 г., не похожа на «Анну Каренину», которую штудировал американец, изучающий русскую литературу в Гарварде. Конечно, «Анну Каренину» в любом случае трудно прочесть как роман о наркоманке. Но сложность и даже парадоксальность толстовского произведения (Б. М. Эйхенбаум писал, что в «Анне Карениной» парадоксальным образом переплетаются адюльтер и рассуждения о сельском хозяйстве) подразумевают возможность и такого прочтения.

Когда Толстой спросили, что является содержанием его романа, он ответил, ставшим хрестоматийным, афоризмом о «сцеплении мыслей». По-видимому, в этом сцеплении есть много и социально-психологической, и бытовой, и религиозной проблематики. Роман писался на рубеже эпох, когда «все переворотилось и никак не уляжется». Перед женой Левина священник спрашивает его, верит ли он в Бога, и тот отвечает: «Не знаю». Читателю непонятно, на чьей стороне Толстой (хотя Толстой утверждал, что он на стороне священника).

Каждое новое прочтение художественного произведения обогащает наше представление о нем, не зачеркивая предыдущих прочтений. Художественное произведение изменяется вместе со временем, обрстая новыми смыслами. Наркомания — одна из специфических проблем XX века. Мог ли Толстой подозревать о ней? Мы не знаем этого. Как не знаем мы ни автора «Слова о полку Игореве», ни времени написания этого текста. Говоря о том, что мы «знаем» о тексте «Слова» гораздо больше, чем его «современники», оба ключевых слова следует поставить в кавычки. Знание о литературе не является тем знанием, которое мы имеем в точных науках. Оно не получается путем эксперимента и не выводится при помощи умозаключения. Тем не менее мы продолжаем читать снова и снова.

**В. Р.**

---

Дмитрий Александрович ЛЕВИЦКИЙ родился в 1907 году. Окончил Рижскую ("Ломоносовскую") гимназию и юридический факультет Латвийского университета.

В 1944 году, как и многие русские юристы, литераторы, профессора, художники (Синайский, Богданов-Бельский, Чиннов, Климов и др.) покинул Ригу. С 1951 г. живет в США, где окончил славянское отделение Пенсильванского университета.

Опубликовал книгу "Аркадий Аверченко: жизненный путь" (1973) и ряд статей на историко-правовые темы в русских зарубежных журналах и сборниках

Данная статья в свое время была напечатана в Нью-Йоркском "Новом Журнале". кн. 141, и воспроизводится нами с любезной о согласия автора.

# ИЗ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДНЕВНИКОВ

## НА КОРКЕ

16 окт. (3). Четв.— Неужели я снизойду до повторения здесь таких слухов: англичане вплотную бомбардируют Кронштадт. Взяли на Кр. Горке форт «Серая Лошадь». Взято Лигово . . .

Но вот почти наверно: взято Красное Село, Гатчина, кр. армейцы продолжают бежать.

В ночь сегодня мобилизуют всех рабочих, заводы (оставшиеся) закрываются. Зиновьев вопит не своим голосом, чтобы «опомнились», не драли, и что «никаких танек нет». Все равно дерут.

Оптимисты наши боятся слово сказать (чтобы не сглазить событий), но не выдерживают, шепчут, задыхаясь: Финляндия взяла Левашево . . . О, вздор, конечно! Т. е. вздор фактический, как данное,— как должное — это истина. И если бы выступила Финляндия . . .

Все равно, душа молчит, претерпела, замозолилась, изверилась, разучилась надеяться. Но надеяться надо, надо, иначе смерть.

Голод полнейший. Рынки расхвачены. Фунта хлеба сегодня не могли достать. Масло, когда еще было,— было 1000–1200 р. фунт.

26 (13) октября, вторник.— Рука не подымалась писать. И теперь не подымается. Заставляю себя.

Вот две недели неопишущего кошмара. Троцкий дал приказ: «гнать» вперед красноармейцев (так и напечатал «гнать»)<sup>1</sup>, а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом центральные. Караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину ассирийское рабство! Уж как эти невольники роют — другое дело. Не думаю, чтобы особенно крепки были правительственные баррикады, дойди дело до уличного боя.

Но в него никто не верил. Не могло до него дойти (ведь если бы освободители могли дойти до улиц Петербурга — на них уже не было бы ни одного коммуниста!).

Три дня, как большевики трубят о своих победах. Из фактов знаем только: белые оставили Царское, Павловск и Колпино. Почему оставили? Почему? Большевики их не прогнали, это мы знаем. Почему они ушли — мы не знаем.

Гатчина и Кр. Село еще заняты. Но если они уже начали уходить . . .

Большевики вывели свой крейсер «Севастополь» на Неву и стреляют с него в Лигово и вообще во все стороны наудачу. В частях города, близких к Неве, около площади Исаакия, например, дома дрожали и стекла лопались от этой умной бомбардировки близкого, но невидимого неприятеля.

<sup>1</sup> Окончание. Начало см. «Даугава», № 1 и 2.

Впрочем, два дня уже нет стрельбы. Под нашими окнами, у входа в Таврический сад,— окоп, на углу, в саду,— пушка.

О том, что мы едим и сколько это стоит — не пишу. Ложь, которая нас окружает . . . тоже не пишу.

Если они не могут взять Петербурга,— не могут,— они бы должны понимать, что, идя бессильно, они убивают невинных.

(Сбоку на полях). И тут эта неделя дифферитного ужаса у Л. К.<sup>3</sup> Нельзя добыть доктора (а ведь она сама — врач),— наконец добыли, все это пешком, нельзя добыть сыворотки . . . Как она пережила эту ночь? Теперь — последствия; начались нарывы в горле . . .

4 ноября (22 окт.) вторник.— Дрожа, пишу при последнем свете мутного дня. Холод в комнатах туманит мысли. В ушах непрерывный шум. Трудно. Хлеб—300 р. фунт. Продавать больше нечего.

Ближайшие надежды всех — рухнули. (Мои, далекие, остались.) Большевики в непрерывном ликовании. Уверяют, что разбили белых совершенно и наступают на весь фронт. Вчера будто бы отобрали и Гатчину. Мы ничего не знаем о боях, но знаем: и Царское, и Гатчина — красные, однако большевики вступают туда лишь через 6—12 часов после очищения их белыми. Белые просто уходят (??).

Как дрожали большевики, что выступит Финляндия! Но она недвижима.

Сумасшествие с баррикадами продолжается. Центр города еще разрывают. Укрепили . . . цирк Чинизелли! На стройку баррикад хватают и гонят всех, без исключения пола и возраста, устраивая облавы в трамваях и на квартирах. Да, этого еще никогда не было: казенные баррикады! И, главное, всё ни к чему.

Эрмитаж и Публичную библиотеку замораживают: топлива нет.

Большевики, испугавшись, потеряли голову в эти дни: кое-что роздали, кое-что увезли — сами не знают, что теперь будут делать.

Уверяют, что и на юге их дела великолепны. Быть может. Все может быть. Ведь мы ничего не знаем абсолютно.

Перевертываю книгу, там тоже есть, в начале, место на переплете, на корке.

(Переверт)

Ноябрь.— Надо кончить эту книжку и спрятать. Куда? Посмотрим. Но хорошо, что она кончается. Кончился какой-то период. Идет новый,— на этот раз действительно последний.

Наступление Юденича (что это было на самом деле, как и почему — мы не знаем) для нас завершилось следующим: буквально «погнанные» вперед красноармейцы покатались за уходящими белыми и даже, раскатившись, заняли Гдов, который не могли занять летом. Армия Юденича совсем куда-то пропала, словно иголка. Что с ней случилось, зачем она вдруг стала уходить от Петербурга (от самого города! Разъезды белых были даже на Забалканском проспекте!), когда большевики из себя вышли от страха, когда их автомобили ночами пыхтели, готовые для бегства (один из них, очень важный, пыхтел и сверкал под окнами моей столовой, у нас во дворе его гараж)— не знаем, не можем понять! Но факт налицо: они ушли.

Говорят, прибалтийцы закрыли границу, и армия Юденича должна была переправляться в Финляндию. Ее особенно трусили большевики. Напрасно. Даже не шевельнулась.

Состояние Петербурга в данную минуту такое катастрофическое, какое, без этого движения Юденича, было бы еще месяца через три-четыре. К тому же ударили ранние морозы, выпал снег. Дров нет ни у кого, и никто их достать не может. В квартирах, без различия «классов»,— от 4° тепла до 2° мороза. Мы закрыли мой кабинет. И Димин. Закрываем столовую. И. И. живет с женой в одной только — ее — комнате. И без прислуги.

В коридоре прямо мороз. К 1 декабря совсем не будет электричества (теперь

мы во мраке полдня). Закроют школы. И богадельни. Стариков куда? Топить ими, верно. О том, чем мы питаемся со времени наступления,— не пишу, не стоит, скучно. Просто почти ничего совсем нет. Есть еще кое-что (даже дрова) у Гржебина, *primo-speculatio* нашего дома. А мелкую нашу сошку расстреляли: знаменитого Гессериха, что сначала жил у Гржебина, потом прятался как дезертир, а потом приходил с обыском как член Чрезвычайки. Да кажется, и Алябьева тоже.

А матерому пауку — Гржебину уже и Дима принужден продаться,— брошюры писать какие-то (??).

(Электричество погасло. Оно постоянно гаснет, когда и горит. Зажгла лампу. Керосина на донышке.)

Собственно, гораздо благороднее теперь не писать. Потому что общая мука жизни такова, что в писание о ней может войти . . . тщеславие. Непонятно? Да, а вот мы понимаем. И Розанов понял бы. (Несчастный, удивительный Розанов, умерший в такой нищете<sup>3</sup>. О нем вспомнят когда-нибудь. Одна его история — целая историческая книга. . .)

Люди так жалки и страшны. Человек человеку — ворон. С голодными и хищными глазами. Рвут падаль на улице равно и одичавшие собаки, и воронье, и люди. Едут непроницаемые (какие-то нелюди) башкиры на мохнатых лошаденках и заунывно поют, покачиваясь: Средняя Азия . . .

Блестящи дела большевиков на юге. Так ли блестящи, как они говорят,— не знаю, но очевидно, что Деникин пошел уже не вперед, а назад. Это не удивляет нас. Разложились, верно. Генеральско-южные движения обречены (как и генеральско-северные, оказывается).

Англичан здесь, конечно, и не было ни малейших: с моря слегка попалили французы (или кто?), и все успокоилось.

Большевики снова принялись за свою «всемирную революцию», вплотную принялись. Да и не могут они от нее отстать, не могут ее не устраивать всеми правдами и неправдами, пока они существуют. Это самый смысл и неперменное условие их бытия. Страна, которая договаривается с ними о мире и ставит условием «отказ от пропаганды»,— просто ДУРА.

Очень хотели бы мы все, здесь живущие в России, чтобы Англия поняла на своей шкуре, что она продлевает. Германия уже понесла — и несет — свою кару. Слепшая Европа (особенно Англия) на очереди. Ведь она зарывается не плоше Германии. И тут же продолжает после мира — подлого — подлую войну с Германией — на костях России.

Как ни мелко писала я, исписывая внутреннюю часть переплета моей «Черной книжки» — книжка кончается. Не буду, верно, писать больше. Да и о чем? Записывать каждый хрип нашей агонии? Так однообразно. Так скучно.

Хочу завершить мою эту запись изумительным отрывком из «Опавших листьев» В. В. Розанова. Неизвестно, о чем писал он это — в 1912 году. Но это мы, мы — в конце 1919-го!

«И увидел я вдали смертное ложе. И что умирают победители, как побежденные, а побежденные, как победители.

И что идет снег и земля пуста.

Тогда я сказал: Боже, отведи это, Боже, удержи.

И победа побледнела в душе моей. Потому что побледнела душа. Потому что где умирают, там не сражаются. Не побеждают, не бегут.

Но остаются недвижимыми костями, и на них идет снег.»

(Короб II, стр. 251).

На нас идет снег. И мы — недвижимые кости. Не задержал, не отвел. Значит, так надо.

Смотреть в глаза людские . . .

Этим кончилась «Черная книжка». Но странное, порой непреодолимое влечение отметить некоторые наши минуты — осталось. В потайном кармане меховой шубки, которую я последнее время не спускала с плеч, лежал серенький блокнот. Его не нашли при обыске, его так, в кармане, я и привезла сюда. Отметки на этом

блокноте — спутаны, порою кажутся полубредовыми, но они характерны и доходят вплоть до дня отъезда-бегства — 24 декабря 1919 года. Они писаны карандашом, очень мелко. Так как они составляют прямое продолжение «Черной книжки», то я их здесь с точностью переписываю.

Авт.

## СЕРЫЙ БЛОКНОТ

(карандашом)

Октябрь . . . Ноябрь . . . Декабрь . . .

Какие-то сны . . . О большевиках . . . Что их свалили . . . Кто? Новые, странные люди. Когда? Сорок седьмого февраля . . .

Приготовление к могиле: глубина холода; глубина тьмы; глубина тишины.

Все на ниточке! на ниточке!

Целый день капуста. А Нева-то стала, а еще едва ноябрь (нов. стиля). А мороз 10°.

«Дяденька, я боюсь!» — пищит мальчишка в тургеневском сне «Конец света». И вдруг: «Гляньте! земля провалилась!»

У нас улица провалилась. Окна закрыты, затыканы чем можно.

Да и нету там за окнами ничего. Тьма, тишина, холод, пустота.

У Л. К. после всего кошмара дифтеритного, нарывного, стрептококкового — плеврит. На Т.<sup>1</sup> страшно смотреть.

Не было в истории. Все аналогии — пустое. Громадный город-самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не то обидиотев, не то осатанев от кровей.

Одно полено стоит 40 рублей, но достать нельзя ни одного . . . «под угрозой расстрела».

Летом дни катились один за другим, кругло щелкая, словно черепа. Катились, катились, — вдруг съезжились, сморщились, черные, точно мороженые яблочки, — и еще скорее защелкали, катясь.

Неужели мне кажется, что уже нет спасения?

Прислали нам, в виде милостыни, немного дров. Надо было самим перетаскать их в квартиру. Сорок раз по лестнице!

13 ноября (31 окт.). Л. К. сегодня свезли в больницу. Хотя она сама врач — едва устроили ее. Да все равно там нельзя. В 3 градусах тепла с плевритом скорее умрешь, чем в 6°. Сегодня же декрет о призыве в красную армию всех оставшихся студентов, уже без малейшего исключения<sup>2</sup>. Негодных в лагеря. В Петербурге оставляют лежачих. Этот призыв — карательная мера. Студентов считают скрытой оппозицией. Так чтобы пресечь. Экие злые трусы! Студенты, действительно, все сплошь против большевиков, но студенты вполне бессильны: во-первых — их полтора человека, и никакого университета в сущности давно нет. Во-вторых, эти полтора человека, несмотря на службу в советских учреждениях, качаются от голода и совершенно ни на что не способны. (Не говорю о приспособившихся и спекулянтах; эти, конечно, и от призыва открутятся, но это исключения, и не их же трусит наша «власть»!)

Т. вся тихая. Точно святая.

Лишь мы, лишь здесь, можем видеть, понимать, навеки в сердце хранить эту печать: святости на некоторых лицах. Опять то, чего не бывало, то, чего никто не увидит, не узнает, и что в высочайшей степени — есть. Истинное бытие посреди пляски призраков, в тени нашей фантазмагии.

В эти долгие-долгие часы тьмы все кажется, что ослеп. Ходишь с вытянутыми вперед руками, ощупывая ледяные стены коридора.

«Ваше время и власть тьмы».

Я поняла, что холод хуже голода, а тьма хуже и того и другого вместе.

Но и голод, и холод, и тьма — вздор! Пустяки! Ничто — перед одним, еще худшим, непереносимым, кажется, в самом деле не-вы-но-симым . . . Но нельзя, не могу, потом! после!

Трудно постигаемая честность у И. И. А тут еще его вера и оптимизм. Держал пари с Гржебиным, что к 1 ноября (ст. стилия) Петербург будет освобожден. Еще в сентябре держал — на 10 тысяч. И сегодня отнес Гржебину эти 10 тысяч, где-то их наскреб (пальто ватное и галстуки продал, кажется).

Это изумительно; может быть, кто-нибудь изумится еще более, узнав, что Гржебин такие 10 тысяч взял?

Напрасно. Гржебин взял. Гржебин и не то берет.

Дома у И. И. полный развал. Они с женой вдвоем, без прислуги, в громадной ледяной квартире с жестяной лампочкой, и стекло неподходящее, падает. Кашляющая, слабая жена И. И. моет посуду во тьме, в гигантской нетопленной кухне. Но она физически не может ничего делать, как и я. Сам И. И. целый день таскает на плечах на 5-й этаж дрова свои (запас еще с лета остался, надо все в комнаты перетаскать, ведь каждое полено — как золото). Барышни Р-ские, над нами, во тьме занимаются тем, что распиливают на дрова свои шкафы и столы. Чем же и заниматься вечерами!

Горький очень доволен всем. Ждет мира со смирившейся Антантой.

Что ж, возможно. Европа склоняется.

В школах температура на 0°. Начальницу школы Ш.<sup>3</sup> и ее мужа опять арестовали (?). Собственные ее дети режут от страха, школьные дети режут от холода.

У В. Ф.<sup>4</sup> (центральное отопление) 1° мороза. Она уже не моется, не причесывается, не раздевается.

На всех фронтах «победы». Ждут мира. Только один фронт: холод. Зима наступила на целый месяц раньше обычного.

Я в полусне. Работа «советских учреждений» тормозится тем, что везде замерзли чернила.

Англия — опять Принцезы острова!?!<sup>5</sup>

Что это?

Несчастный народ, бедные мои дикари . . .

Пользуюсь тем, что тускло загорелось (на сколько минут?) электричество. Что-то пишу. Продолжаются непрерывные морозы. Мило сказал Ллойд Джордж о России: «Пусть они там поразмышляют в течение зимы». Очень недурно

сказано. Кажется, этот субъект самый бесстыдный из бесстыднейших. Но логика истории беспощадна. И отомстит ему — рано или поздно. Не мы — так она.

Надо помнить, что у комиссаров есть всё: и дрова, и свет, и еда. И всего много, так как их самих — мало.

Горький говорил по телефону со своим «Ильичем» (как он зовет Ленина). Тот ему первое — с хохотком: «Ну что, вас еще там в Петрограде не взяли?»

Между нами и другими людьми теперь навеки стена и молчание. Рассказать ничего никому нельзя. Да если б и можно — не хочется. Молчание. И странный взгляд на них — сбоку: ничего не знают!

Отъединенность навсегда.

22 (9) ноября. Свет был третьего дня в продолжение сорока минут. Сегодня нет и вовеся. Как и раньше. Катя (наша горничная) слегла. У нее печь разрушилась. Дима перевел ее в свою спальню, сам в холодной столовой. Я все утро убираю комнаты, а вчера ночью до 4 часов, задыхаясь в холодной саже, должна была мыть все, до стен (уж как могла!), ибо лампа неистово накоптила. Гржебин везет в Москву прошение за подписью сотни «художников и литераторов» — скромное прошение о нескольких фунтах керосина!

Мы большею частью сидим при крошечных ночниках, ибо керосин последний. Дмитрию зажигается на полчаса лампа — лежит в шубе на своем диванчике, читает о Вавилоне и Египте.

Я пишу это, наклонившись к ночнику, едва вижу свои кривые строчки.

Большевики ликуют. Победы — и вдали мир с покоренной Антантой. Все думаю, думаю над одним вопросом, но решить его не могу. А вопрос такой: правительство Англии, что оно — бесчестно или безмозгло? Оно непременно или то или другое, тут сомнений нет.

Коробка спичек — 75 рублей. Дрова — 30 тысяч. Масло — 3 тысячи фунт. Одна свеча 400—500 р. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина).

На Николаевской улице вчера оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только.

А знаете, что такое «китайское мясо»? Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, «чрезвычайка» отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе — утаивают и продают под видом телятины. У нас — и в Москве. У нас — на Сенном рынке. Доктор N (имя знаю) купил «с косточкой», — узнал человечью. Понес в ЧК. Ему там очень внушительно посоветовали не претостовать, чтобы самому не попасть на Сенную. (Все это у меня из первоисточников.)

В Москве отравилась целая семья.

А на углу Морской и Невского, в реквизированном доме, будет Дворец искусств<sup>6</sup>. По примеру Москвы. Устраивают Максим Горький и . . . прости им Бог, не хочу имен.

Трамваи иной день еще ползают, но по окраинам.

С тех пор как перестали освещать дома — улицы совсем исчезли: тихая, черная яма, могильная.

Ходят по квартирам, стаскивают с постелей, гонят куда-то на работы.

Л. К. взяла из больницы домой, с плевритом. (В больницах 2°.) На лестнице она упала от слабости.

Мороз, мороз непрерывный. Осени вовсе не было.

Диму таки взяли в каторжные («общественные») работы. Завтра в 6 утра — таскать бревна.

И вовсе, оказалось, не бревна! . . . Несчастный Дима пришел сегодня домой только в 4 ч. дня, мокрый буквально по колено. Он так истощен, слаб, страшен, что на него почти нельзя смотреть. (Он занимает очень важный пост в Публичной библиотеке<sup>7</sup>, но более занят дежурством на канале (сторожит дрова на барке), чем работой с книгами. Сторожить дрова — входит в службу.)

Сегодня его гоняли далеко за город, по Ириновской дороге, с партией других каторжан, — рыть окопы!! Погода ужасная, оттепель, грязь, мокрый снег.

Пока я Диму разувала, терла ему ноги щеткой, он мне рассказывал, как их собирали, как гнали . . .

На месте дали кирку. Потрясающе ненужно и бесполезно. И всякий знал, что это принудительная бесполезность (вспоминаю «Мертвый дом» Достоевского. Его отметку, что самое тяжелое в каторжных работах — сознание ненужности твоей работы. А тут еще хуже: отвратительность этой ненужной работы).

Никто ничего не нарыл, да никто и не смотрел, чтобы рыли, чтобы из этого вышли какие-нибудь окопы. Самое откровенное издевательство.

После долгих часов в воде тающего снега — толстый, откормленный холуй (бабы его тут же, в глаза, осыпали бесплодными ругательствами: «Ишь, отъелся, морда лопнуть хочет!») — стал выдавать «арестантам», с долгими церемониями, по 1 ф. хлеба. Дима принес этот черный, с иглами соломы, фунт хлеба — с собой.

Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжелой ненужной работы сгоняют людей, полураздетых и шатающихся от голода, — сгоняют в снег, дождь, холод, тьму . . . Бывало ли?

Отмечаю засилие безграмотных. Вчера явившийся властитель-красноармеец требовал на «работы» — 95 рабов и неистово зашумел, когда ему сказали, что это невозможно, ибо у нас всех жильцов валовых, с грудными детьми — 81.

Не понимал, слушать не хотел, но скандалил даром, ибо против арифметики не пойдешь, из 81 не сделаешь 95. Обещал кары.

Видела Н.И. — из Царского. На минутку в кухню, всю обязанную, как монашенка. Обещала скоро опять быть, подробно рассказать, как она со своим мальчиком пыталась уйти с отступающими белыми и — вернулась назад.

— Но отчего же они . . . ? — спрашиваю.

— Их всего 1 корпус. Да красивые и не дрались. Послало башкир. Ну, этим все равно. А потом нагнали столько «человечины» . . .

Боже мой, Боже мой! Ведь эта «человечина» — ведь это и есть опять все то же «китайское мясо» . . .

Д.С. видел у заколоченного Гостиного двора священника, протягивающего руку за милостыней.

Если будет «мир» с ними . . . Я поняла, что этого нельзя перенести. И это не простится.

Неужели есть какая-нибудь страна, какое-нибудь правительство (не большевиков), думающее, что может быть, физически может — мир с ними? Черт с ней,

с моралью. Я сейчас говорю о конкретностях. «Они» подпишут всякие бумажки. Примут все условия, все границы. Что им? Они безграничны. Что им условия с «незаконным» (не «советским») правительством? Самый их принцип требует неисполнения таких условий. Но фикция мира в их интересах. Одурачив его народ, приведя его к разоружению, — они тихими стопами внедряются в беззащитную страну... ведь это же, прежде всего, партия «подпольных» действий. А в кармане у них уже готовые составы «национальных» большевистских правительств любой страны. Только подточить и посадить. Выждать сколько нужно. «Мирный» переворот по воле народа!

Каждое правительство каждой страны — какой угодно, хоть самой Америки! — подписывая «мир» с большевиками, подписывает прежде всего смертный приговор себе самому. Это  $2 \times 2 = 4$ .

Ну а если после войны Европа стала думать, что  $2 \times 2 = 5$ ?

Англия в лице Ллойд Джорджа, вероятно, и не очень честна, и не очень умна, а к тому же крайне невежественна.

В последнем она сама наивно признается.

Почти юродивое идиотство со стороны Европы посылать сюда «комиссии» или отдельных лиц для «ознакомления». Ведь их посылают — к большевикам в руки. Они их и «ознакомливают». Строят декорации, кормят в «Астории» и открыто сторожат дено и ношно, лишая всякого контакта с внешним миром. Попробовал бы такой «комиссионер» хотя бы на улицу один выйти! У дверей каждого — часовой.

Отсюда и г-н Форст<sup>8</sup> (о нем я своевременно писала, да он, как немец, чувствовал органическое «влечение, род недуга» к большевизму... русскому), отсюда и этот махровый дурак мистер Гуд, разъезжающий в поезде Троцкого и купленный вниманием добрых большевиков к его особе, весь растекающийся от умиления.

Нет! пришлите, голубчики, кого-нибудь «инкогнито». Пришлите не к ним — а к нам. Пусть поживут, как мы живем. Пусть увидят, что мы все видим. Пусть полюбуются, и как существует «смысл» страны — ее интеллигенция. Вот будет дело.

А приезжающие к большевикам... могли бы и не трудиться. Пусть читают, не двигаясь с места, большевистские прокламации. Совершенно так же будут «осведомлены».

Неужели и добровольцев не найдется для «инкогнито»?

Кричу, никогда не кончу кричать об этом!

Н.И. говорит: «... они (белые) не понимают... они думают, что тут еще остались живые люди...»

Живых людей, не связанных по рукам и ногам, — здесь нет. А связанных, с кляпом во рту, ждущих только первой помощи — о, этих довольно! Такие «живые» люди почти все, кто еще жив физически.

Опять и опять вызываю добровольцев на «инкогнито»! Но предупреждаю: риск громадный. Весьма возможно, что тех, кто не успеет подохнуть (с непривычки это — в момент) — того свяжут и законопатят, как нас. Доведут до троглодитства и абсурда.

Мы недвижимы и безгласны, мы (вместе с народом нашим) вряд ли уже достойны называться людьми — но мы еще живы, и — мы знаем, знаем...

Вот точная формула: если в Европе может, в XX веке, существовать страна с таким феноменальным, в истории небывалым, всеобщим рабством, и Европа этого не понимает, или это принимает — Европа должна провалиться. И туда ей и дорога.

Да, рабство. Физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Разрушение, обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров.

Да что мне, что я оборванная, голодная, дрожащая от холода? Что — мне? Это ли страдание? Да я уж и не думаю об этом. Такой вздор, легко переносимый, страшный для слабых, избалованных европейцев. Не для нас. Есть ужас ужаснейший. Тупой ужас потери лица человеческого. И моего лица,— и всех, всех кругом . . .

Мы лежим и бормочем, как мертвецы у Достоевского, бессмысленный «бобок . . . бобок . . .»

Гроб на салазках. Везут родные. Надо же схоронить. Гроб напрокат. Еще есть?

Бабы, роя рвы в грязи: «А зачем тут окопы-то ефти?» Инструктор равнодушно: «Да тут белые в 30 верстах».

Индия? Евреи в Египте? Негры в Америке? Сколько веков до Р. Хр.? Кто — мы? Где — мы? Когда — мы?

При свете ночника. Странно, такая слабость, что почти ничего не понимаю. Надо стряхнуть.

Последние дрова. Последний керосин (в ночниках). Есть еще дрова, большие чурки, но некому их распилить и расколоть. Да и пилы нету.

Ш-скую<sup>9</sup> выпустили. Держали в трех тюрьмах, с уголовными и проститутками. Оказалось потом, что за то, что у нее есть какой-то двоюродный брат (а она с ним не видится), который хотел перейти финляндскую границу. Мужа ее, арестованного за то же, потеряли в списках.

Они оба — муж и жена — очень интеллигентные люди, создатели одной из самых популярных в Петербурге гимназий и детского сада. Большевики, полуразрушив заведение, превратив его в «большевистскую школу», оставили чету Ш. заведующими. Кстати, еще о большевистских школах. Это, с известной точки зрения, самое отвратительное из большевистских деяний. Разрушение вперед, уничтожение будущих поколений. Не говоря уже о детских телах (что уж говорить, и так ясно!), — но происходит систематическое внутреннее разлагательство. Детям внушается беззаконие и принцип «силы, как права». Фактически дети превращены в толпу хулиганов. Разврат в этих школах такой, что сам Горький плюет и ужасается, я уже писала. Девочки 12—13 лет оказываются беременными или сифилитичками. Ведь бывшие институты и женские гимназии механически, сразу сливаются с мужскими школами и с уличной толпой подростков, всего провидавших — юных хулиганов, — вот общий, первый принцип создания «нормальной» большевистской школы. Никакого «ученья» в этих школах не происходит, да и не может происходить, кроме декоративного, для коммунистов-контролеров, которые налетают и зорко следят: ведется ли школа в коммунистическом духе, поют ли дети «Интернационал» и не висит ли в углу забытая икона. Насчет ученья — большевики, кажется, и сами понимают, что нельзя учиться 1) без книг, 2) без света, 3) в температуре, в которой замерзают чернила, 4) с распухшими руками и ногами, обернутыми тряпками, 5) с теми жалкими отбросами, которые посылаются раз в день в школу (знаменитое большевистское «питание детей!»), и, наконец, с малым количеством обалделых, беспомощных, качающихся от голода учительниц, понимающих одно: что ничего решительно тут нельзя сделать. Просто — служба; проклятая «советская» служба — или немедленная гибель. Учителей нет совершенно естественно: старые умерли, все более молодые мобилизованы.

Американцев бы сюда, так заботящихся о детях, что даже протестовавших против блокады: бедным большевичкам, мол, самим кушать нечего, и то они у себя последний кусок вырывают, чтобы деток попитать; снимите, злые дяди, блокаду — и расцветут бедные «красные» детки бывшей России! Кажется, и мистер Гуд, разъезжающий в императорском поезде Троцкого и кушающий там свежую икру,— лепетал что-то в этом роде.

Ну да все равно. Бог с ней и с Америкой. Какая там Америка! Далеко Америка! И довольно об этом. Скажу еще только, что случай позволил мне наблюдать внешнюю и внутреннюю жизнь «советских школ» очень близко и что все, что я говорю, я говорю ответственно и с полным знанием дела. Я имею осязательные фактические данные и — полное беспристрастие, ибо лично тут никак не заинтересована. Все дети для меня равны. Ибо всякий человек должен прийти в такой же бездонный ужас, как и я,— если он только действительно увидит, своими глазами, то, что вижу я.

Начинаются «мирные» переговоры с прибалтийскими пуговицами. Пожалуйста, пожалуйста! Знаю, что будет, одного не знаю — сроков, времен. Сроки неподвластны логике. Будет же? Большевики с места начнут вертеть перед бедными пуговицами «признание полной независимости». Против этой конфетки ни одна современная пуговица устоять не может. Слепнет — и берет конфетку, хотя все зрячие видят, что в руках большевиков эта конфетка с мышьяком. Развязанными руками большевики обработают данную «независимую» пуговицу в «советскую», о, тоже самостоятельную и независимую! Мало ли у них таких «самостоятельных», даже помимо несчастной Украины, куда они сотый раз сажают «независимого» Раковского, перерезав очередную часть населения.

Впрочем, если б даже пуговицы и понимали, что лезут сами в петлю,— они ничего бы не могли поделать: за их спинками переговаривается Англия. Она идет по стопам Германии во времена Бреста. Пока еще прячет лицо, действует менее честно, нежели Германия, но дайте срок, откроется.

Германия получила свое возмездие. Возмездие Англии — впереди.

Встряхиваю головой, протираю глаза и соображаю: о нашей жизни нельзя никому рассказывать потому, что мы забыли сами (от привычки) основные абсурды, на которых все покоится, а говорим лишь о следствиях, о фактах, вытекающих из этих абсурдов. Естественно, что это плодит недоразумения.

Говорим? Даже и о следствиях, об этой цепи повседневных фактов — говорим ли мы? Вот я — здесь, на этих тайных страницах разве... Ведь мы безгласны в самом прямом смысле слова, все мы со всем русским народом. Я обвиняю Европу, но как ей видеть, как понимать, что слышать? Будем объективны, будем справедливы. Россия гробово молчит; отсюда до Европы доходит лишь то, что угодно сказать большевикам.

А они говорят, и очень громко, и очень настойчиво, вот что:

у нас — революция;

у нас диктатура пролетариата, а коренной наш принцип — правительство рабоче-крестьянское. Мы по-прежнему вводим в жизнь, воплощаем все идеи научного социализма, мы уничтожили капитал, уничтожаем частную собственность, идем к уничтожению денег. Мы за полное равенство всех. У нас система Советов — совершеннейший из всех выборных институтов. Перевыборы строго совершаются каждые полгода — сам народ управляет страной. Мы за мир всего мира, но так как враги наши не оставляют нас в покое, то для защиты своего социалистического строя народ создал могущественнейшую красную армию и борется за социализм, не жалея крови, терпит голод, лишения, только бы не отняли у него «собственного» правительства. С внутренними врагами русский народ — рабочие и крестьяне — борются посредством созданных им правительств-

твенных учреждений,— исполкомы, ЧК и др. Все враги Советской власти, без исключения, желают отдать фабрики — капиталистам, отняв у рабочих, а землю — помещикам, отняв у крестьян.

Революция — это мы.

Социализм, и как совершеннейшая его точка, коммунизм — это мы.

Рабочие и крестьяне — это мы.

Поэтому:

кто против нас — тот против революции (контрреволюционер), против социализма (социал-предатель), против рабочих, крестьян (буржуй — помещик, капиталист).

Вот, в главной черте, то, что говорят большевики в Европе. Говорят упорно и громко. Еще бы не громко был их голос, когда он не заглушается ничьим, когда это единственный голос, идущий из России. Эту единственность они взяли силой, но главный их принцип, которого они не скрывают,—«сила есть право».

Признает ли Европа, тайно или бессознательно, этот принцип, против которого явно она вела войну с Германией, или просто не думает, не соображает, не разбирается,— пока оставим. Я веду вот к чему. Я веду к указанию на главные, коренные абсурды — основы нашей действительности. «Через головы европейских правительств», как все время говорят большевики, мне хотелось бы обратиться к рабочим всего мира, социалистам всего мира, с такими утверждениями (ответственными, ибо далее я предлагаю реальную проверку,— жизненную).

Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики в Европе,— нет.

Революции — нет.

Диктатуры пролетариата — нет.

Социализма — нет.

Советов и тех — нет.

Я могла бы здесь последовательно мотивировать каждое «нет», но это лишнее; разве в листах моего дневника не достаточно доказательств? Да и нужны ли словесные доказательства тем, кто хочет верить лжи?

Нет, я предложила бы иное... (Я знаю, знаю, что это мечты, это мои сказки, которые я сама себе рассказываю, сидя в холодной банке с пауками, сидя безгласно и слепо... Но пусть! Эти сказки все же трезвее действительности.)

Мне хотелось бы предложить рабочим всех стран следующее. Пусть каждая страна выберет двух уполномоченных, двух лиц, честности которых она бы верила (или ни в одной стране не найдется двух абсолютно честных людей?). И пусть они поедут инкогнито (даже полуинкогнито!) в Россию. Кроме честности нужно, конечно, мужество и бесстрашие, ибо такое дело — подвиг. Но не хочу я верить, что на целый народ в Европе не хватит двух подвижников!

И пусть они, вернувшись (если вернуться) скажут «всем, всем, всем»: есть ли в России революция? Есть ли диктатура пролетариата? Есть ли сам пролетариат? Есть ли «рабоче-крестьянское» правительство? Есть ли хоть что-нибудь похожее на проведение в жизнь принципов «социализма»? Есть ли Совет, т.е. существует ли в учреждениях, называемых советскими, хоть тень выборного начала?

В громадном нет, которым ответят на все эти вопросы честные люди, честные социалисты, вскроется и коренной, основной абсурд происходящего.

Пока он не вскрыт, пока далекие рабочие массы и социалистические партии верят плакатам, которыми большевики завесили границу России (я говорю о верящих наивно, а не о тех, кто ради собственного интереса, личного властолюбия и т.д. притворяется, что верит)—пока это так — до тех пор бесцельно осведомлять о тех фактах русской жизни, которых большевики скрыть не могут. Они оправданы.

Террор — но ведь революция!

Поголовный набор, принудительный,— но ведь на «Советскую» власть нападают, принуждают воевать!

Голод и разруха,— но ведь блокада! Ведь буржуазные правительства не признают «социализма»!

Все нищие,— но ведь равенство! (Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки — при миллионах нищих.)

Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с их представителями, интеллигенцией,— но ведь диктатура пролетариата! Все это — наука, искусство, техника — должно быть пролетарским, а интеллигенция, кроме того,— контрреволюционеры.

Нет свободы ни слова, ни передвижения, и вообще никаких свобод, все, вплоть до земли, взято «на учет» и в собственность правительства,— но ведь это же «рабоче-крестьянское» правительство, и поддержанное всем народом, который дает своих собственных представителей — в Советы!

Да, надо повалить основные абсурды. Разоблачить сплошную, сумасшедшую, основную ложь.

Основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие большевистского правления — ложь.

И я утверждаю . . . (следующие две строки не могу разобрать: кажется, о том, что внезапно погас всякий свет и не могу кончить запись сегодняшнего дня).

26 ноября (10 декабря). Дни оттепели, грязи, тьмы. По улицам не столько ходят, сколько лежат.

Господи! А как выдержать этот «мир»? Стены тьмы окружили — стены тьмы!

Говорят, что уже чума появилась. Легочная. Большевики ни о чем не говорят. В газетах все то же. Разнузданная, непечатная ругань — всем правительствам на свете. Особенно Англии. И чем она-то им не угодила? Не говорит? Заговорит еще! Утрется от плевков — и опять им заулыбается. Ничего, пусть, на свою голову!

О чем еще «говорят»? Ждут новых обысков. Дровяных. Больше ни о чем не говорят.

Русские за границей — «парии»? Вот как? Пожалуйста! С каким презрением (праведным) смотрела бы я на европейцев, попади я сейчас за границу. Не боюсь я их. С высоты моей горькой мудрости, моего опыта, смотрела бы я на них.

Ни-че-го не понимают!

9 (22 декабря) Горький вернулся из Москвы. Уверяет, что ездил «смягчать» политику, но ничего не добился. Обещают твердо стоять на прежней: непременно расстрелы, непременно заложники и «война до победного конца». Всякий «мир», который им удастся выловить, они тоже считают «победным концом». Ибо тогда-то и начнется настоящее внедрение в уловленную страну. Попалась птичка. Если в мирных условиях придется подписать «отказ от пропаганды» — что это означает? «Исполнение условий по отношению к незаконному правительству (буржуазному, демократическому) — мы не считаем для себя обязательным».

Опять все то же. И вечно будет то же, всегда! И это нас не удивляет. Удивило бы другое.

Горький манил Антантой. Если, мол, ослабить террор — Антанта признает. На что «Ильич» бесстрастно ответил, «что и так признаёт. Увидите. Очень скоро начнет с нами заговаривать, Англия уже начала. Ее принудят ее массы, над которыми мы работаем. Европа уже вся в руках своих рабочих масс. Держится лишь тонкая буржуазная скорлупа».

Да, большевики не утруждают себя дипломатией. Откровенны до последних пределов относительно своих планов,— убедились, что Европа все равно ничего не поймет. Не стесняются.

«Миры» свои хотят как по нотам разыграть. План этой «мирной» кампании тоже объявляют во всеуслышание. Кратко он таков: и невинность сохранить, и капитал приобрести. Я слишком много писала об этих «мирах». Слишком ясно.

Для новорожденных пуговиц, вроде Эстонии, Латвии и т. д., они держат в одной руке заманчивую конфетку «независимости», другой протягивают петлю и зовут: «Эстоша, поиди в петельку! Латвийка уже протянула шейку!»

Перед далекими великими и глупыми (оглупевшими) державами они будут бряцать красным золотом и помавать мифическими «товарами» (?) Все это объявлено и расписано. Так и будет.

Порою изумляешься: и как это они воюют? Как это они, раздетые, наступают? Ведь лютая зима. Вот сегодня 26° мороза по Реомюру!

Но и не воевать, сидеть дома, здесь, не легче. Даже когда топим печку, выше 7° не подымается. Мерзнут руки, все за что ни возьмешься — ледяное. Спим почти одетые. Окна к утру покрываются ледяной корой.

Я давно поняла, что холод тяжелее голода. И все-таки, опять повторю, голод и холод вместе — ничто перед внутренним, душевным, духовным смертным страданием нашим — единственным.

Запишу несколько цен данного момента. Это — зима 19-20 г.

Могу с точностью предсказать, насколько поднимется цена всякой вещи через полгода. Будет ровно втрое, если эта вещь еще будет.

Ведь отчего делалось бессмысленным писать дневник? Потому что уж с давних пор (год, может быть?) ничего нового сделаться здесь не может; все делалось до конца, переверт наизнанку произошел. Никакого качественного изменения, пока сидят большевики,— сиди они хоть 10 лет; предстоят лишь количественные перемены, а так как есть точная наука — геометрия и так как мы имели время наблюдать способы ее приложения, то нет уже никакой надобности и сидеть тут в 20, 21 году, чтобы точно знать в 20 году положение в России. Высчитать, когда, во сколько раз будет больше смертей, например,— ничего не стоит, зная цифры данного дня.

Ohe, Bergsan!..<sup>10</sup> Мы вышли из твоей философии! Кончена *imprévisibilite!*\* Отстал «учет»,— по Ленину.

Итак, вот сегодняшние цены, зима 19-20 г., декабрь (через полгода: втрое, кое-что вчетверо, большая часть — ни за какие деньги).

Фунт хлеба —400 р., масла —2300 р., мяса —610—650 р., соль —380 р., коробка спичек —80 р., свеча —500 р., мука —600 р. (мука и хлеб — черные и почти суррогат). Остальное соответственно.

А в Доме искусств — открытие. Был чай, пирожные (всего по сто рублей!), кончили танцами: Оцуп<sup>11</sup> провальсировал с т-ме Ходасевич<sup>12</sup>.

О спекулянтах нашего дома: жирный Алябьев, попавший на спирту (8 миллионов), был на краю смерти: спасся выдачей всех на месте расстрела. Теперь собирается «поднимать» к себе икону Скорбящей, молебен служить.

Другой, Яремич, пока расцветает: сидит уже в барской квартире, по нашей лестнице, обставил себя нашим пианино, часами И. И., чьим-то граммофоном, который непрерывно заводит,— и покровительственно «принимает» Диму.

Третий, *primo-speculante*, ступенькой повыше — Гржебин,— обставил себя награбленным у писателей. Тоже принимает «покровительственно», но старается изо всех сил, хотя и безуспешно, сохранить «оттенок благородства».

Люди ли это?

Я уже предпочитаю Г. из Смольного, из Военной секции. Он очень интересен. Когда-нибудь напишу о нем подробно. Важная шишка. Русский. Выслужился из курьеров. Очень молод. Знает Достоевского наизусть. Любит Дмитрия. Почти

\* Ой, Бергсон!.. Кончена непредвиденность! (франц.)

обиделся, когда я спросила, знает ли он меня... Все понял, подписывая нам командировку, хотя «слово» между нами не было сказано...

Не коммунист, т. е. не записан в партию, потому что — «я верующий. Христианин». При записи в компартию нужно, оказывается, какое-то отречение...

О Г. я напишу впоследствии подробнее и напишу с удовольствием... А теперь конусь, стати, того, чего я намеренно здесь еще не касалась.

Церкви.

Очень много можно тут сказать. Но я ограничусь самыми краткими словами фактами. И эти-то факты упоминать тяжело.

Следует, говоря о данном моменте, разделить так:

- 1) Православие. Церковь — иерархия.
- 2) Народ.
- 3) Тактика большевиков.

Летнее письмо патриарха, унижительное и заискивающее, к «советской власти», «всегда бережно относившейся» и т. д. Большевики с упоением напечатали его во всех газетах, но не преминули снабдить своими победно-ликующими комментариями. На униженную просьбу «не расстреливать священников» ответили просто ляганьем. С другой стороны — здешний митрополит<sup>14</sup> при той же, лишь более скрытой, политике ходит пешком, одемократился и благосклонен к интеллигентному кружку некоторых священников вроде А.В. и Е.<sup>15</sup>, пустившихся в новшества и делающихся все популярнее. Св. А.В. (мы его знали еще студентом)<sup>16</sup> склоняется к кликушеству (говору резко) — им поработилась даже Анна Вырубова, знаменитая «дочь» Гришки Распутина когда-то. Измученная интеллигенция влечется туда же.

Священники простецкие, не мудрствующие — самые героичные. Их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики.

Народ? Церкви полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния, отчаяние это слепое и слепо гонит его в церковь. Народ русский никогда не был православным. Никогда не был религиозным сознательно. Он имел данную форму христианства, но о христианстве никогда не думал. Этим объясняется та легкость, с которой каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного положения — записаться в коммунисты, — тотчас сбрасывает всякую «религиозность». Отрекается, не почесавшись. (Даже Г. удивлялся.) Невинность ребенка или идиота. Женщины в особенности. Внешние традиции у многих под шумок хранятся. Так, любят венчаться в церкви. Не жалеют на это денег и очень хитрят. Ну а кому все равно нет выбора, все равно отчаяние и некуда идти — идут в церковь. Кланяются, крестятся, — молятся, в самом деле молятся, ибо Кому-то, Кого не знают, несут душу, полную темного отчаяния.

Большевики сначала грубо наперли на Церковь (истории с мощами), но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и Церковь использовать. Некоторые, поумнее, говорят, что потребность «церковности» будет и должна удовлетворяться «их церковью» — коммунизмом. Это даже по-чертовски глубоко!

Написала — и как-то мне стало противно. Почти невыносимо говорить об этом! Страшно.

23 (10) декабря. Вот что надо не забыть. Вот чего не знают те, которые не сидят с нами, гуляют на свободе. Русские ли они? Я склонна думать, что они перестали быть русскими. Русские только мы, только в России.

Надо не забывать этих глаз, полных горечи и негодования, этих тихих слов, которыми мы обменивались здесь слишком часто:

- Опять!
- Опять?

— Да. Все то же. Опять объявили (белые, те или другие, очередная надежда на освобождение России, словом)— то же самое. Не признают «независимости» (чей-нибудь). Опять большевики ликуют. Что ж, они правы. Победили.— Да может, неправда? Да не могут же «они» держаться за старое безумие? Ведь это же приговор собственному делу?

— Вот подите! Сумасшедшие. Слепые. Не только Россию глубже в землю зарывают — и себя хоронят. Что делать?

Но мы знали, что нам нечего делать. Даже сказать мы ничего не могли. А если б могли?

Сказать — не поверят.  
Кричать — не поймут.  
И близится черед.  
Свершается суд . . .

С неумолимой, роковой однообразностью каждая русская сила, собиравшаяся на большевиков, начинала с того, что кого-нибудь «не признавала», даже Финляндию (фатальная архиглупость!), уж не говоря о Латвиях, Эстониях и т. п.

Мы содрогались, мы хохотали истерическим хохотом отчаяния — а они, со всей преступной тупостью (честной, может быть), объявляли, что не позволят «расчленять Россию» . . . Россию, которой сейчас нет!

Это, во-первых, косвенное признание большевиков и России большевистской. Ведь они одни хотят своей «неделимой» России, они одни ею сейчас владеют и действительно эту неделимость поддерживают. Все ими провозглашенные «независимости» ихние, «советские», вроде Украины с Раковским<sup>17</sup>, — конечно, вздор, куры смеются. Они «упустили» как Финляндию, так и все прибалтийские кусочки. И не взяв силой, подходят с «мирами»: им «хоть мытьем, хоть катаньем» — все равно. Увернувшиеся маленькие государства, влюбленные в «независимость», идут на «мир» — что же им делать? Хитрое «мирное» завоевание, когда-то еще будет; — они глаза закрывают. Может и не сейчас, а пока — «независимость». Если же, не дай Бог, белые свергнут большевиков — как: ведь заранее объявляют, что никакой «независимости».

Все соседи, большие и маленькие, при таком положении не могут содействовать белым, должны, естественно, стоять за большевиков, сегодня.

Это практический результат. Но сам внутренний корень таких «непризнаний» стар, глуп, гнил. Не говоря даже о Польше и Финляндии (еще бы!) — но вот эти все Литвы, Латвии и т.д., «прибалтийские пуговицы», как я их называю без всякого презрения, — да почему им, в конце концов, не быть самостоятельными? Если они хотят и могут, — какое «патриотическое» русское чувство должно, смеет против этого протестовать? Царское чувство — пожалуй, чувство людей с седой и лысой душой, все равно близкой к гробу.

Вот эти седые и лысые души губят Россию, как и себя. Не раз и не два — все время!

А мы, отсюда, мы, знающие и уж, конечно, не менее русские, чем все это, по-своему честное старье, — мы не только не боимся никакого «расчленения» царской России: мы хотим этого расчленения, мы верим, что будущая Россия, если станет «собираться», то на иных принципах и в тех пределах, в каких позволит новый принцип.

Это будущее. А сейчас, кроме того, как не радоваться каждому клочку земли, увернувшемуся из-под власти большевиков? Да если б Смоленская губерния объявила себя независимой, свергла комиссаров и пожелала самоопределяться — да пусть с Богом самоопределяется, управляется, как может, — только бы не большевиками! Почему «непатриотично» признавать ее? Требовать, чтобы не смела освобождаться от большевиков? Этот дикий «патриотизм», в сущности, ставит знак равенства между большевизацией и Россией (в их понятии). «Не

признаем частей, отделившихся от России!»— читай: от большевиков. Безумие. Бесчеловечность.

Не могу больше писать. Не знаю, когда буду писать. Не знаю, что еще . . . Потом?

А сегодня опять с «человечиной». Это ядение человечины случается все чаще. Китайцы не дремлют. Притом выскакивают наружу, да еще в наше поле зрения, только отдельные случаи. Сколько их скрытых . . .

Я стараюсь скрепить душу железными полосами. Собрать в один комок. Не пишу больше ни о чем близком, маленьком, страшном. Оттого только об общем. Молчание. Молчание . . .

Это последняя запись «Серого блокнота». На другой день, в среду, 24 декабря 1919 года, совершился наш отъезд из Петербурга с командировками на Г.<sup>18</sup>, а затем, в январе 1920 г.,— переход польской границы.

Мучительные усилия и хлопоты, благодаря которым мог осуществиться наш отъезд из Петербурга, затем побег — не отражены в записи последних дней по причине весьма понятной. Хотя маленький блокнот не выходил из кармана моей меховой шубки, а шубку я носила почти не снимая,— писать даже и то, что я писала, было безумием, при вечных повальных обысках. У меня физически не подымалась рука упомянуть о нашей последней надежде — надежде на освобождение.

Дневник в Совдепии — не мемуары, не воспоминания «после», а именно «дневник»,— вещь исключительная; не думаю, чтобы их много нашлось в России, после освобождения. Разве комиссарские. Знаю человека, который для писания дневника прибегал к неслыханным ухищрениям, их невозможно рассказать; и не уверена все-таки, сохраняются ли он до сих пор.

Впрочем,— нужно ли жалеть? Не сделалась ли жизнь такою, что «дневник», всякий,— дневник мертвеца, лежащего в могиле?

Я знаю: и теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, известным всем, путем.

Первая перемена произойдет лишь вслед за единственным событием, которого ждет вся Россия,— свержением большевиков.

Когда?

Не знаю времен и сроков. Боюсь слов. Боюсь предсказания, но душа моя, все-таки, на этот страшный вопрос «когда?»— отвечает: скоро.

3 октября 1920 г.

Варшава.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### «НА КОРКЕ»

1 Гиппиус цитирует речь Л.Д.Троцкого на заседании Петроградского Совета 19 октября 1919.— См.: Петроградская правда, 1919, 20 окт., с. 2.

2. Вероятно, **Лива КАРТАШЕВА**.

3. **РОЗАНОВ Василий Васильевич** (1856—1919)— писатель, критик, публицист газеты «Новое время» и др. Об обстоятельствах его жизни последних двух лет в Сергиевом посаде и его смерти Мережковские знали из писем 1919 г. дочери Розанова — Надежды Васильевны. Письма сохранились в архиве Мережковских (ОР ГПБ. Ф.481).

### «СЕРЫЙ БЛОКНОТ»

1. Вероятно, **Татьяна Николаевна ГИППИУС**.

2. О мобилизации студентов сообщила «Петроградская правда» (1919, 14 нояб., №260, с.1).

3. **ШИДЛОВСКАЯ Мария Александровна**. В частной школе и детском саду Шидловской преподавала Т.Н.Гиппиус

4. Возможно, **Вера ФИГНЕР**.

5. В январе 1919 г. на мирной конференции в Лионе была принята «Декларация союзных держав», в которой главы союзных держав приглашали представителей всех политических групп, стремящихся к власти или осуществлению военного контроля в России, приехать для предварительных переговоров на Принцевы острова, в Мраморное море, с целью прекращения гражданской войны в России и оказания ей помощи. (См.: Правда, 1919, 25 янв., №17, с.2.)

6. Имеется в виду Дом искусств (ныне в этом здании на углу ул.Герцена и Невского пр. расположен кинотеатр «Баррикада»), дом был реквизирован у Елисеева. См. также примеч.46.

7. В октябре 1918 г. Д.В.Философов поступил на службу в Публичную библиотеку в должности помощника старшего библиотекаря.

8. З.Гиппиус имеет в виду свою запись от 1, (14) октября в дневнике за 1918 г. (ОР ГПБ. Ф.481. Ед.хр.4.), в которой она подробно рассказывала о встречах с сотрудником «Ежедневной берлинской газеты» Форстом. В частности, она писала: «... Этот самый Форст приехал в Россию в июле (с тех пор тут и жил), приехал к большевикам, упоенный ими и всеми их делами! ... Потолкавшись у большевиков, Форст к сентябрю несколько скис. Интеллигенция, которая вначале его не принимала (чему он наивно удивлялся), — приоткрыла ему дверь. ... А большевиков (к которым он, по его словам, изменился, хотя перед отъездом в Берлине выпросил «аудиенцию» у Горького) — он любезно предлагал России свергнуть самой. ...» (Л. 159).

9. Вероятно, Шидловская М. А.

10. **БЕРГСОН Анри** (1859—1941) — французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни.

11. **ОЦУП Николай Авдеевич** (1894—1958) — поэт, участник «Цеха поэтов», член Петроградского «Союза Поэтов». С 1923 г. — в эмиграции.

12. **ХОДАСЕВИЧ Валентина Михайловна** (1894—1974) — племянница поэта В.Ф.Ходасевича, художница.

13. 25 сент. 1919 г. было обнародовано патриаршее послание — «Послание о прекращении духовенством борьбы с большевиками». В воззвании патриарх Тихон заявил: «Установление той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение». (См.: Филиппов А. Послание патриарха Тихона к духовенству. М., 1920, с.9.)

14. Вероятно, архимандрит СЕРГИЙ (Старогородский, 1861—1944).

15. Речь идет о лидерах церковной оппозиции («обновленчества») — протоирее Александре Введенском и священнике Евгении Белкове.

16. О знакомстве Мережковских с Александром Ивановичем Введенским (1888—1946) см. в кн.: Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. — Париж, 1951, с.235—236.

17. **РАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич** (1873—1941) — в 1919 г. председатель Совета Народных Комиссаров Украинской Советской Республики.

18. З.Гиппиус вспоминала: «Конечным пунктом был у нас намечен Гомель. Имелись сведения, что оттуда «переправляют». (Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. — Париж, 1951, с.246.)

Предисловие и примечания  
**Маргариты ПАВЛОВОЙ**

Технический редактор  
Мудите АРАЯ

Сдано в набор 12. 07. 91.

Подписано к печати 00. 00. 91.

Регистрац. удостоверение № 0502

Формат 60×84/16.

Типогр. бумага № 1. Печать офсетная.

11,16+0,23 усл.-печ л. 11,40 усл. кр.-отт., 16,83 уч.-изд. л.

Тираж 26 000. Заказ №457 . Подписная цена 90 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП. Баласта дамбис, 3.

Отпечатано в тип. Дома печати, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 77123

- 64

ISSN 0207—4001, «Даугава», 1991, № 3—4, 1—192